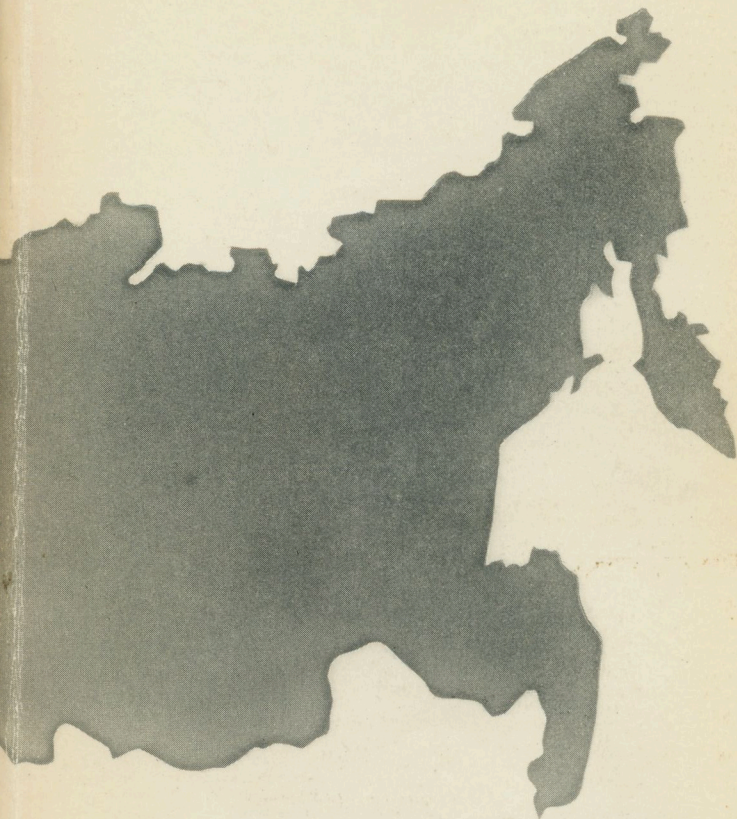


ЕЛЕНА БОННЭР



ПОСТСКРИПТУМ

Книга о горьковской ссылке

ЕЛЕНА БОННЭР

ПОСТСКРИПТУМ

Книга о горьковской ссылке

Elena Bonner. POSTSCRIPTUM
L'histoire de l'exil à Gorki.

Editions de la Presse Libre.
Paris 1988.

Couverture par Cesio Alberti.

Мы снова в Горьком. Свободны приехать сюда и свободны уехать. За несколько дней до отъезда из Москвы друзья из США сказали по телефону, что книга, которую я писала в Америке, отрывая время от общения с мамой, детьми, внуками в перерывах между операциями, поездками по стране, встречами, собраниями, выступлениями, за которую мне стыдно, потому что я отчетливо ощущаю ее торопливость и неприбранность, книга эта осенью будет переиздана и меня просят написать к ней нечто вроде предисловия (или послесловия), какое-то дополнение, связующее ее, как я понимаю, с сегодняшним днем.

Но как связать несвязываемое, несовместимое? У меня сегодняшней совсем другое мировидение — не оптимистичней, не пессимистичней, но другое. Я как будто смотрю на все совсем с другой точки: то ли поднялась выше, то ли спустилась — только все сместилось, и очертания всего (и видимого, и невидимого) совсем другие.

Нет, все же не все сместилось. Кое-что и осталось. Вот, например, погода. В Горьком она всегда была и есть не по мне. А сейчас она такая, будто это не конец апреля, а глубокая осень, начало зимы. Температура то минус 3, то плюс 3, но от этих «плюс» и «минус» она не становится лучше. Главный метеоролог телевидения (человек, известный в лицо не меньше, чем генеральный секретарь, ведь люди на всех континентах почему-то больше всего интересуются погодой) вчера сказал, что такой, с позволения сказать, весны не было уже целых сто лет и в Армении

сто лет не было таких морозов, а вокруг Читы — таких лесных пожаров. Ничего хорошего на ближайшее время он не обещал. И сегодня в «цветущей Грузии» снегопад и метели. На экране дают кадры цветущих садов, потом наплыв и крупный план: видно, что каждый цветок как бы облит стеклом — все замерзло, а на земле сплошной снежный покров. Весна!

Я вижу, как прохожие вытягивают из луж ноги и на обуви у них — пудовые комья грязи. Ветер клонит верхушки деревьев. С тусклого неба падает снег с дождем, белогрязными пятнами лежащий на поверхность, которую и землей назвать язык не поворачивается. Семь лет назад, глядя на эту грязь, я написала в письме к Регине: «Из московского окна площадь Красная видна, а из этого окошка только улица немножко, только мусор и г...о, лучше не смотреть в окно. И гуляют топтуны — представители страны». Что изменилось? Нет топтунов. Куда делись эти без малого полсотни молодых здоровых красавцев, денно и ночно семь лет державшие фронт против нас — двух старых, больных, оторванных от всего мира? Семь лет! Я, привыкшая долгое время мерить на войну, только диву даюсь: ведь это же почти две Великих Отечественных! И вдруг — буквально вдруг — после звонка Горбачева их не стало, сдуло как пыль ветром. Где они теперь? Каким созидательным трудом заняты? Куда их занес ветер перестройки? Или, может, они все еще держат оборону против нас, но уж теперь как «бойцы невидимого фронта»? Их не видно, а вот грязь — она осталась. За эти годы ее обложили со всех сторон бетонными глыбами, напоминающими надолбы, и в одном месте проложили асфальтовую дорожку. Но суть этого пространства осталась прежней. Возможно, здесь когда-нибудь возникнет сад. Как писал когда-то Войнович, «...и на Марсе будут яблони цвести».

Я обозначила время и место — и теперь мне надо вернуться в июнь прошлого года. Я прилетела в Москву в сопровождении двух конгрессменов, Барни Франка и Дана Лангрена, и двух наших молодых друзей, Боба Арсенала

и Ричарда Соболя, так по-человечески волновавшихся: вдруг меня плохо встретит отечество.

Москва, в лице своих таможенников, под взорами американских, английских, французских, итальянских и других дипломатов приняла меня, ничем не выделив в потоке других пассажиров. За кордоном ждали несколько друзей (одного из них успела-таки замести милиция, правда, ненадолго). Милиционеров, бессменно дежуривших в машине у подъезда и на лестничной площадке дома на улице Чкалова с 19 мая 1983 — без 12 дней три года, — не было, хотя еще за два часа до моего прибытия они были. Мои американские провожатые — все четверо — спокойно вошли в дом вместе со мной. А мы так готовились к тому, что их не пустят... Они знали, что по поручению посла США в каждый мой приезд из Горького — до апреля 1984 года, пока я еще имела возможность приезжать, — сотрудники посольства безуспешно пытались пройти ко мне. Я рассказывала им, что вначале пост был только днем, но потом стал круглосуточным, что в долгие месяцы моего отсутствия они продолжали нести свое дежурство и даже поставили на площадке раскладушку, чтобы по очереди спать. А раньше они пускали ко мне людей только по предъявлении паспорта, всех пришедших заносили в какие-то списки и ни разу не пустили ко мне ни одного иностранца. Я почувствовала себя вроде как обманщицей — вот наговорила: милиция, пост, слежка. Бог знает что, а ничего этого нет. Барни Франк и Дан Лангрэн вскоре ушли: им надо было отдохнуть, наутро они улетали домой. А ко мне собрались несколько друзей. Я чувствовала себя усталой, надо было сделать еще много, и я заранее боялась, как наберусь сил.

Я решила, что пробуду в Москве дней 5-6. Меня раздрали противоречивые чувства: нестерпимо хотелось к Андрею, и я совсем не была спокойна за детей, ведь и им эти месяцы моего пребывания в Америке нелегко достались. Наутро — солнце и сверкающее небо, потом июньский дождь, так счастливо звенящий, ударяя в стекла окон и подоконники, а я совсем в депрессии и уже не

хочу и не могу что-то делать. Скорей за билетом, потом дать телеграмму в Горький. Ведь к делам можно вернуться и потом.

В скоропалительном моем отъезде, кроме того, что хотелось к Андрею, что не могла ни за что взяться, сыграло свою роль и отсутствие милиционеров, какая-то иллюзия свободы.

Еще из окна поезда я увидела Андрея, он показался мне растерянным и одетым как-то нелепо. И эта растерянность и нелепость были такими своими. Носильщика не было. Андрей сказал, что он пытался найти, даже разговаривал с ним. Тот объяснил, что им не велели обслуживать пассажиров из одиннадцатого (моего) вагона: «Там кто-то из Америки приехал, так вот нельзя». Андрей схватился за чемоданы, но я рывкнула на весь вагон, что если они хотят (они — это «они»), чтобы он, дождавшись меня, умер, таская какое-то дерьмо, то пусть они и подавятся моими чемоданами. «Пошли». И мы вышли на вокзальную площадь и сели в нашу машину. Рядом, задним стеклом к нашему ветровому, стоял какой-то фургон, вроде санитарного, и оттуда, раздвинув шторы и ничуть не стесняясь, нас начали снимать. Все стало на свои места. Ко мне вернулось реальное представление о действительности. И мы вздохнули начали разговор, который продолжался, с перерывами на сон, не одну неделю. Так мы стояли, то есть машина стояла, а мы-то сидели, поболее часа, потом к нам подошел какой-то железнодорожник и позвал опознавать вещи, которые ему якобы сдали как забытые. Видимо, обыск кончился. Я не пошла. Опознавать вещи, которые он никогда не видел, пошел Андрей, ведь все это была игра. Еще минут через сорок очень вежливый носильщик привез багаж. И мы поехали домой. Где мы — там и дом!

Через день меня вызвали в ОВИР. Там потребовали сдать заграничный паспорт. Я сказала, что он в Москве. Они не верили, но это было уже их дело. Еще я получила там вроде как нагоняй, за то, что была во Франции и Англии, что-то не больно вежливо ответила, и мы — я и это

учреждение — вполне благополучно на этот раз расстались. Потом был вызов в районное УВД. Бывший капитан, ныне подполковник (теперь, может, и полный полковник?) Снежницкий обстоятельно мне разъяснил, что все дни моего отсутствия из Горького будут приплюсованы к сроку моей ссылки — видимо, только теперь, постфактум, они решили, по какому из возможных способов меня выпускали, и оформили как приостановку действия приговора. Мне выдали новое удостоверение ссылкой — старое ведь осталось в Москве, в ОБИРе СССР, — и назначили дни явки на отметки. Итак, путешествие благополучно окончилось. Осталось только получить багаж на Московской таможне. Но и об этом они позаботились. Я получила телеграмму со склада Горьковского аэродрома, что должна явиться за багажом, и... не явилась. Последовала еще телеграмма, потом еще и еще, потом с угрозой, что багаж будет реализован «в соответствии», а вот с чем — не помню. Потом багаж привезли домой (без таможенного досмотра?). Мы сказали «спасибо», но за хранение (что-то около двадцати рублей) я платить отказалась. Я полагала, что раз багаж был послан в Москву, то там я и должна его получить, а все, что не входит в мои планы, не должно идти за мой счет. Мы направили более двадцати посылок, многие в Москву (вот они, встречные перевозки, загружающие транспорт), — и разослали подарки.

И пошла наша обычная жизнь. От прежней она отличалась тем, что раз в месяц нам звонили мама и дети. Нас вызывали на почту (ту самую, где снимали для фильмов Виктора Луи). Разговор всякий раз прерывался, как только дети нам или мы им пытались сказать о чем-нибудь, кроме здоровья, погоды или рецептов тех блюд, которые я стряпаю. Все более или менее содержательное сразу вырубалось. Техника! И еще наша жизнь отличалась отсутствием напряжения. Все предыдущие годы мы жили то в состоянии предборьбы, то борьбы — за Лизин отъезд, за госпитализацию Андрея в больницу Академии наук, за мою поездку. Сейчас этого не было.

Стояло лето. Мы ездили по своему разрешенному кругу, как белки в колесе. Я терла витамин из смородины и варила варенья — много, чтобы хватило на всю долгую зиму. Слушали радио, по-прежнему чаще у кладбища. Так и называли его — «наше кладбище», и мне казалось, что оно и будет нашим. Ни с кем ни разу не разговаривали. Никого не видели, кроме прохожих на улице да вечных, казалось, своих топтунов. А они за эти годы если не состарились, то тоже как-то отяжелели, заматерели на своей безработной работе.

Все это время я очень много читала. Андрей сохранил все «Литературные газеты» за те месяцы, что я отсутствовала. Очерки и статьи о судах, Чернобыле, дискуссии о театре, съезд кинематографистов, съезд писателей, обещания всех редакторов всех толстых журналов напечатать Набокова, Ходасевича, Бека, Пастернака, Нарбута, уже опубликованная «Плаха», «Карьер», Астафьев. Я как будто вернулась в какую-то новую для меня страну (правда, это касалось только печатной продукции — остальное-то было как раньше). К моменту начала подписки на 1987 год я составила грандиозный список. Получалось, что надо выписывать все журналы, даже «Огонек», который мы сроду не читали. Это в нашем затворничестве обещало какую-то новую жизнь. Прямо-таки «вита нуова». Я не очень-то понимала, что означает слово «перестройка» для всей страны в целом (да и сейчас понимаю не больше), но что будет, что читать, — в это поверила сразу.

В конце лета мы были в кино. Смотрели прекрасный французский фильм «Бал», а в ноябре выбрались на фильм Лопушанского «Письма мертвого человека». Потом как-то сразу ударили морозы, и я намертво закупирилась в доме, но предвидела войну нервов с районным ОВД за мои явки (верней, неявки) на отметку. Я еще в октябре подала заявление туда, что не смогу во время морозов являться на отметку, так как после операции на сердце мне запрещено выходить на улицу при температуре ниже 9 градусов. Ответа я не получила.

В октябре мы один раз услышали по радио, что Толя Марченко с 4 августа держит голодовку. Больше ничего услышать не удалось. Мы все время напряженно ждали известий, волновались. Я без конца мучила приемник, но по радио почти ничего не было — значило ли это, что и в Москве нет никаких известий? А в конце ноября услышали, что Ларису вызывали в КГБ и предложили уехать из страны — мы так поняли, что вместе с Толей. И тут на нас, на меня больше, напала эйфория, как будто он уже освобожден, уже они уезжают. Я послала Ларисе открытку — радостную, с приветами. И каждый вечер, крутя ручки приемника, ждала сообщений об их отъезде. Но 9 декабря в 23 часа 45 минут по радио Франции услышали: умер. Умер Толя Марченко. И Лариса с детьми уехала туда, в Чистополь.

Невозможно было поверить. Невозможно слушать. Невозможно оторваться от приемника. Ничего невозможно сказать. И хочется кричать — нет, нет, нет. И мы молчали и плакали. И мне почему-то в эти часы и дни вспоминался Толя — только веселый, только счастливый. Как он пришел к нам поздно вечером, почти ночью, в гостиницу в Сухуми — мы там отдыхали, а они только что приехали из Чуны. Кончилась его очередная ссылка. Лариса осталась укладывать детей, а Толя пришел к нам. Мы ели арбуз каких-то невероятных размеров. И Андрей доказывал Толе, что ему надо уезжать, а Толя утверждал, что это не для него. Андрей, обычно как никто способный прислушиваться к доводам оппонента, на этот раз был неукротим, почти агрессивен, но спорить с Толей — это уже бессмысленная работа. И хоть спор шел серьезный, но было все так весело, как бывает, наверно, только когда человек освобождился.

А еще раньше! Веселый, молодой Толя — счастливый папа с младенцем на руках, приехал из Карабанова и скрылся с Андреем где-то в комнате. Таня, у которой шли последние недели перед родами, лежала в кухне на диванчике, а Пашка ползал по ее животу и улыбался беззубым ртом. Почему такое лезет в голову — ясное, беззаботное?

И теперь это известие. Мне трудно писать слово «смерть». Каждый вечер мы слушали радио, ловили все, что говорилось о Толе, и не верили, что это случилось.

Через два или три дня по телевидению, днем, по учебной программе, шла пьеса Радзинского «Лунин, или Смерть Жака». Я не могу объективно судить о пьесе. Нас тогда потрясали параллели. Особенно то место, где говорится: «Хозяин думает, что раб побежит, но он (подразумевается Лунин) не раб и не бежит». Я передаю не дословно, мне бы теперь эту пьесу глазами прочесть, но тогда я восприняла спектакль как передачу о Толе. А спустя какое-то время Андрей упомянул эту пьесу в каком-то интервью, где говорил о гибели Толи, и некий досужий журналист (не знаю, русского происхождения или нет) перепутал Лунина и Ленина и написал, что Сахаров оскорбил память Марченко, сравнив его судьбу с судьбой Ленина.

В начале осени Андрей получил странное письмо от редактора журнала «Новое время», в котором предлагалось выступить на страницах этого журнала по вопросу ядерных испытаний. Андрей оставил это письмо без ответа. В ноябре Виталий Лазаревич Гинзбург написал, что «Литературная газета» хотела бы взять интервью у Андрея и если Андрей согласен, то корреспондент газеты придет в ближайшие дни вместе с физиками теоретического отдела. Это, видимо, означало, что и физики, не бывавшие в Горьком с мая, собираются приехать. Андрей Виталию Лазаревичу написал, что он не будет давать никаких интервью «с петлей на шее» (вот и Фучика вспомнили). И мы думали, что вопрос приезда и корра и физиков отпал. А в это время по ФИАНу водили корреспондента журнала «Штерн», показывали комнату, где работал (и будет!) Сахаров, говорили, что ждут его приезда со дня на день. Но мы узнали это уже в Москве.

Наше возвращение. Его описали, кажется, все корреспонденты, аккредитованные в Москве, показали десятки телекомпаний. Я не буду с ними состязаться. А мы? Были ли мы счастливы? Про себя — я не знаю. Конечно, это хорошо — вернуться домой. Но сколько труда надо при-

ложить, чтобы почти вконец разрушенное помещение вновь стало домом; а я не то что стала барыней, но после операции начала бояться большой физической нагрузки. Я вдруг ощутила странную комфортность здешнего — горьковского — нашего уклада, когда жизнь от тебя ничего не требует, кроме: немного повозиться на кухне — всего-то еды на двоих, немного постирать, кое-как прибраться. А остальное — твоя воля. Можно читать, а можно и нет, можно одеться и выйти из дома, а можно никогда не вылезать из халата. И главное — никакой ответственности. Ну, что я могу решить о маме? Ясно ведь, что нельзя тащить ее сюда под арест, — значит, она будет у детей. Чем я могу помочь детям? Ничем! Впрочем, я все равно ничем не могу им помочь, сколькими бы параметрами свободы я ни обладала, как на самом-то деле и любые родители любым взрослым детям. Ответственность перед временем и людьми, перед друзьями? Но о чем может идти речь, когда соприкосновение со всем миром может быть только через нашу собственную вохру. Я вспоминала смешной (страшный?) давнишний разговор двух мальчиков, тогда восьмиклассников, — моего Алешки и его школьного приятеля. Алешка говорил: «Хорошо, что Хрущев освободил и реабилитировал тысячи людей, что они смогли вернуться домой, к семьям», а Павлик (я забыла его фамилию) не соглашался: «Они уже там привыкли». Подразумевалось: в лагере, в ссылке, на вечном поселении. Так вот, я уже привыкла — в Горьком, и без ответственности! Сама просится цитата: «Привычка свыше нам дана», — и уже звучит эта навязчивая мелодия.

А вместе со свободой пришло, прямо навалилось. Мы дома, но за несколько дней до этого умер Толя. Друзья в Перми, Мордовии, Чистополе, ссылке. Десятки, нет, сотни людей, которые приходят, приезжают Бог знает как издалека к Андрею, хватаясь за него как за последнюю надежду в своих бедах, и считают что он должен (это бы еще куда ни шло), но, главное, **может** им помочь. А письма? Ежедневно 20, 30, 40. Я не успеваю их распечатать и прочесть, только малую часть подсовываю Андрею, а он

сердится, потому что у него ни минуты на них. А уж отвечать совсем некогда — ни мне, ни, тем паче, ему. И хамство неответчания гнетет меня постоянно. А на некоторые письма просто хочется ответить. Но когда? Телефонные звонки. Я пытаюсь ввести их в русло: сказала друзьям, что звонить можно только с 11 утра до 16 и вечером с 8 до 11, но звонят не только друзья, звонят со всего мира. И им не укажешь время, и они постоянно забывают, что есть часовые пояса, что у них, может, день, а у нас глубокая ночь. У меня постоянно что-то горит на кухне или в ванной через край переливается вода, и мы вечно ходим с головной болью от ночных телефонных побудок — прямо как по тревоге поднимают и в три, и в четыре, и в пять утра. Выключить телефон боюсь, ведь может быть что-то действительно нужное, может, мама, дети, кто-то заболел, узники совести.

Андрей говорит, что ничем не должен заниматься, кроме их судьбы, но это только слова. А на самом деле интервью разные, в том числе и неопубликованное «Литгазете». Ему писать, потом вместе печатать и перепечатывать. А «Форум»? Помимо того, что надо было ему подготовить тексты трех выступлений, но еще до его открытия сколько разговоров, предупреждений, объяснений — это всё с друзьями, — сколько нервов и времени. А бесконечные просьбы знакомых, друзей и незнакомых выступить в защиту (чаще всего просьбы помочь с выездом). У всех многолетние отказы, сломанные судьбы — и обида на Андрея. Непонимание того, что помочь он не может и что заключенные — все-таки главная проблема и главная беда. Сколько уже обид было за эти месяцы — тоже и нервы, и время, и больно.

Радость, что освобождены более ста человек, — и сразу глубокое разочарование от унижительных требований каких-то (пусть формальных) покаяний. В чем? И все застопорилось. Ведь было официально объявлено, что будут освобождены сто пятьдесят человек и потом еще столько же. Где же они? И когда наступит это «потом»?

А бесчисленные телеграммы — то в ссылку какому-нибудь официальному лицу, где плохо с кем-то из осужденных, то главврачам психбольниц, то высокому начальству о больном заключенном, которого давно пора освободить, но дело стоит на мертвой точке. И так каждый день: кто-то приходит, куда-то пишем, что-то надо делать, может, даже совершить какой-нибудь культурный поход — в кино, в концерт или в театр. Нормальная человеческая жизнь почему-то становится совсем недоступной нам.

А венец моих личных мучений — это телефонное общение с московскими корреспондентами. Андрей совсем не переносит такие нагрузки, и оно целиком ложится на меня. Когда им сообщаем об освобожденных, они еще способны понять. Но как только об аресте, голодовке, тяжелобольных, погибающих в лагере, о психбольницах и положении их узников — обязательно на радио все звучит неверно, да еще с пространнным комментарием, в котором зачастую мне приписываются слова, которых я сроду не говорила. Я снова на телефоне, снова слушаю радио и часто снова слышу совсем не то. Постоянный вопрос: где, на каком этапе все принимает вид, только отдаленно напоминающий переданную информацию? Я никогда не могла получить на него ответ. И изо дня в день это общение по телефонам — как разговор глухих. Я им про наши волнения за когс-то, а они мне встречный вопрос «про перестройку». «Да не знаю я ничего про нее, кроме того, что вышли на экран несколько фильмов, где-то идут какие-то «очень смелые» пьесы, а в журналах и газетах столько интересного, почти как в лучшие годы самиздата». И главное: «Сто человек дома (в том числе и мы)». — «Мало это или много?» — «Мне? Мало, плохо, мне надо, чтобы все узники совести были дома, и для страны позорно, если в ней объявлена перестройка и время гордо называется революционным. А насчет фильмов и чтения мне достаточно, я и так не успеваю ни прочесть, ни посмотреть, и жду не расширения круга чтения, а того, что было уже обещано: пересмотра уголовного законода-

тельства и отмены статей 70-й и 190-й». — «Чего-о-о?» — удивляются на том конце провода.

И, так вот всласть наговорившись с кем-нибудь из корров, я, как цепная собака, бросаюсь на друзей, появляющихся в доме с «новостями» из радио, и с трудом удерживаю себя, чтобы не облаять заодно и незнакомых. И с тоской вспоминаю бездумные, кажущиеся бессмысленными долгие горьковские вечера у телевизора — наш отдых и совершенная близость, какую бы чушь мы ни смотрели. Я для приличия (а то стыдно перед самой собой) что-нибудь шью-штопаю совсем ненужное. Таких вечеров в Москве уже нет и не будет. Мы даже умудряемся пропускать (в доме люди) какие-то абсолютно обязательные вещи.

Ну вот, я и нажаловалась на наше освобождение. Но на самом деле — это все же перекося. После возвращения в Москву я перестала замирать от ужаса при мысли, что я буду делать, если у Андрея станет плохо с сердцем, или мозговые спазмы, или еще что-нибудь, столь же далекое от педиатрии, как его возраст от счета на дни у новорожденного. Он говорит, что испытывал то же самое в отношении меня. Ведь мы зареклись от горьковской медицины. И не этот ли зарок продлил нам жизнь?

Раньше, каждый раз выходя на улицу, я внутренне сжималась (иногда до реальных сердечных спазмов, и мне нужен был нитроглицерин) только от мысли, что я опять как препарат на предметном стекле, что меня снимают и будут разглядывать и демонстрировать всему миру и я ничего не могу сделать против этого, ну разве только запереть себя в четырех стенах. (Позднее добавление — оказывается, и в стенах снимали — как? — не знаю; но миру показывали кадры, где я полуодетая что-то делаю на кухне.) Отсутствие этого киномучения — тоже глоток свободы.

Месяцами мы были насильственно разлучены и мучились от незнания того, что происходит с другим из нас. Месяцами не сказали слова кому-нибудь, кроме как друг другу. Правда, в эти годы мы выяснили свою абсолютную совместимость. Андрей шутит, что нас теперь можно запустить в космос.

Возвращенная возможность общения с людьми — радость, ничем не заменимая. Правда, иногда его столько, что уже не получается контакта и все общение — это скольжение по поверхности. Иногда даже думаешь, что общения столько, что надо бы, надо чуть-чуть поменьше — чтоб не переедать. Сколько друзей, сколько людей с Запада прошли за эти месяцы через наш дом — невозможно сказать: счет идет на сотни. Сколько я ватрушек напекла и сколько заварила чаю! И сколько удовольствия — кормить, поить друзей! Теперь на основании вполне достаточного статистического материала могу твердо сказать, что в мире что-то изменилось: Запад стал предпочитать чай, а кофе — это так, баловство для друзей!

По ночам, уже когда перемыта посуда и голова раскалывается от разговоров, в которых бесконечные «про» и «контра» (ох, этот московский разговор ночью на кухне, высшая точка духовной жизни столицы и предмет зависти всех перебывавших на этих кухнях иностранцев!), я слабо вякаю Андрею, что надо бы вести дневник (кражи дневников и архивов отвадили Андрея от этой потребности), ведь не упомнишь всех и все разговоры, но вижу, как он шатается от усталости, и замолкаю.

Теперь, может быть, решен вопрос о возвращении мамы. Семь лет она прожила в США в беспокойстве за нас и тревоге от неустроенности и неполадок в жизни детей. И не дома, и не в гостях, и это в ее возрасте! Стала ли я ближе детям? Доступней стал телефон, а он, как известно, враг писем, они совсем перестали нам писать, а я им. И их жизнь так же непостижима для меня, хотя и был шестимесячный период моего соприсутствия в ней. Но было счастье — чудо приезда Алеши через девять лет, трудные и радостные дни с ним. Собственно, этих десяти дней как не было, нам на общение оставались только ночи. А он был такой усталый, напряженный, глаза внимательные, но несчастливые. Видел ли это кто-нибудь, кроме меня?

Мне всегда эмиграция казалась невероятно трудным процессом, на грани человеческих сил. И уж если эмигрировать, то не для того, чтобы «спасать Россию», а для се-

бя. Моим детям такое было невозможно в силу нашей (Андреевой) судьбы и — если мне простят такое слово — миссии, их полной завязанности с этим. Каждая моя поездка на Запад (общения были и с теми, у кого удачно сложилась судьба там, и у кого не сложилась) эту мысль только укрепляла. Были ли мы правы, настояв на эмиграции детей? Вспоминаю слова Генриха Белля. Он в разговоре с Андреем сказал (речь шла о немцах, выехавших из СССР в ФРГ): «У нас жить трудно, у вас невозможно».

А сейчас жду Таню, которая должна привезти бабушку, и мечусь между надеждой и опустошающим «нет», которое ничего не стоит сказать всесильному ОВИРу. А почему все-таки? Ведь вроде как новый закон и «новое мышление». Кто бы растолковал, что же это все-таки такое, если по-новому мыслить должны всё те же старые начальники, давно притершиеся к своим креслам? Вот и Литвиновых, наконец, пустили повидать детей. И никто (но это уже другая тема) вокруг не сомневается, что съездят и вернутся. А мои поездки всегда вызывали столько осуждений и объяснений. Однажды даже Таня Великанова на аэродроме шепнула мне: «Только, пожалуйста, возвращайся». Видимо, есть во мне что-то, что вызывает сомнение не у «них», Бог с ними, а у хороших людей. А может, это и не во мне, а в моем положении «жены академика»?

Но сейчас, перед приездом Тани, тот же вопрос, что давил отсутствием ответа, когда в Москве был Алешка. Эмиграция? Дети — эмигранты, от этого уже не уйти. Правильно ли это? И хоть бы дети детей не были эмигрантами! Дело ведь не в формальном — все они давно граждане США, — а во внутреннем. Эх куда меня занесло — в проблемы эмиграции. Пишу о том, что даже с Андреем никогда не обсуждала.

Эта страница была написана 28 апреля, а 30 апреля (не раньше и не позже, как в канун праздничных, нерабочих дней, что очень типично) начальник Московского ОВИРа С.И.Алпатов сказал по телефону Андрею, что в визе Тане отказано. Никаких объяснений, только: «Не сочтено возможным». Потом последовали многие телефон-

ные разговоры с более высоким начальством, не разговоры, собственно, а очередное объявление войны. Потом начальник всесоюзного ОВИРа Кузнецов заявил: «Московские товарищи не разобрались». В контексте это выглядело как обещание разобраться. И вечером звонок из КГБ Горского: «Рудольф Алексеевич (это Кузнецов) лично попросил передать, что вопрос решен положительно, ранее вас неправильно информировали». Что это было? Вроде как и не было — всё ведь без документов, только на словах. Игра, трепка нервов, некомпетентность или чья-то надежда, что у Андрея изменился характер и он смолчит?

Параллельно шли переговоры о поездке Аси Великой на лечение по вызову родного брата. Тоже несколько раз Андрею говорили какие-то пустые слова вроде: «Вопрос решается» и еще что-то. Потом был отказ. Снова разговоры, уже на более высоком уровне. И в тот же день, что и Тане, на несколько часов раньше — положительный ответ после долгой трепки нервов тяжело, безнадежно больному человеку и ее близким. Получается, что на эту машину (это не только ОВИР) обязательно надо давить, так вот всегда и идти «стенка на стенку», а без этого даже ничемную бумажку служащие этой системы не напишут.

Эта короткая и благополучно вроде бы закончившаяся история в очередной раз была для меня холодным душем во всех моих раздумьях об эмиграции. И все же сомнения мои со мной. А чтобы не было очень грустно от них, можно вспомнить старый анекдот: «Ехать — не ехать? Брать зонтик, не брать зонтик?»

Почти три недели мы складываем вещи, чтобы отправить их в Москву. Просто поразительно, до чего человек умеет обрастать бараклом — как маленький снежок из мокрого первого снега: его сомнешь в ладошках, налепишь еще, а покатишь по земле — и вырастет огромное, круглое тело снежной бабы. Когда в январе 1980 года Андрей позвонил из прокуратуры и сказал, что его отправляют в Горький, но я могу поехать с ним, мне понадобился только один час и всего две дорожные сумки, чтобы быть готовой отправиться хоть на край света. А теперь!

Андрей напакоевал уже 14 ящичков (28 кг каждый — взвесили!) одних только бумаг — всё препринты. Невероятный труд — каждый препринт просмотреть и решить: взять (куда — домой или в ФИАН) или выбросить?

Я разбирала письма — их больше четырех тысяч, — вроде как своеобразный итог семи лет, небольшие стопки писем от друзей, мамы, тонюсенькая от детей. И ящички ругани, море злобы и лжи, в котором нет-нет, да и всплеснется чье-то доброе слово. Спасибо тому, кто его написал. А книги — набралось за эти годы под тысячу томов, и журналы. Где только потом мы их разместим? Да я умудрилась так поверить в постоянность нашей жизни до самого конца в Горьком, что купила два шкафа, письменный стол, книжные полки и еще много разных мелочей, создающих видимость прочного уклада и какой-то свой мир, уют. И невероятная какая-то жадность, что ли, — выбросить жалко, — и кажется, что все это не надо.

Я написала эти странички, выплеснула на них свои сегодняшние заботы. Завершила ими нашу горьковскую жизнь. Еще говорят: подвела черту. И впрямь жизнь невидимыми линиями разделяется на какие-то фрагменты, как стоп-кадры: мое детство, моя юность, моя зрелость и мой закат. Мысленно пытаешься их проследить. Неужели это действительно была я? Чем же все это скрепляется? Как получается моя жизнь? Одна! И в единении со всеми, кого люблю.

Когда я писала книгу (и сейчас), мне кажется самым важным быть самой собой, не казаться ни лучше, ни хуже, ни злей, ни добрей, ни умнее и ни глупее, чем я есть. Я знаю, что мой рассказ может быть интересен людям не сам по себе, а потому что я живу рядом с Андреем. И в этом нет ни капли самоуничижения. А он часто говорит, что я должна написать книгу о своей семье и своей жизни до него — без него. А была ли она тогда? И когда он говорит «должна», то забывает, что мы с ним сами завели установку: «никто никому ничего не должен». Мне думается, что судьба моих близких и моя вполне банальны — не в плохом смысле этого слова, а как нечто типичное для сре-

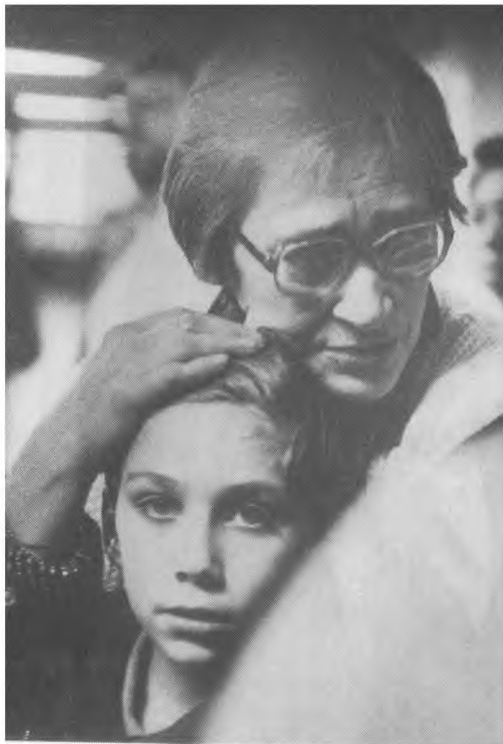
ды, в которой я выросла, и времени, в котором жила. Я, естественно, должна когда-то покинуть этот мир. У меня все еще не появилось страха за свою жизнь: может, 64 — еще не возраст. Но я страшусь той боли, которую мой уход принесет детям. И если я когда-нибудь возьмусь за книгу о себе, то только в надежде, что она сможет смягчить им утрату.

После выхода книги я получила много писем. Они были очень теплыми, дружескими. Правда, меня ругали за то, что мой взгляд на Америку и ее интеллигенцию очень поверхностен. И я с этим, в основном, согласна, хотя думаю, что даже мимолетное знакомство не есть повод умалчивать о своих впечатлениях. И, право же, я не выдавала свои мысли за истину в последней инстанции. Я сомневалась в них, когда писала, и полна сомнений сегодня. В одном из женских писем (они вообще были больше от женщин, и это меня радовало) была вложена большая семейная фотография. Муж и жена (письмо от нее), сын с невесткой, дочь с зятем и внуки — много внуков. Эта фотография так напоминала ту, что помещена в моей книге (мама, дети, внуки, я, и только нет Андрея), так перекликалась внутренне с ней, что была как прямое доказательство, что все мы — и здесь, и там — живем одними стремлениями и одними заботами и в мире так просто. Если бы еще не было так сложно — ох, этот разделенный мир.

Я дописывала последние строчки книги в Ньютоне, и мне очень хотелось около даты так это фатовски, вроде как с привычной легкостью поставить: «Ньютон, Нью-Йорк, Майами, Сан-Франциско, Вирджин Горда, Кейп Код». Красиво смотрится? И я вспоминала, как в детстве, кончая читать книгу и видя какое-нибудь такое замысловато-далекое географическое название, испытывала легкие уколы зависти и казалось: «ветер заморских странствий» шевелит мне волосы. Теперь к этому перечню прибавляю еще «Горький». Я ведь и вправду писала во всех этих местах.

1 мая 1987 года
Горький





**Е.Г.Боннэр-Сахарова с внуком Матвеем
в Бостоне в 1985 году.**



**А.Д.Сахаров за работой в кабинете
в Горьком.**

Самолет завис в воздухе над серединой Америки — все внизу движется так медленно, что, похоже, стоит. Так же стоит абсолютной голубизны небо — иллюзия покоя исходит от полного отсутствия облаков. Я, пожалуй, никогда не летала при столь ясной погоде, при такой отчаянно полной видимости. Середина Америки — горы, языки снега и ледников, темные обвалы леса, натянуто-прямые ниточки дорог, блестящие блюдечки озер, домики, как для кукол Дюймовочки. Иногда большие пространства без жилья — видно, и Америка не везде обитаема.

Середина моего пути от Сан-Франциско до Бостона — я возвращаюсь. Возвращаются люди домой, а я? Куда? Середина между небом и землей. Как найти точку отсчета, если это называется «небо»? И еще — середина моего путешествия в Италию и США: это уже не в пространстве, а во времени середина. 90 дней мне отпустила Москва, а сейчас — щедрость необычайная — добавила еще три месяца. Итак, 180 дней свободы, и я нахожусь в их середине. Середина свободы. Пожалуй, я никого еще не встречала, у кого точно известно, сколько еще ему отпущено и когда, а у меня все проставлено в главном документе — паспорте — и скреплено печатью. Правда, при этом я не знаю, что по возвращении получу в обмен на заграничный паспорт — удостоверение ссыльной или обычный паспорт. Если я ссыльная, то мне на поездку полагалось бы выдать путевой лист и указать, что я отпускаюсь на лечение с временным прекращением исполнения приговора — есть такое положение в законодательстве. А может, я помилована — ведь я подавала прошение, как в старину говорили, «на высочайшее имя». Куда ни глянь — все середина. Начало — середина — конец.

Я написала: середина путешествия. Но это по здешним, западным представлениям путешествие начинается с того,

что человек трогается в путь – садится в машину, поезд, самолет, идет пешком. Кстати, а ходят ли здесь – мне все больше попадалась бегущая Америка. Мне кажется, что вся страна – это подросток, бегущий в школу. А у нас «дальний путь» начинается с ОВИРа. Для непосвященных – отдел виз и регистраций; бывает районный, городской, областной, республиканский, всесоюзный – или союзный – не знаю; относится к ведомству, которое называется МВД – министерство внутренних дел. Существует, кажется, с тех пор, что и государство, и только что в Сан-Франциско мне довелось встретиться с одной из давних его клиенток. Родилась в США. В 20 х годах приехала с родителями в СССР строить коммунизм. Подала заявление о выезде в 1937 году. Получила разрешение в 1941 году, перед войной. Сейчас преподает в Беркли.

Итак, я пришла в ОВИР (районный) 25 сентября 1982 года. Дата связана с человеком, о котором сейчас читает в газете мой самолетный сосед, – это не литературный прием, а чистая правда, все читают сейчас о Толе Щаранском. Я специально приехала из Горького, чтобы Толина мама Ида Петровна Мильгром могла встретиться у меня дома с иностранными корреспондентами. Мы должны были объявить, что Толя 27 сентября начинает голодовку. В то время родным Толи трудно было найти в Москве дом, где они могли бы это сделать. Я приехала заранее, и у меня оказались свободными два дня, их как раз хватило, чтобы получить и заполнить анкеты, два экземпляра, на машинке, без помарок и исправлений. Фотографии у меня были готовы давно (ух, и страшна же я стала!). А необходимость думать о поездке появилась уже с весны, когда после гриппа было обострение увеита в левом глазу, а в правом вновь стало прыгать давление. В ОВИРе все прошло без особых осложнений, так как копия свидетельства о смерти моего отца (см. приложение № 1) у меня была с собой. Я знала по прошлым годам, что прочерк вместо указания места его смерти всегда вызывал беспокойство нижнего чина МВД, принимавшего документы. Других несуразностей этого документа он не замечал, а там год смерти был 1939, а запись о смерти сделана в 1954 году – кто хранил это в памяти? И места смерти нет вообще – только прочерк.

Я была довольна, что подала документы, – вроде сделан какой то шаг. Но, даже предполагая, сколько еще будет трудностей впереди, пока получим разрешение, я все же и представить не могла, каким будет этот путь на самом деле. А сейчас я в самолете над серединой Америки – сосед справа читает

газету; скосив глаза, я вижу фотографию: улыбающийся Толя (выглядит неплохо — откормили перед обменом), прислонившаяся к его плечу серьезная Авиталь. Сосед слева дремлет, и на коленях — журнал «Ю.С. ньюс энд уорлд рипорт», на обложке портрет, приспущенные веки, худое изможденное лицо — вот он, Андрюшин путь к моей поездке в Америку. Его письмо президенту советской Академии наук, его надзорная жалоба по моему делу — это только часть того, что было с нами за три года, прошедшие со дня подачи мною заявления в ОВИР. Все, что не рассказал он, теперь должна рассказать я.

У меня очень мало времени. У меня не очень много сил. Мне не хочется вспоминать — хочу забыть, так отличается от нормальной жизни и вообще от жизни здешней та, которой мы живем там. Рассказ невеселый, и его трудно сделать развлекательным. Это еще не воспоминания — для них все слишком близко и слишком больно. Здесь хорошо бы дневник, но в нашей жизни писать дневник нельзя, обязательно попадет в чужие руки. Это скорее всего хроника. Так как у меня нет времени, чтобы сделать из нее то, что можно назвать книгой, то пусть уж те, кому захочется читать, так и воспринимают. Я же постараюсь быть максимально точной в изложении. Для меня самой это еще и «После воспоминаний», «Post scriptum», — «Воспоминания» писал Андрей, я же была их инициатором, потом машинисткой, редактором и нянькой. Все, что я сделала как нянька, чтобы они выжили, стали книгой и дошли до своего читателя, стоит других «Воспоминаний» или, может, детектива, но этому еще не пришло время. Андрей поставил дату окончания своей книги 15 февраля 1983 года. Я начну с этого дня.

*Сердце болит. — Академическая медицинская помощь. —
Письмо академиков и «глас народа». — Подаем в суд. —
Лизин день рождения.*

Мы праздновали мой день рождения вдвоем — оба были нарядно одеты, были цветы, Андрюша рисовал какие-то плакаты, я стряпала так вдохновенно, будто ожидала в гости всю свою семью. Было много телеграмм из Москвы, из Ленинграда, от детей и мамы. То, что я наготовила, мы ели три дня. Но пришло время все же пополнить запасы, и я поехала на рынок — день был, по горьковским нормам, теплый и ясный. Когда я вернулась и Андрей открыл дверь на мой звонок, я не узнала его: чисто выбрит, серый костюм, розовая рубашка, серый галстук и даже жемчужная булавка (я подарила в первую горьковскую зиму на десятилетие нашей жизни вместе). «Что случилось?» — в ответ он молча протянул мне телеграмму, она была из Ньютона. *«Родилась девочка Саша Лиза девочка чувствует себя хорошо все целуют»*. Когда я прочла телеграмму, Андрей сказал: «Это не девочка, это голодовочка»*. И всегда, когда из Ньютона приходят новые фотографии детей, Сашу он называет «наша голодовочка».

В прошедшую осень я стала ощущать, что у меня есть сердце. Конечно, сердце иногда болело и раньше, но как-то мимоходом. Ощущать-то я его ощущала, но как-то не задумывалась,

* Осенью 1981 года А.Д. Сахаров и Е.Г. Боннэр провели 17-дневную голодовку с требованием дать разрешение на выезд из СССР Лизе Алексеевой, жене сына Е.Г. Боннэра Алексея Семенова. — Ред.

да и где тут задумываться. Осень 1982 года. Уже отстучали колеса моих более чем ста поездок Горький—Москва, Москва—Горький, уже уехал Тольц, прошел обыск у Шихановича, арестован Алеша Смирнов, а еще раньше Ваня Ковалев*, я вожу в Горький каждый раз две сумки с продуктами и еще всякое нужное и не очень, а Андрюша сидит над «Воспоминаниями» и периодически часть их пишет заново — не строгость автора, не ворчание первого читателя, первого редактора и первой машинистки (это всё я) — нет! Чужая воля и чужая рука. Они исчезают. То из дома — еще в Москве, то украдены с сумкой в зубоврачебной поликлинике в Горьком, то — в эту самую осень на улице из машины, которая оказалась взломана, а Андрей чем-то одурманен. Каждый раз он пишет все заново. В общем, каждый раз это уже нечто новое — иногда написано лучше, иногда хуже и даже не про то.

На следующий день после того, как в поликлинике украли сумку, Андрей встречал меня на вокзале; он был осунувшийся, как бывает в бессоннице, при тяжелой болезни и от долгой боли. Губы дрожали, и голос прерывался: «Люсенька, они ее украли». Я сразу поняла: сумку, — но сказано было так, с такой острой болью, что я решила: это сейчас было, здесь, на вокзале. В другой раз, когда сумку украли из машины, Андрей шел от нее мне навстречу. У него было лицо такое, как будто он только что узнал, что потерял кого-то близкого. Но проходило несколько дней — надо только, чтобы мы были вместе, — и он снова садился за стол. У Андрея есть талант, я называю его «главный талант». Талант сделать все до конца. Ну, а мне только оставалось развивать в себе талант «спасти», и я развивала, видит Бог, старалась, чтобы «рукописи не горели». Чтобы то, что пишет Андрей, не сгнуло в лубяньских или подобных, но уже новых (Лубянка-то старая) подвалах.

Так вот. В сентябре объявила вместе с мамой Толи про его голодовку, в октябре провела сама — одна — день политзэка, в ноябре в Горьком сердце уже не просто ощущалось, а стало гореть огнем. Почти неделю пролежала, ничего не могла, ничего не хотелось, даже не читалось, уж не говорю, что не пе-

* Друзья и знакомые Сахаровых: Владимир Соломонович Тольц, историк, участвовал в издании «Хроники текущих событий»; Юрий Александрович Шиханович (далее Ших), математик, подвергался репрессиям за участие в издании «Хроники текущих событий»; Алексей Олегович Смирнов, программист, правозащитник, арестован 10 октября 1982, досрочно освобожден в 1987 году, Иван Сергеевич Ковалев, инженер, член Московской Хельсинкской группы, арестован 25 сентября 1981, досрочно освобожден в 1987 году. Ред

чталось – на машинке, на той «Эрике», которая «берет четыре копии» (Александр Галич). В декабре, восьмого, поехала в Москву. В поезде – обыск, поезд отогнали куда-то далеко за город, на запасные пути. Когда отгоняли и я смотрела в окно, а следователь мне читал вслух постановление об обыске, у меня в голове все время стучало: «Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути». И старалась вспомнить, кто же автор этих строк, откуда они. Про этот обыск у Андрея в «Воспоминаниях» все подробно и даже протокол обыска есть, так что я не буду много рассказывать. У меня отобрали большой кусок его рукописи – опять сгорела!

Про сердце. Когда шла по путям, тащилась. А потом лестница была, казалось, непреодолимая, на мост над путями. На мосту плохо стало, и тут вместе с возвращением сознания пришло: «И девушка наша проходит в шинели, горящей Каховкой идет». Господи, да Светлов же это, Михаил Аркадьевич! Мы же под эту песню – патефон, ручку крутить надо – во дворе танцевали. А Михаил Аркадьевич, проходя, говорил: «Ну, ребята, ну, выберите другую какую-нибудь, ну, под Алтаузена танцуйте, что ли, у него и имя подходящее – американское все таки – Джек». Мы танцевали фокстрот. А уж тогда это было точно – «Америка». Наверно, это «имя американское» говорилось не одобрительно – западное влияние. Но я не знаю: танцевать танцевала, а про «влияния» любые тогда еще не знала – не интересовалась.

То, что в поезде отобрали, – это была уже четвертая потеря. И будут еще, так что не удивляйтесь, что я сама себя талантом называю. Книга ведь будет – или, вернее, уже есть.

После обыска все же добралась до города, дала телеграмму об обыске Андрею и скорей домой, на Чкалова. Я спешила, так как должна была прийти Ида Петровна, я обещала позвать корреспондентов, чтобы она могла рассказать им, что происходит с Толей. Успела только помыться, услышала на лестнице шум. Открываю дверь. Там два милиционера пытаются затолкать в лифт Леню Щаранского. Я кричу ему: «Ждите меня на улице, я сейчас к вам спущусь», – но сама не знаю, смогу ли выйти. Может, меня не выпустят? Выпустили, смогла, вышла, и решили, что свидание с коррами будет на улице. Пошли в сторону вокзала, там дорога в гору. Чувствую: не могу идти, тошнит, ноги как ватные, стыдно Иды Петровны, Лени. Дошли до остановки троллейбуса, доехали до Цветного бульвара. Там в фойе кукольного театра звонили коррам, ждали, а потом раз

говаривали с ними на Цветном бульваре про Толю, про мой обыск, еще про многое.

На следующий день я решила, что надо думать про сердце. С телефона-автомата у нашего подъезда, который тогда еще работал, вызвала врача. Пришла доктор — незнакомая, назначила обследование. Академическая поликлиника. Электрокардиограмма. Говорят, изменений нет. Я поверила, решила, что, видимо, все мои ощущения «от нервов», и жить надо, как жила, то есть о сердце, даже если оно все время напоминает, что оно есть, задумываться не следует.

15 февраля у кого, «к сожаленью, день рожденья только раз в году», а у меня два — один в Москве, другой в Горьком. На первый Ших принес книгу Яковлева «ЦРУ против СССР»*. Белка** очень расстроилась, что он принес, она уже читала, но мне не сказала; это ее всегдашнее стремление — не огорчить. Я взяла книгу в Горький. Я долго ее не читала, не хотелось, было заранее неприятно, и чувства брезгливости не могла преодолеть. Андрей же прочел почти сразу, как привезла, сказал, что обязательно будет писать про это, но не сейчас. В начале февраля он закончил статью «Опасность термоядерной войны» и еще не отошел от волнений, связанных с написанием и с тем, чтобы она увидела свет, — тут и мне досталось хорошо. Снова Андрей ругал меня, что когда-то я не дала ему подать заявление в суд на издающуюся в США газету «Русский голос», там еще в 1976 году началась кампания против меня, которую продолжила сицилийская «Сетте джорни», а Яковлев только расширил и, так сказать, оформил соответственно.

Я не буду касаться писаний Яковлева, как и многого, о чем пишет Андрей Сахаров в своих «Воспоминаниях», позже я расскажу только о своей попытке обратиться в суд за защитой от клеветы. Но Яковлев, конечно, заставил нас волноваться. Вначале — больше Андрея, потом и я заболела этим, а жить в ауре подобной литературы вредно, и не только психологически, но и физически. У Андрея в этом плане была разрядка. 15 июля 1983 года Яковлев приехал к нему — этот человек хотел то ли интервью от Сахарова, то ли еще чего и получил — пощечину. Об этом своем поступке Андрей рассказывает сам в своей книге. После пощечины Андрей успокоился и был очень доволен собой. Как врач, я думаю, что этим Андрей снял стресс — и это

* Н.Н.Яковлев. ЦРУ против СССР. Изд. 3-е, переработанное и дополненное. М., «Молодая гвардия», 1983. — Ред.

** Бела Хасановна Коваль, знакомая Е.Г. Боннэр. — Ред.

было полезно. Как жена — восхищаюсь, хотя понимаю, что вообще подобное не соответствует натуре моего мужа.

Но, в общем, мы жили тем же способом и в том же ритме, как и до этого, хотя сердце все болело и болело. Я треть времени проводила в Москве, где на меня наваливались куча дел и куча людей: чтобы делать дело, надо было гнать людей, а они обижались, хотя дела-то были, в основном, не мои, а их.

Так и сейчас, в Штатах, уже Бог знает сколько обиженных, что я не общаюсь, стараюсь как можно меньше вести разговоров и обсуждений, кто и каков здесь стал, а там, мол, был другим. Мне не хочется, да и невозможно объяснить, что и здесь есть дела, есть обязательные обеды или ланчи (ну, почему, почему всё обязательно с едой?), хочется побыть с внуками и даже с детьми. Не говорю о том, что в течение полутора месяцев до операции было по 20 нитроглицеринов в сутки, после операции еще полтора месяца тоже было ох как несладко. Но — не понимают, обижаются. А я? Мне так хочется крикнуть домашнее — хамское: «Вас много, а я одна!» И нет времени и сил не только, чтобы писать эти строки, но и на общение с друзьями.

Не вижу, когда же будет день, час, чтобы побыть наедине с каждым из детей. И чтобы он — ребенок мой — был готов хоть на тот день или час, что мы вдвоем, как то раскрыться, как то быть со мной. А кто из тех, кому доведется читать эти строки, знает, что ждет меня там, за чертой, за границей, и как уже сейчас от страха все внутри каменеет? Вы думаете, я каменная? Вы прислушайтесь к странному звучанию и попятитесь наоборот: *заграница — это ведь там.*

В Москве все было так плохо — седьмого числа арестовали Сережу Ходоровича*, ожидался какой то дурацкий суд у Верочки Лапшковой**, было непонятно, за что? И как могут (дурацкий вопрос) ее выгонять из Москвы? А в Горьком вовсю шла весна. Я люблю весну, и Андрей тоже. И хоть все плохо, а душа как то незаметно начинала отходить, оттаивать. Для нас было радостно, что дни длиннее и можно где то на обочине дороги погулять. Тогда еще можно было ездить в Зеленый город (район Горького), где есть лес, расположено несколько санаториев, детских лагерей и дач. Можно было слушать радио. Теперь этот район для нас тоже стал запретным.

25 апреля утром, после завтрака, я убирала что то в комнате, где мы спим. Андрей был у себя, работал. Вдруг меня как

* Сергей Дмитриевич Ходорович, программист, распорядитель Русского общественного фонда помощи политзаключенным и их семьям. 15 декабря 1983 приговорен к трем годам лагеря, получил в лагере второй срок, досрочно освобожден в 1987 году, эмигрировал. *Ред.*

** Вера Иосифовна Лапшкова, бывшая политзаключенная (известный «процесс четырех», янв. 1968). В апреле 1983 лишена московской прописки и квартиры. *Ред.*

проткнули чем-то острым насквозь, так что я ничего сказать, двинуться, закричать не могу. Остановилась на вдохе и так стою, потом медленно, почти ползком, по кровати добралась до Андреевой половины — и дотянулась до его нитроглицерина, своего у меня тогда еще не было. Через некоторое время боль чуть-чуть отпустила, и я смогла позвать Андрея, смогла лечь; начался бесконечный нитроглицерин, мази, валидол, анальгин, ношпа, папаверин, несколько раз инъекции атропина, один раз с промедолом, была рвота, слабость необычайная, давление низкое. Все себе сама делала — и больная, и врач. Испуганный Андрей помчался как угорелый в аптеку. Я все как проваливалась в небытие. На третий день небольшая температура — держалась два дня. Я уже поняла, что это инфаркт. Но, и поняв, подсознанием стремилась это опровергнуть. Первую неделю вставала только до ванной-уборной. Вторую стала вылезать и дальше и вообще понемногу начала приходить в себя.

Шло это все волнами — то лучше чуть, то совсем пропадая, а тут пришла телеграмма, что начинается суд над Алешей Смирновым, и 10 мая я поехала в Москву. Встречал Ших. Идти до такси было трудно, но добрались. Вечером у меня были Маша Подъяпольская*, Лена Костерина и Любаня (мать и жена Алеши), сказали, что суд завтра в 10 утра в Люблино. Я мысленно представила себе лестницу на мост над путями — через него надо перейти, чтобы добраться до здания суда, там уже судили столько: Буковский, Краснов-Левитин, Твердохлебов, Орлов, Таня Великанова, Таня Осипова и другие. И мне стало плохо — плохо не мысленно, а реально, по-настоящему: закружилась голова, схватило сердце, посинели ногти. Маша спросила: «Что с тобой?» — «Плохо». И потом: «Вы простите, я к суду не пойду. Пусть днем ко мне после перерыва кто-то придет и расскажет. А я все расскажу коррам. И вечером тоже сделайте так». Мне было очень неудобно перед Леной — у нее сын завтра предстанет перед судом, а я... Но я чувствовала, что иначе не выдержу. А у дверей моих с того приезда, когда был в поезде обыск, постоянно стоят милиционеры, на улице у подъезда дежурит милицмейская машина, корры не могут прийти ко мне — их не пустят, — чтобы позвонить им, я не могу воспользоваться телефоном-автоматом, который у подъезда: его выключили. Звонить надо идти в сторону Курского вокзала, за мост. Но это уж как

* Мария Гавриловна Петренко-Подъяпольская, правозащитница, вдова члена учредителя Инициативной группы по защите прав человека в СССР Григория Подъяпольского. — *Ред.*

нибудь, потихоньку, без свидетелей, наедине с собой. Так же, как сесть за машинку и напечатать то, что расскажут. Сердце болит и за машинкой. Но это тоже наедине. Я не умею болеть на людях, мне трудно переносить и принимать сострадание и даже помощь. Я как животное: мне надо быть одной, скрыться, уйти в нору.

Суд продолжался два дня. Приговор — 6 лет лагеря и 4 года ссылки. 10 лет — десять. Какой Алешка молодец. Как он смог выдержать и битье, и давление следователя, и как безумно жаль его, Лену, Любу.

На следующий день — это была суббота — приехали из Ленинграда друзья, Ира и Лесик Гальперины. Они еще появятся в моем рассказе в связи с тем, как я их чудесным образом «вывезла» из Советского Союза. Мы попили вместе кофе — долго и вкусно. Как всегда, когда приезжают друзья, утренний кофе у нас перерастает в некий ритуал — может быть, лучшее, что есть в нашем общении. И я поехала в поликлинику Академии наук — сердце все болело и болело, с 25 апреля ни на минуту не переставало.

Сделали ЭКГ. Врачи забегали. Посадили меня в кабинете. Пришла заведующая и повела разговор, что она не может меня отпустить домой, а должна сразу госпитализировать: очаговые изменения, инфаркт. По анамнезу получается, что ему немногим больше трех недель. Я была несколько ошеломлена, и это доказывает, что хоть я и поняла после 25 апреля, что у меня инфаркт, но верить не верила: не хотелось. Или боялась. Да и забоишься — любой человек боится, а при нашей-то жизни! Зав. отделением очень волновалась, и, пока она волновалась, я думала и — надумала. Я сказала, что согласна на госпитализацию, если привезут из Горького моего мужа и госпитализируют вместе со мной — ему давно пора.

Чтобы непосвященному была понятна обоснованность моей просьбы, придется пояснить. Академик в своей поликлинике всегда пользуется привилегией быть госпитализированным с женой и регулярно проходит (в среднем раз в год) стационарное обследование в течение двух-трех недель, обычно также вместе с женой. Андрей с момента ссылки никакой помощи от поликлиники не получал и не обследовался. Потому моя просьба (если считать, что все обстоит так, как говорят академические функционеры: что с Сахаровым все хорошо и он живет, как все академики) вполне обоснована. Если же считать, что Сахаров — ссыльный, то моя просьба, чтобы Сахаров приехал (или его привезли), тоже обоснована, так как кодекс предусмат-

ривает, что ссыльный может быть временно отпущен из ссылки, если тяжело болен кто-либо из его близких. Этот момент нашей жизни очень наглядно доказал, что положение Сахарова во всем незаконно и апеллировать к закону он не может.

Марина Петровна (так звали заведующую) сказала, что от нее ничего не зависит, что она передаст мою просьбу начальству, но отпустить меня одну не может — отвечает теперь за мою жизнь, и меня повезли домой на «Скорой помощи» в сопровождении медсестры. Мое появление дома с таким эскортом вызвало у Лесика и Иры шок — по-моему, они смертельно испугались оба. А я начала телеграфную переписку с Андреем. Включились в это и физики — у них на 19 мая была назначена поездка в Горький, и они очень старались успокоить Андрея, видимо, несколько введенные в заблуждение академическими врачами. Озабоченность академических врачей моим состоянием столь велика была только в день моего обращения к ним, а потом — думаю, не без влияния со стороны (снова та самая медицина, которую Андрей зовет управляемой) — резко упала.

У Андрея и у меня сложилось впечатление, что физикам было сказано, что я вроде бы сознательно обостряю свое состояние, а академик Скрябин*, как сказал Андрею один из его коллег, просто заявил: «Мы не дадим ей шантажировать нас своим инфарктом». Похоже, что в данном случае он сам себя отождествлял с КГБ, иначе что бы означало его «мы»: ведь не президиум Академии держал и держит Сахарова в Горьком. Со мной тот же Скрябин (по телефону, не лично: он — в своем кабинете, я со своим инфарктом — в уличной автоматной будке) говорил подчеркнуто уважительно и даже не забыл сказать, что мы с ним одного поколения и оба прошли армию. Поэтому мне было чрезвычайно интересно узнать, что с одной из научных американских делегаций тот же Скрябин обо мне говорил так, как редко кто говорит на коммунальной кухне, да и базарные торговки в наши дни стали хоть «на язык» культурнее.

19 мая, поняв, что без давления и помощи я никогда не добьюсь, чтобы нас госпитализировали вдвоем, я решила провести пресс-конференцию. У моих дверей стояли милиционеры. Внизу дежурила милицейская машина. Но я все же вышла на

* Георгий Константинович Скрябин — ученый секретарь Академии наук СССР.
Ред

улицу, позвонила в несколько агентств и попросила приехать. Приехало довольно много корреспондентов.

Стоя у окна книжного магазина и держа в руке нитроглицерин, с которым теперь уже не расставалась ни на секунду, я рассказала им о нашем положении. В западной печати появились сообщения об этой встрече*. Но, видимо, все недооценили мое состояние, считая, что раз я вышла на улицу, то, может, у меня и не инфаркт. Одна газета написала «микрoинфаркт», другие вообще забоялись серьезных определений. Иногда я думаю, что если бы пресса (единственная наша и правозащитников реальная защита — это гласность) отнеслась к моей просьбе помочь нам серьезней, если б наши друзья во всем мире поняли, насколько трагично было положение в те дни, то, может, не случилось бы всего, о чем я рассказываю дальше.

26 мая у меня дома был консилиум. Были зав.отделом, в котором лечат академиков и членов их семей, доктор Бормотова, зав. нашим с Андреем отделением, доктор, фамилии которой я не знаю, — та самая Марина Петровна. С ними были и двое мужчин. Мне их представили как кардиологов — консультантов Академии, но один произвел на меня впечатление не врача. Судя по описанию Андрея, это те самые доктора Григорьев и Пылаев, которые потом были у него.

Они вновь предложили мне госпитализацию одной; они считали, что, пока сердечный процесс не выравнивается (платная ЭКГ 24 мая показала ухудшение), быть дома мне просто опасно для жизни. Я отказалась, повторив свои условия. Они хотели записать в историю болезни только мой отказ, но я не дала это сделать и сама в историю болезни написала: «От госпитализации не только не отказываюсь, но настаиваю на ней, но госпитализироваться согласна только совместно с мужем академиком Андреем Дмитриевичем Сахаровым и только в боль-

* Отчеты о пресс-конференции Е.Г. Боннэр, состоявшейся 20 мая, появились во многих западных газетах, включая «Нью-Йорк таймс», «Вашингтон пост» и лондонский «Таймс». Газеты также сообщали о нападках на Сахарова, появившихся в тот день в «Правде» в связи с провозглашением президентом Рейганом Национального дня Андрея Сахарова. День Сахарова (его день рождения) был «отмечен» и советской прессой, опубликовавшей 21 мая заявление АН СССР. Академия возмущалась «решением президента США Рейгана об официальном проведении „дня Сахарова“»: «Изображать Сахарова в качестве борца за мир и права человека — это надругательство над правдой, подстрекательство к раздуванию „холодной войны“, полное игнорирование мнения советских ученых». (Рейгану, однако, незачем было узнавать «мнение советских ученых»: объявляя День Сахарова, он действовал во исполнение закона, принятого Конгрессом США.) — *Ред.*

ницу Академии наук СССР». После этой моей записи Бормотова заплакала, но не от страха за мою жизнь (как это трактовал Евгений Львович Фейнберг*), а из-за того, что не выполнила задание — госпитализировать меня одну. Потом она еще будет приходить и предлагать машину с врачом и медсестрой, чтобы отвезти меня в Горький — там они якобы будут меня лечить. Но это уже был совершеннейший план КГБ — еще тогда запереть нас в Горьком обоих.

«В четверг 26-го была комиссия врачей, доведшая меня до гипертонического криза впервые в жизни. Зав. диспансерным (для академиков) отделом поликлиники не хотела, чтобы в историю болезни вписывали ухудшение ЭКГ и то, что два профессора (их консультанты) сказали, что я нуждаюсь в госпитализации. В результате моего крика и некоей медицинской грамотности все было записано и еще моей рукой вписано: „Не отказываюсь, а настаиваю на госпитализации, но только совместно с мужем, состояние которого требует госпитализации, возможно, даже больше, чем мое...”»

(Из письма детям от 28 мая 1983)

Скрябин в конце мая сказал мне, что к Андрею поедут академические врачи, чтобы решить, нужна ли ему госпитализация. Они действительно были у Андрея 2 июня и дали заключение, что он нуждается в госпитализации, обследовании и лечении. Казалось, проблема решена. Такая, в сущности, простая проблема — госпитализировать двух больных людей в медицинское учреждение той системы, к которой они принадлежат. У нас медицина ведомственная — водников, железнодорожников, МВД, МСМ, кремлевская, академическая. Но шар покатился совсем в другую сторону.

Первые дни после визита врачей мы оба — Андрюша в Горьком, а я в Москве — ждали госпитализации, но время шло, я постепенно стала чувствовать себя чуть легче. Мне все время предлагали вначале госпитализацию, а потом санаторий, но одной, без мужа. Я написала обращение к американским и европейским ученым и отдала его на улице корреспондентам.

* Евгений Львович Фейнберг — член корреспондент Академии наук, коллега А. Д. Сахарова по Физическому институту АН СССР (ФИАН) Ред

К АМЕРИКАНСКИМ И ЕВРОПЕЙСКИМ УЧЕНЫМ

Я обращаюсь к вашей помощи. Сегодня наше остро трагическое положение усугубилось моей болезнью и нарастающими изменениями в состоянии здоровья моего мужа. 25 апреля у меня в Горьком случился инфаркт. Я лечилась сама. Почему мы не можем лечиться в Горьком, вы поймете из моего письма президенту Академии наук СССР Александрову и из заявления прессе от 20 мая (копии этих документов у наших детей в США).

11 мая я смогла приехать в Москву и с тех пор добиваюсь возможности нам обоим лечиться в больнице Академии наук в Москве. Единственно, чего я смогла пока добиться, - это что в Горький к мужу впервые за три с половиной года были посланы консультанты лечебного отдела Академии. Они дали заключение о необходимости госпитализации, обследования и лечения. Я опасаясь, что без вашей помощи даже это минимальное требование - лечение у врачей, которым мы можем хоть сколько-то доверять, - не будет осуществлено. Мы не получим необходимого для сохранения жизни лечения - проблема Сахарова будет решена смертью одного из нас или обоих.

В отношении нашего будущего. Даже если мы получим лечение, видимо, после инфаркта миокарда я не смогу вновь вынести ту нагрузку, которая на меня легла в связи с незаконной депортацией и изоляцией Сахарова. Это будет означать, что Сахаров полностью потеряет связь с внешним миром. Это будет трагично не только в плане нашей личной безопасности и судьбы, но и в общественном плане. Уникальность Сахарова, его единственного и компетентного в среде советских ученых голоса, будет потеряна для всего мира и в первую очередь для тех, кто стремится к благополучному разрешению наиболее острых проблем современности - разоружению и сохранению мира. Сегодня советские руководители и советские ученые призывают вас к совместным действиям в защиту будущего всего человечества. Вам самим судить, может ли быть этот призыв искренним, если Сахарова в это время держат в изоляции, лишают права на общественную и любую интеллектуальную деятельность, воруют его бумаги, убивают, оставляя без медицинской помощи. Жизнь Сахарова, защита его права на научную и общественную деятельность, права жить свободно и там, где он выберет, - больше всего зависит от активности мирового сообщества ученых.

В надежде на ваше глубокое понимание я пишу это письмо и прошу вас приложить усилия и использовать свой авторитет для защиты Андрея Сахарова, его жизни и его свободного голоса.

12 июня 1983 г.

20 июня в журнале «Ньюсуик» появилось интервью с президентом Академии наук СССР Анатолием Александровым. Я приведу ту часть этого интервью, которая касается Андрея Сахарова.

— **Вы упомянули о желательности большего сотрудничества в области науки. Американские ученые говорят, что одним из препятствий к увеличению сотрудничества является преследование Андрея Сахарова, осуществляемое КГБ. Что Вы можете об этом сказать?**

— Он занимался теми же вещами, что и Эдвард Теллер (разработка водородной бомбы). Я думаю, что если б вокруг Теллера наши люди организовали какую-нибудь систему постоянных контактов — американское правительство не отнеслось бы к этому с большой симпатией, так же как и американские ученые. Вероятно, они попытались бы каким-то способом ликвидировать эту ситуацию. Я думаю, наше правительство действовало очень гуманно по отношению к Сахарову, поскольку Горький, где он живет, — красивый город, большой город с большим числом академических институтов. Академики, которые живут там, не хотят никуда переезжать.

— **Прошло 15 лет с тех пор, как Сахаров перестал заниматься секретными исследованиями. Почему он не может покинуть Россию?**

— В этой области 15 лет — не такой уж большой промежуток времени. Системы, в разработке которых он принимал участие, существуют и будут существовать. Если, не дай Бог, произойдет военное столкновение, американцы узнают, хороши или плохи эти системы.

— **Почему он по-прежнему остается членом Академии, если, как говорит «Правда», вы считаете его пособником международного империализма?**

— Мы надеемся, что Сахаров одумается и изменит свое поведение. К сожалению, я думаю, что в последний период его жизни его поведение более всего обусловлено серьезным психическим сдвигом.

Думаю, что это интервью было первым ответом на статью Сахарова «Опасность термоядерной войны» (см. приложение № 2), хотя дано оно было до того, как статья появилась в печати. Но такие вещи тем, кому нужно, становятся известны заранее и иногда задолго до публикации. Об этом стоит задуматься! Я же думаю, что отсутствие решения о нашей госпитализации было вызвано именно тем, что в тех сферах, где решают, стало известно о статье. Это было первое, что эта статья принесла в нашу жизнь. Напечатана она была в американском журнале «Форин афферс» 22 июня.

Весь тон интервью Александрова был столь немиролюбив, почти агрессивен, что непонятно, почему это интервью прошло почти незамеченным западными учеными, ведущими неправительственные переговоры о разоружении, и прессой. А может, я просто не знаю их реакции? И мне неуютно от того, что я не знаю ни одного отклика коллег Андрея на слова Александрова. Я же не могла молчать и послала письмо Александрову сразу же, как получила журнал с интервью.

Президенту Академии наук СССР
ак. Александрову А.П.

Анатолий Петрович!

Я обращаюсь к Вам в связи с интервью, которое Вы дали журналу «Ньюсуик» (№ 25, 20 июня 1983). В нем Вы заявили, что (цитирую) «в последний период жизни Сахарова у него произошел весьма серьезный психический сдвиг».

Что дало Вам право произнести эти слова — принципиальные выступления Сахарова по актуальным проблемам современности, не всегда совпадающие с мнением правительства СССР, его лично Вам известная честность и бескомпромиссность?

Вы знаете, что само насильственное поселение и удержание Сахарова в Горьком является откровенным беззаконием и что Академия наук ничего этому беззаконию не противопоставила. Вы знаете, что сегодня Сахаров остро нуждается в госпитализации и лечении больного сердца и что дальнейшая отсрочка может обернуться трагедией. Однако вместо помощи Вы делаете свое беспрецедентное заявление.

Насколько мне известно, впервые в истории Российской — Советской Академии наук ее президент обвиняет действительного члена в психической неполноценности.

И это Ваше заявление, Анатолий Петрович, действительно войдет в историю.

14 июля 1983 года

Елена Боннэр-Сахарова

П.С. Я адресую это письмо не только Вам, но всем иностранным академиям и научным сообществам, членом которых является академик Андрей Дмитриевич Сахаров.

Когда началась наша горьковская жизнь, Евгений Львович, с одной стороны, и Лидия Корнеевна*, с другой, оба волновались за Андриюшино сердце и оба рекомендовали в Горьком известную им с чьих-то слов доктора Матусову. Похоже, и тот и другая сердились на меня, что я отмахиваюсь, говоря, что никого, кроме назначенных и обозначенных органами врачей, не допустят до контакта с нами. Ну, что сердился Евгений Львович, понятно: у него академические критерии, и по ним я максималистка. И хоть Яковлев и лжет, но все же! Но Лидия Корнеевна? Наверно, это все-таки непонимание особенностей нашего положения. А мы сами? Когда очень приспичило с моим инфарктом, через Майю (тогда еще пускали к нам трех человек — Ковнера** и иногда Феликса с Майей***) пытались получить помощь от доктора Матусовой и получили ответ — на бумаге, чтобы ни слова вслух: ничего не может, может только через Майю, если никто не будет знать, посмотреть мои кардиограммы. Ну, а потом мы не имели уже никаких контактов с Майей. В Москве Ших тайно носил мои кардиограммы на просмотр доктору, который был общим знакомым его и Лидии Корнеевны. Лидии Корнеевне показалось возможным попросить этого доктора навестить меня. Это было в «розовые времена» — то есть когда милиция дежурила у моих дверей в Москве с 8 утра до 11-12 ночи, а не круглосуточно. О его визите меня предупредил Юра. Доктор пришел через 20 минут после полуночи, но милиционеры были у дверей — похоже, ждали. Его пропустили. Я видела: он очень разволновался от того, что у него про-

* Лидия Корнеевна Чуковская - Ред

** Марк Ковнер - физик, отказник, горьковский знакомый Сахаровых. Ред

*** Феликс Красавин и его жена Майя, врач, горьковские знакомые Сахаровых. - Ред

верили документы. После осмотра и недлинной беседы он, смущаясь, сказал мне, что если я еще раз буду в нем нуждаться, то я должна обратиться в Академию и, если они его официально вызовут на консультацию, он будет рад мне помочь. На этом наши отношения кончились – даже и показ электрокардиограмм. А никто его не пугал, не грозил. Это страх. Этот врач свободно лечит Лидию Корнеевну, что не осложнило его служебного положения, и он сам этого не боится. Но мы – другое дело! Когда врач Лидии Корнеевны перестал смотреть мои электрокардиограммы, это стал по просьбе одного нашего приятеля делать другой врач. Он пошел чуть дальше – дважды смотрел меня дома у этого приятеля. Я никогда не называла его фамилии, так как он этого не хотел. Тогда его фамилию называл ТАСС (см. Приложение № 12. – Ред.).

Истории с врачами стали сыпаться на нашу семью после того, как в нее вошел Сахаров. Началось с того, что к маме пришел никем не вызванный врач-психиатр якобы консультировать, а на самом деле пугать ее. Потом начались мои истории. В 1974 году возникла необходимость оперировать меня по поводу тиреотоксикоза. По рекомендации Наташи Гессе* мы обратились к ее знакомому доктору Б. Он назначил срок операции, предварительно попросив, чтобы мы получили официальное направление в больницу, где он работал. Андрей обращался в Ленгорздравотдел и министерство здравоохранения, и мы получили такое направление. Но, когда я приехала на операцию, он через Наташу передал, что не сможет меня оперировать, так как ему не утвердят докторскую диссертацию. Жаль, что Наташа, давая показания в Конгрессе США о нашей жизни, не рассказала эту историю, в которой была главным свидетелем. После операции тиреотоксикоза возникли острые осложнения с глазами. И я с Андреем вместе пошла к проф. Краснову. Я делала у него свою первую глазную операцию в 1965 году, еще когда не была женой Сахарова, и операция прошла успешно. Еще раньше я много лет была больной его отца. Но в этот раз Краснов отказался оперировать меня. Я легла в Московскую глазную больницу и ожидала операции, когда друзья-врачи сказали, чтобы я уходила из больницы, так как они не знают, «кто и что со

* Наталья Викторовна Гессе, литературный редактор, друг семьи Сахаровых, ленинградка, эмигрировала из СССР в 1984 году. Ред

мной будет делать. Именно после этого появилась идея ехать оперироваться в Италию, где жили мои подруги Мария Олсуфьева и доктор Нина Харкевич. Меня всегда удивляло и расстраивало, что, хотя мы все это рассказывали друзьям, они с удивительной поспешностью всё забывали. Потом зачастую именно друзья первыми удивлялись — почему мне лечиться пришлось в последние годы не дома, а так далеко. Я же всегда говорила, что, не будь я женой академика Сахарова, мое лечение могло бы проходить в советской больнице. Конечно, всё, кроме теперешних шести шунтов, с которыми я и здесь чемпион — еще не видела никого с таким же количеством.

3 июля в «Известиях» появилась статья (письмо четырех академиков — см. приложение №3). Письмо это подписали А.А.Дородницын, А.М.Прохоров, Г.К.Скрябин, А.Н.Тихонов (говорят, Прохоров жалеет, что подписал: его плохо принимают за границей; Скрябину, думаю, все равно, как принимают, — лишь бы посылали; ездят ли два других ученых мужа, не знаю). Их письмо вызвало бурю. Советские люди академикам верят, тем паче один — Нобелевский лауреат. А что эти академики постеснялись даже название статьи Сахарова привести в тексте — этого советские люди не знают.

Пошел поток писем — 20 в день, 50 в день, 70, 100, дошло до 132-х в один день, потом постепенно их количество стало уменьшаться, но не прекращалось. Сахарова ругали и клеймили всячески, письма были индивидуальные и коллективные. Когда мне друзья говорят, что они инспирированы, я могу противопоставить этому только свою абсолютную уверенность в том, что это пишет советский народ, у него тоже иногда просыпается некая «социальная активность» — вот хоть в этом. Среди писем — от Володи Чавчанидзе (я его так накоротке называю, потому что он был в аспирантуре одновременно с Андреем и Андрюша так его зовет в своих рассказах о том времени). От одноклассника моей дочери. От одной сотрудницы Андрея, которую он очень по-доброму вспоминает в своей книге. Много священнослужителей, много пенсионеров, большинство — ветераны войны, и все считают, что Сахаров призывает к термоядерной войне. Именно это они вынесли из письма четырех академиков. В июле на подмогу академикам пришел журнал «Смена» (тираж идет чуть ли не на миллионы), где Яковлев повторил и развил то, что было в его книге. Поток писем изменил свою направленность, многие письма стали откровенно антисемитскими, участились угрозы — особенно в мой адрес.

В августе уже не президент Академии, а глава государства (тогда Андропов) в беседе с американскими сенаторами заявил, что Сахаров сумасшедший*.

А нам угрожают на рынке, и, когда выходишь на балкон, на улице скандалы — было все. Кажется, только не били. И как апофеоз — погром, который мне устроили в поезде 4 сентября, когда я ехала из Горького.

Я ехала дневным поездом. Он выходит из Горького в 6 часов 20 минут утра, в Москву приходит в 13 часов 40 минут. В купе, кроме меня, были еще две женщины средних лет и один мужчина. Одна из женщин спросила: «Вы где живете — в Горьком?» — «На проспекте Гагарина». — «В доме 214?» — «Да». — «Вы же жена Сахарова?» — «Да, я жена академика Андрея Дмитриевича Сахарова». Тут вмешался мужчина: «Какой он академик. Его давно гнать надо было. А вас вообще...» Что «вообще» — он не сказал. Потом одна из женщин заявила, что она советская преподавательница и ехать со мной в одном купе не может. Другая и мужчина стали говорить что-то похожее. Кто-то вызвал проводницу. Уже все говорили громко, кричали. Проводница сказала, что раз у меня билет, то она меня выгнать не может. Крик усилился, стали подходить и включаться люди из других купе, они плотно забили коридор вагона, требовали остановки поезда и чтобы меня вышвырнуть. Кричали что-то про войну и про евреев. Я была абсолютно спокойна, прямо как оконное стекло, на котором все время почему-то держала левую руку. Потом проводница куда-то скрылась. Люди в коридоре протискивались мимо купе, заглядывали, что-то кричали. Гнев и любопытство, наверное, были одинаково сильны. Потом проводница вновь появилась и вывела меня в коридор. Мы протискивались мимо людей, и я прямо ощущала физические флюиды ненависти. Она посадила меня в свое служебное купе. Так я доехала до Москвы.

Из дневника А.Д. Сахарова:

«Для Люси с ее чуткой эмоциональностью повседневное столкновение с неприязнью и ненавистью окружающих тяжело (для меня тоже). Старуха, грозящая кулаком, еще что-то в этом роде.

* «Отвечая на заявление сенатора Пелла, упомянувшего дела известных диссидентов, Андропов начал с того, что описал Андрея Сахарова как „психически больного человека“, который написал статью, „призывающую к войне“ (Поразительная характеристика недавней статьи Сахарова в журнале „Форин афферс“).» Из отчета делегации восьми сенаторов о поездке в Советский Союз (сенатский документ 98 161) Ред

Столкновение в поезде 4 сентября было, конечно, спровоцировано несколькими гебистами, но большинство пассажиров, кто по охотке, кто из страха, приняли участие в общем крике... Люся писала мне в фототелеграмме: «Это было очень страшно, и поэтому я была совершенно спокойна»... Ших и Белка, встречавшие ее, сразу по ее лицу поняли, что произошло что-то ужасное. После рассказа Люси Белка плакала».

Толпа, погром, фашизм – как все сходится в нашем мире к одному. Мне все время, пока стоял крик, пока грозили и пока я не увидела на перроне Шиха и Белку, было жаль, что у меня нет желтой звезды нашить себе на платье.

Вот еще из дневника А.Д. Сахарова:

«Следующий раз Люся ехала в Москву 22 сентября 37-м поездом. Мы боялись повторения „вагонного погрома“, но вечерний поезд вообще менее подходит для такого, а кроме того, Люсе (впервые за три с половиной года) удалось обменять билет на СВ. Она ехала в полупустом вагоне. В купе с ней артист Жженов (это какая-то знаменитость), боюсь только, что он был выпивши. Его провожала шумная компания. Кто-то крикнул: „С тобой поедет очень интересная (или симпатичная) женщина“. Люся сказала: „Знали бы они...“»

Я уезжала из Горького 22 сентября, был теплый для этого времени года вечер, и мы с Андрюшей долго стояли на перроне, а когда вошли в вагон (в кои веки мне удалось обменять в кассе вокзала плацкартный билет на СВ – спальный вагон), то около нашего – моего то есть – купе увидели несколько человек, смеющихся, с шампанским и явно не из ГБ. Эти люди нас пропустили, Андрей положил вещи, и мы снова вышли в коридор. Кто-то из них спросил, кто из нас едет. Я ответила. Тогда другой, стоящий рядом, крикнул вглубь купе: «С тобой едет симпатичная женщина», – после предыдущей поездки, когда был тот погром, это восклицание показалось странным, и я сказала Андрею: «Знали бы они». Мы еще постояли в тамбуре, грустно нам всякая разлука, даже вот так, на несколько дней. И всегда помнятся слова Мандельштама: «Кто может знать при слове – расставанье, какая нам разлука предстоит». Андрей спустился на перрон, поезд тронулся, как в песне «вагончик тронулся, вагончик тронулся» – кинофильм «Ирония судьбы»; это действительно наша с Андрюшей жизнь – ирония судьбы. Мне тут по необъяснимым ассоциациям вспомнилось начало 1971 года. Я что-то делала у Андрея Дмитриевича, для Андрея

Дмитриевича, наверно, по просьбе Валерия*, и почему-то разговор зашел о славе. Андрей Дмитриевич сказал: «Ну, у меня все эти валентности давно заняты». Думаю, это должно было означать: «Большей не будет, и большей, упаси Бог, не надо». Однако вот пришли эти заполнившие дом тысячи писем, которые мы не в силах прочесть. Для них нужен государственный архив, чтобы разобрать их и хранить. Это слава — жена, которую узнают на улице, в поезде и готовы линчевать. Я прошла в купе. Все провожающие ушли. Мой визави несколько старше нас с Андреем, взгляд и глаза хорошие, хорошая больше-ротая улыбка, правда, с оттенком некоего профессионализма: в общем, то, что называют открытым лицом. Что-то в нем знакомое. Говорит, как хозяин, правда, дружелюбный: «Давайте знакомиться — Жженов Георгий Николаевич» (в отчестве сегодня, когда пишу, не уверена**). На Георгия Николаевича Владимира, которого очень люблю, смахивает). И как будто ждет от меня реакции какой-то особой, то ли на фамилию, то ли на дружелюбность его. Это я потом поняла, что он привык, чтобы везде узнавали, чтобы на фамилию реакция была бурная — он народный артист, но я не узнала его. А фамилий актеров вообще, кроме пяти-шести, ничьих не знаю. И я ему тоже по возможности дружелюбно, хотя поначалу на дружелюбие совсем не тянуло:

— Боннэр Елена Георгиевна, — и вижу, он руку не мне, а к двери протянул, закрыл и полушепотом:

— Та самая?

— Да, та самая.

— Никогда не подумал бы.

— Недостаточно страшна для той, о которой читали?

— Пожалуй.

— Перетерпите мое соседство или мне попросить проводника, чтобы перевели в другое купе? — Молчит. — Ну, раз молчите, я останусь, а вы уж как хотите.

На столе стояла наполовину опорожненная бутылка водки и открытая бутылка шампанского. Он налил в два стакана и предложил мне.

— Не пью.

— Совсем?

— Совсем.

* Валерий Николаевич Чалидзе, правозащитник, с 1972 в эмиграции. — Ред

** В отчестве, действительно, неточность: Георгий Степанович. — Ред

- Странно!
- Вам что, где-нибудь наплели, что я к тому же и пьющая,
- у Яковлева этого вроде нет?
- Говорили. Ну, а чайку?
- Чай пью.

Он достал из портфеля металлическую коробку с чаем. Любит, видимо, хороший чай. Вышел и вернулся вместе с проводницей, которая принесла все для чая. И начался наш очень долгий разговор — до четырех ночи; чай перемежался у него с водкой, к концу разговора он был сильно выпивши, если говорить мягко. Суть разговора мне хочется изложить — это ответ на частый вопрос: «Как относятся к нам, ко мне люди, верят ли они тому, что писал Яковлев?» На мой вопрос, как он может верить тому, что писал Яковлев, отвечает вопросом:

- А как не верить, на основании чего?
- На основании собственного жизненного опыта. Вам сколько лет?
- 67.
- Дело врачей помните? Журнал «Звезда», Ахматова, Зощенко, космополиты...

Молчит; и потом вдруг, после еще одной рюмки, заговорил о собственном опыте. Вот его рассказ. Учился в Ленинграде в театральном училище и начинал в Ленинграде очень успешно. В 30-е годы посадили. Случайно попал в кино — пришелся на роли солдат не самого юного возраста. С этим вернулся на столичную сцену. Пришел успех, поздний, но тем дороже. Вот такой опыт! И это я ему должна что-то доказывать — при его-то опыте. Он говорит, что думает, что теперь в стране все по-другому, но, когда говорит это, видно: он не меня — себя убеждает. В разговоре с ним все время было у меня ощущение: вот еще немного, совсем немного, и что-то в нем прорвется, перестанет он сам себя утешать ложью. Но — не прорвалось. Я даже его уговаривала с поезда поехать ко мне кофе пить, чтобы посмотрел своими глазами дом, из которого я якобы выгнала детей Сахарова, нашу — мамину — двухкомнатную. А я ему книжку квартплаты покажу, где написано, что квартира была дана маме в 1955 году. Говорила, что милиционеры дежурят только с 9 утра (тогда так было), что он кофе выпьет и уйдет и никто ему этого никогда не вспомнит.

- Нет.
- Но почему, почему нет?
- Боюсь.
- Чего?

— Боюсь, и всё.

К четырем часам, уже закончив бутылку водки, руку мне целовал, говорил, что преклоняется перед Андреем и передо мной тоже. Но...

— Боюсь. Б о ю с ь .

Утром старался не глядеть в мою сторону. Как мельком, не глядя пожал руку, вышел, сухо бросив: «До свидания».

На перроне меня ждал Юра Ших. Он мне сразу сказал: «С тобой Жженов ехал в одном вагоне, хороший артист, я его люблю». Ших — завзятый кино-театрал, не то что мы: сразу узнал. А я ему всю эту историю рассказала. Ших почему-то на меня ворчал, считал, что я была недостаточно красноречива, могла бы и убедить, а уж на кофе затащить — подавно. Не прав он: страх ни в чем убедить нельзя и ничем — ни словом, ни делом. Преодолеть страх можно только самому.

Мы решили подавать в суд. Мысль была не моя. Так считал необходимым Андрей, и с ним были согласны многие друзья. Я же понимала, что от меня опять требуется большая работа. Надо писать заявление. До этого собрать какие-то бумаги. Потом подача заявления, неаверняка неоднократные хождения в суд, объяснения. Где взять сил, если мне даже сто метров пройти трудно. Если, даже сидя за машинкой, я обливаюсь холодным потом от слабости. Если надо заверить показания Андрея — согласится ли нотариус? Если надо где-то достать адрес Яковлева. И, в конце концов, надо же его внимательно прочесть, а я так и не сделала этого — во-первых, тошно, во-вторых, как вспомню, что написано о Севке, так начинается сердечный приступ.

Но вот все «если» преодолены. И даже есть адрес Яковлева. Его мне дала одна моя приятельница. Она живет недалеко от него и, сообщая адрес, добавила к нему довольно длинный рассказ о личности и прошлой и сегодняшней жизни моего ответчика. Так что если б я была привержена тому жанру, в котором работает Яковлев, то могла бы здесь поместить еще пару десятков страниц.

После двух-трехнедельной писанины вперемежку с сердечными приступами и ни на минуту не выпуская нитроглицерина из рук, я считаю себя готовой к суду. У меня на руках следующие три документа*:

* Публикуемые далее документы были напечатаны в специальном приложении к № 3512 «Русской мысли». — Ред.

1. Исковое заявление.
2. Мои показания вместе с автобиографией.
3. Свидетельские показания Андрея Дмитриевича Сахарова.

И в дополнение к ним еще журнал «Смена», № 14, июль 1983 года.

В районный народный суд
Киевского района г.Москвы
от Боннэр Елены Георгиевны,
прож.: Москва Б-120, ул. Чкалова, 48 б, кв. 68
по делу с Яковлевым Николаем Николаевичем,
прож.: Москва, Смоленская наб., д. 5/13, кв. 135,
соответчик: журнал «Смена»,
адрес: 101457, ГСП Москва, Бумажный проезд, 14.

О защите чести и достоинства
(в порядке ст. 7 Гражданского Кодекса РСФСР)

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

В журнале «Смена» (июль 1983) напечатана статья Н.Н.Яковлева «Путь вниз». Статья эта порочит меня. В своем заявлении в суд я не касаюсь общей направленности статьи, искаженных и порочащих сведений о моем муже, моих детях и людях, в прошлом мне близких. Я обращаю внимание суда только на несколько утверждений автора. Перехожу к тексту статьи (все цитаты — журнал «Смена», № 14, 1983).

1. «...Все старо как мир — в дом Сахаровых после смерти жены пришла мачеха и вышвырнула детей... Боннэр поклялась в вечной любви к академику и для начала выбросила из семейного гнезда Таню, Любу и Диму, куда водворила собственных — Татьяну и Алексея...»

2. «Все деньги Сахарова в СССР Боннэр давно прибрала...»

3. «Вооружившись подложными справками, сумела поступить в медицинский институт в Москве», «...ведя развеселую жизнь...»

4. «В молодости распущенная девица достигла почти профессионализма в соблазнении и обирании пожилых и, следовательно, с положением мужчин. Дело известное, но всегда осложняющееся тем, что, как правило, у любого мужчины в больших летах есть близкая женщина, обычно жена. Значит, ее нужно

убрать. Как? «Героиня» нашего рассказа действовала просто — отбила мужа у больной подруги, доведя ее шантажом, телефонными сообщениями с гадостными подробностями до смерти. Она получила желанное — почти стала супругой поэта Всеволода Багрицкого. Разочарование — погиб на войне. Девица, однако, никогда не ограничивалась одним направлением, была весьма предприимчива. Одновременно она затеяла роман с крупным инженером Моисеем Злотником. Но опять рядом досадная помеха — жена! Инженер убрал ее, попросту убил и на долгие годы отправился в заключение. Очень шумное дело побудило известного в те годы криминалиста и публициста Льва Шейнина написать рассказ «Исчезновение», в котором сожительница Злотника фигурировала под именем «Люси Б.». Время было военное, и, понятно, напуганная «Люся Б.» укрылась санитаркой в госпитальном поезде».

5. «Боннэр в качестве методы убеждения супруга поступить так-то взяла в обычай бить его чем попало».

Все вышеприведенное порочит мою честь и достоинство и таким образом подпадает под действие ст. 7 Гражданского Кодекса РСФСР. Все это является измышлениями автора статьи, не соответствует действительности.

Я прошу суд выяснить реальные обстоятельства — в соответствии с законом вся тяжесть доказательств лежит на ответчике — и вынести решение, которым обязать гр. Яковлева Н.Н. и журнал «Смена» опубликовать соответствующие опровержения.

Е.Г. Боннэр

26 сентября 1983

В своей статье Яковлев тенденциозно излагает мою биографию. Поэтому считаю необходимым привести краткую биографию.

Я родилась в 1923 г. Мой отец Геворк Алиханов, заведующий отделом кадров Коминтерна, член ВКП(б) с 1917 г., был арестован в мае 1937 г. как изменник родины, посмертно реабилитирован в 1954 г. Моя мать, Руфь Григорьевна Боннэр, член КПСС с 1924 г., также была арестована в 1937 г. как ЧСИР (член семьи изменника родины), реабилитирована в 1954 г., персональный пенсионер республиканского значения.

Я окончила семь классов в Москве и после ареста родителей уехала с младшим братом к бабушке и дяде в Ленинград. Дядя был арестован в конце октября 1937 г., его жена была выслана, и нас у бабушки росло трое — кроме меня и брата, еще двухлетняя дочь дяди. Мы с братом оказались в Ленинграде без всяких документов (метрик у нас не было) и были направлены РОНО на медкомиссию, где мне был определен возраст не 15, а 16 лет; в феврале 1938 г. по определению медкомиссии я получила паспорт с годом рождения 1922. В Ленинграде я окончила среднюю школу в 1940 г.; учась в школе, одновременно работала уборщицей в домоуправлении, а в летние каникулы после 8-го и 9-го классов архивариусом на заводе им. Тельмана в Москве. В 1940 г. я поступила на вечернее отделение факультета русского языка и литературы Ленинградского педагогического института им. Герцена и работала пионервожатой в школе. Никогда — ни в детстве, ни став взрослой — я не верила, что мои родители могли быть врагами родины, их идеалы и их интернационализм были для меня высоким образцом, и, когда началась война, именно поэтому я пошла в армию (медсестра, курсы РОКК) — добровольно и по велению сердца, если относиться к этим словам всерьез, а не играть с ними. 26 октября 1941 г. я была тяжело ранена и контужена около станции Валя (Волховский фронт), лежала в госпиталях в Вологде и Свердловске. В конце 1941 г. я была выписана в распоряжение РЭПа Свердловска и оттуда направлена медсестрой на военно-санитарный поезд № 122. В 1943 г. я стала ст. мед. сестрой, и мне было присвоено звание мл. лейтенанта мед. службы. В 1945 г. — лейтенант мед. службы. В мае 1945 г. я была направлена в распоряжение Беломорского военного округа на должность зам. нач. мед. части отдельного саперного батальона, откуда и была демобилизована в августе 1945 г. с инвалидностью второй группы — почти полная потеря зрения на правом глазу и прогрессирующая слепота на левом (последствия контузии). Последующие два года я упорно боролась за то, чтобы сохранить зрение, и с благодарностью перечисляю здесь врачей, которые мне в этом помогли: д-р Финляндская (поликлиника на ул. Труда, Медицинская академия), проф. Чиковский (Первый Ленинградский медицинский институт), д-р Суконщикова (Институт глазных болезней) — это в Ленинграде; затем я дважды лежала в Институте глазных болезней в Одессе, где моими лечащими врачами были проф. Владимир Петрович Филатов и его жена д-р Скородинская. В 1947 г. мое состояние стабилизировалось, хотя всю последующую жизнь я была инвали-

дом то третьей, то второй группы в зависимости от состояния, а в 1970 г. признана инвалидом второй группы Великой Отечественной войны пожизненно. В 1947 г. я поступила в Первый Ленинградский медицинский институт, который и окончила в 1953 году по шестилетнему курсу обучения. С этого времени и до достижения пенсионного возраста я всегда работала, кроме перерыва несколько больше года в 1961-62 гг., когда тяжело болел мой сын. Была участковым врачом, врачом-педиатром род. дома, преподавала детские болезни в мед. училище, работала по командировке Минздрава СССР в Ираке. Работу по специальности часто сочетала с литературой — печаталась в журналах «Нева», «Юность», писала для Всесоюзного радио, печаталась в «Литгазете», в газете «Медработник», участвовала в сборнике «Актеры, погибшие на фронтах Великой Отечественной войны», была одним из составителей книги «Всеволод Багрицкий — дневники, письма, стихи», сотрудничала как внештатный литконсультант в литконсультации СП, одно время была редактором в ленинградском отделении Медгиза. Отличник здравоохранения СССР. С 1938 г. — член ВЛКСМ, все годы службы на ВСП — комсорг, в институте — профорг курса. Ни в армии, ни в последующие годы не считала для себя (внутренне) возможным вступление в партию, пока мои родители числились изменниками родины или, как тогда чаще говорили, «врагами народа». После XX и особенно после XXII съезда решила вступить в КПСС и с 1964 г. кандидат, а с 1965 г. член КПСС. После осени 1968 г. сочла свой шаг неправильным и в 1972 г. в связи со своими убеждениями вышла из КПСС.

У меня двое детей — дочь Татьяна (1950 г.р.) и сын Алексей (1956 г.р.). Их отец, Иван Васильевич Семенов, учился вместе со мной в Первом Ленинградском медицинском институте и работает там до настоящего времени. Фактически мы разошлись с ним в 1965 г. Татьяна осенью 1967 г. поступила в Московский университет, была исключена осенью 1972 года за участие в демонстрации протеста у ливанского посольства в связи с террористическим актом — убийством израильских спортсменов на Мюнхенской олимпиаде. В 1974 г. она была восстановлена и в 1975 г. успешно окончила университет, на «отлично» защитив диплом. Алексей отлично закончил среднюю школу, так же отлично учился на математическом факультете Московского педагогического института им. В.И.Ленина, был исключен с последнего курса, формально — как не сдавший военное дело (предмет, не входящий в учебный план института). Мой зять Ефрем Янкелевич закончил Московский электротехнический институт связи.

Мое заявление в суд содержит пять пунктов. По трем из них дает разъяснения в своем заявлении мой муж Андрей Дмитриевич Сахаров. Я остановлюсь на двух остальных — на пункте 3 и на пункте 4.

3. «...вооружившись подложными справками, сумела поступить в медицинский институт в Москве...», «...ведя развеселую жизнь...» («Смена», № 14). Я не поступала никогда ни в какой институт в Москве. Я поступила в 1947 г. в Первый Ленинградский мед. институт, имея аттестат об окончании ленинградской средней школы № 11 (ныне № 239), сдавала экзамены на общих основаниях и была зачислена после успешной их сдачи. Никакими подложными справками не пользовалась. Эпитет «развеселая», отнесенный к моей жизни, обсуждать не хочу, выше изложена моя краткая биография.

4. «В молодости распущенная девица достигла почти профессионализма в соблазнении и последующем обирании пожилых и, следовательно, с положением мужчин. Дело известное, но всегда осложнявшееся тем, что, как правило, у любого мужчины в больших летах есть близкая женщина, обычно жена. Значит, ее нужно убрать. Как? «Героиня» нашего рассказа действовала просто — отбила мужа у больной подруги, доведя ее шантажом, телефонными сообщениями с гадостными подробностями до смерти. Она получила желанное — почти стала супругой поэта Всеволода Барицкого. Разочарование — погиб на войне. Девица, однако, никогда не ограничивалась одним направлением, была весьма предприимчива. Одновременно она затеяла роман с крупным инженером Моисеем Злотником. Но опять рядом досадная помеха — жена! Инженер убрал ее, попросту убил и на долгие годы отправился в заключение. Очень шумное дело побудило известного в те годы криминалиста и публициста Льва Шейнина написать рассказ «Исчезновение», в котором сожительница Злотника фигурировала под именем «Люси Б.». Время было военное, и, понятно, напуганная бойкая «Люся Б.» укрылась санитаркой в госпитальном поезде.

Трагедия — убийство моей школьной подруги Елены Доленко ее мужем Моисеем Злотником (двоюродным братом моей другой школьной подруги, Регины Этингер) — произошла в конце октября 1944 г. Я последний раз видела Елену Доленко в конце 1942 года, когда она вернулась в Москву из эвакуации из Ашхабада. Тогда же видела и Моисея Злотника в доме старшей сестры Регины — Евгении Этингер. Брак между Злотником и Доленко был заключен много позже, осенью 1943 года. Мужем и женой я ни разу их не видела. Об исчезновении Е.Доленко я узнала в ка-

нун 1945 г., когда снова была в Москве с ВСП в течение нескольких дней. В конце апреля 1945 г. я была вызвана с санпоезда в Москву на допрос и тогда узнала, что Злотник арестован и что он убил Е.Доленко. Кроме этого единственного допроса, когда меня спрашивали о личности убитой и убийцы и о моих отношениях с ними (Доленко я знала с младших классов, Злотника с 1938 года), меня больше ни на следствие, ни в суд не вызывали. По факту этого трагического уголовного дела Л.Шейнин написал рассказ. По литературной версии, Злотник (Злотник) — сексуальный маньяк (по официальной судебной — Злотник совершил убийство из ревности), у которого, кроме жены, три любовницы, одна из них «Люся Б.». Но в рассказе Шейнина, на который ссылается Яковлев, я — никак не подстрекатель к убийству, а скорее жертва. И Яковлев точно так же, как меня (если опираться на рассказ), мог бы обвинить в подстрекательстве к убийству двух других — «Нелли Г.», живущую в Ленинграде, или «Шурочку», живущую в Москве.

Теперь я вынуждена отступить от моего письма в суд и рассказать о некоем предшественнике Яковлева. В 1976 году я получила два письма, подписанных Семеном Злотником, выдававшим себя за племянника Моисея Злотника и требовавшим от меня «6000 рублей и некую сумму за границей», так как он решил эмигрировать из СССР. Эту «просьбу» автор письма подкреплял угрозой «раскрыть мои отношения с его дядей» и вообще мое «темное прошлое». Я на эти письма не ответила. Через некоторое время в Москве, Ленинграде и во многих странах мира люди, знающие А.Д.Сахарова или меня (академики, писатели, врачи, политические и общественные деятели, наши друзья) стали получать письма из Вены (желтые стандартные пакеты) с фотокопией рассказа Шейнина и письмом, подписанным Семеном Злотником, в которых излагалось мое «темное прошлое». Мы знаем более чем о тысяче таких пакетов. Обратный адрес на них был: Адамбергенгассе 10/8, 1020, Вена, Австрия, отправитель — Сандлер Е.Х. Австрийские корреспонденты выяснили, что ни такого адреса, ни такого человека в Вене нет. На этом история не кончилась. В 1980 г. в газете «Сетте джорни», издающейся на Сицилии, появилась статья со ссылкой на рассказ «бедного эмигранта из России Семена Злотника», где излагается «моя биография», — в ней не только два убийства и весь клеветнический набор, что и у Яковлева, но еще и цитаты из моих писем и писем ко мне моего родственника из Франции, уиершего в 1972 году. (Эти письма прошли нор-

мальный почтовый путь, но каким-то чудом оказались в распоряжении Семена Злотника.) В ней же сказано, что проживает Семен Злотник во Франции. Все выглядело бы правдоподобно, но... никто из семьи Злотников из СССР не выезжал и Семена Злотника — племянника Моисея Злотника — в семье Злотников нет и никогда не было, это поручик Кижэ. Не моя задача исследовать, кто сочинил его.

Возвращаясь к своему заявлению в суд (пункт 4). Всеволод Багрицкий, сын поэта Эдуарда Багрицкого, не был ни пожилым, ни богатым — он родился 19 апреля 1922 г. в Одессе и погиб 26 февраля 1942 г. недалеко от Любани, не дожив до 20 лет. Мы учились в одном классе и сидели на одной парте, вместе ходили в школу и из школы, и он читал мне стихи. Его отец в шутку называл меня «наша законная невеста», и так меня называла до самой своей смерти мать Севы Лидия Густавовна Багрицкая и его тетя Ольга Густавовна Суок-Олеша. Была у нас с Севой детская дружба, была первая любовь. Потом была общая судьба: мы были вместе, когда арестовали моих родителей, когда арестовали его мать, когда погиб его брат; он провожал в ссылку мою тетю и нянчил ее тогда двухлетнюю дочь. Потом у нас были ночные очереди, чтобы раз в месяц сделать передачи нашим мамам в Бутырки; передачи брали по буквам: день — буква, а нам повезло — мамы были на одну букву. Была разлука, я жила у бабушки в Ленинграде. Были мои приезды в Москву, его каникулы у нас в Ленинграде. Потом война и гибель Севы. Лидия Густавовна Багрицкая из женского Карагандинского лагеря (где тогда была и моя мать) написала мне: «Люсенька милая, как же мы будем жить без Севки...» Но живые — живут. Лидия Густавовна, реабилитированная, вернулась в Москву. И все годы до ее смерти в 1969 г. моя семья была — моя мама, мои дети, мой муж Иван Семенов (до нашего развода) и Лида. Дети знали, что у них есть бабушки и Лида. Лидия Густавовна болела на моих руках, выздоравливала, и мы собирали «Севкину книгу» — вначале не для печати, для себя. Многие стихи в книге — только из моей памяти, другое я собирала по крохам у друзей, некоторые бумаги после гибели Севы сохранил Корнелий Зелинский. Потом Лидии Густавовне передали Севину пробитую осколком полевую сумку с его тетрадью и документами.

При жизни у Всеволода Багрицкого было опубликовано лишь несколько стихотворений (см. сборник «Строка, оборванная пулей», «Московский рабочий», 1976, стр. 82). В 1964 г. в издательстве «Советский писатель» вышла книга «Всеволод Багрицкий.

Дневники, письма, стихи», составители Л.Г. Багрицкая и Е.Г. Боннэр. Книга получила премию Ленинского комсомола, давно стала библиографической редкостью. И все же, читатели «Смены», найдите и прочтите ее. Эта книга — документ истории, в ней нет ни одной сочиненной кем-либо строки. Все написано Всеволодом. Яковлев охотно ссылается на детектив Л. Шейнина, но он не может сослаться на книгу В. Багрицкого. Детектив главного следователя сталинских времен и «детектив» Яковлева внутренне близки. Книга В. Багрицкого Яковлеву противопоказана: нельзя допустить читателя в сложный, чистый мир трагически одинокого юноши 37-42 гг.; надо «повязать» (простите уголовный жаргон) читателя вместе с собой в муть своего повествования.

Я обращаюсь к книге В.Багрицкого (стр. 68 — письмо к маме в лагерь от 14 октября 1940 года): «Пока мы работали над первым актом «Дуэли», я успел влюбиться в одну больную девушку (у нее порок сердца) и, поборов сопротивление ее родных, жениться на ней. Прожили мы вместе месяц и поняли, что так, очевидно, продолжаться не может. Семейная жизнь не удалась. Она переехала обратно. И вот сейчас я снова со своей старой Машей (няня Севы. — Е.Б.). Снова могу лежать с ногами на кровати и курить в комнате. Но чувствую, что самое трудное и сложное впереди — нужно еще идти в загс разводиться. Моей женой была Марина Владимировна Филатова*, очень хорошая девушка. Я и сейчас с ней в прекрасных отношениях. До сих пор не могу понять, почему я женился. Все меня отговаривали, даже она сама. А я все-таки женился — глупо! Легкомыслие, наверно, преобладает во мне». И другое письмо — письмо Маши Брагиной (стр. 71, декабрь 1940 г.): «Здравствуй дорогая, милая Лидия Густавовна! Посмотрела бы на тебя, как на солнышко. Долго ли мне с Севушкой пожить? Здоровье у меня очень слабое. Для него стираю, мою, ушиваю и собираю ему кое-что поесть. Кое-что собираю из одежды. Купила ему трое ботиночек и три рубашки. Ваши-то он все износил, а некоторые роздал своим друзьям. И носочки кое-как поштопаю, утяну худенько, да не спрашивает много... Осенью Сева стал скучать и от скуки было женился, но скоро развелся. Девушка была хорошая, скромная, но очень болезненная. А наша законная невеста Люся живет в Ленинграде. Ну, пока ждем вас домой с нетерпением большим. Крепко вас целую, будьте здоровы. Маша». Вот вся история женитьбы и развода Всеволода

* Со слов друзей Всеволода известно, что настоящее имя Филатовой Маргарита - Мариной она сама себя называла - и что она умерла в Москве в конце 1943 года.

Багрицкого, изложенная им самим. Если книга не является документом, достаточным для выяснения истины, то сообщаю, что весь архив Всеволода находится в ЦГАЛИ — там подлинники этих писем, там и его паспорт, пробитый осколком авиабомбы. В паспорте есть штамп и о женитьбе, и о разводе — осенью 1940 года. Я никогда не видела М.В. Филатовой, никогда не говорила с ней по телефону. Упоминанием Всеволода, фразой «Разочарование — погиб на войне» Яковлев оскорбил не меня, а всех, у кого погибли близкие, память всех мальчиков, не пришедших с войн. Я в память своего мальчика, не пришедшего с войны, сделала все, что могла: по крохам собрала все, что от него осталось, до последнего дня жизни его мамы была ей ближайшим другом и почти дочерью, научила своих детей любить ее и чтить память Севы.

Мне всегда было горько, что друзья Севы за своими жизненными заботами не проявили к ней внимания, кроме двух встреч по моей инициативе, никогда даже не приходили к ней. Может, теперь они защитят память Всеволода? Я прошу вызвать в суд товарищей Севы по студии, руководителей студии Алексея Николаевича Арбузова и Валентина Николаевича Плучека, писателя Исаю Кузнецова, других студийцев, а также писателя Александра Свободина — женитьба и развод Севы были на их глазах, я же в то время жила в Ленинграде.

На этом фактическую сторону моего заявления в суд можно было бы кончить. Но почему Яковлеву нужна моя биография, да еще изложенная так, как сделал он? Потому что в нашей трагической жизни кто-то надеется этой грязной «литературной» стряпней довести двух очень немолодых и очень больных людей до смерти, потому что можно заморочить головы миллионов доверчивых читателей — и ради этого годится творчество в духе геббельсовской пропаганды. Это подтверждается тысячами разъяренных, злобных писем, которые мы получаем, рекомендующих Сахарову «покаяться», «развестись с еврейкой» и «жить своим умом, а не боннеровским». Подтверждается погромом, который мне устроили в поезде Горький—Москва, скандалами, устраиваемыми Сахарову и мне на улицах в Горьком, бесчисленными угрозами расправиться с нами, а то и просто убить нас.

В 1983 г. в одном из самых читаемых (тираж 8 млн. 700 тыс.) журналов «Человек и закон» появилась серия статей Яковлева «ЦРУ против страны Советов». Если в книге «ЦРУ против СССР» и в журнале «Смена» еврейско-сионистская тема преподносится несколько приглушенно, набором фамилий и ссылками на анонимных мифических учеников Сахарова, то в журнале «Человек и закон» (№ 10, 1983) она становится абсолютно явной и от-

кровенной. Цитирую раздел статьи «Фирма Е. Боннэр энд чилдрен», стр. 105: «В своих попытках подорвать советский строй изнутри ЦРУ широко прибегло и к услугам международного сионизма... Используется при этом не только агентурная сеть американских, израильских и сионистских спецслужб и связанный с ними еврейский масонский орган «Бнай Брит», но и элементы, подверженные воздействию сионистской пропаганды. Одной из жертв сионистской агентуры ЦРУ стал академик А.Д. Сахаров. Какие бы гневные слова ни произносились (и вполне заслуженно) в адрес Сахарова, по-человечески его жалко [...] используя особенности его личной жизни примерно за полтора десятка последних лет (о чем дальше), провокаторы из подрывных ведомств толкнули и толкают этого душевно неуравновешенного человека на поступки, противоречащие облику Сахарова-ученого. Все старо, как мир: в дом Сахарова после смерти жены пришла мачеха... Вдовцу Сахарову навязалась страшная женщина». Прошу простить длинную цитату, частично повторяющую изложенное в «Смене», но в ней по контексту однозначно утверждается, что именно я — провокатор из «подрывных» масонских, сионистских и ЦРУ служб и именно я несу ответственность за всю деятельность Сахарова в защиту мира и прав человека, он же — жертва, душевно неуравновешенный человек. Антисемитская направленность статьи Яковлева в популярном юридическом журнале по существу является возбуждением национальной ненависти. В этой связи не могу не вспомнить антисемитское дело «врачей-убийц» и «Почту Лидии Тимашук» — одну из позорнейших страниц истории нашей страны. Читатели Яковлева, возможно, забыли об этом, но ему — профессору-историку — должно помнить.

Чего же хочет от меня Яковлев? Чтобы я предала мужа? Я никогда никого не предавала. Испугать меня судом по статье 64 УК РСФСР (вплоть до смертной казни)? Я никогда не состояла на службе никаких разведок — американских, масонских, сионистских. Все бесчисленные публикации Яковлева вызваны только тем, что я жена Сахарова, да к тому же я — еврейка, что облегчает ему задачу. Но я надеюсь прожить свою жизнь до конца достойно русской культуры и среды, в которой прошла моя жизнь, своей еврейской и своей армянской национальности и горжусь тем, что мне выпала трудная и счастливая судьба быть женой и другом академика Андрея Дмитриевича Сахарова.

Елена Боннэр

26 сентября 1983 г.

СВИДЕТЕЛЬСКОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

В связи с заявлением в суд моей жены Е.Г.Боннэр об ущербе ее чести и достоинству, нанесенном публикациями Н.Н. Яковлева в книге «ЦРУ против СССР» (3-е изд., переработанное и дополненное, Москва, «Мол. гвардия», 1983) и в статье «Путь вниз» (журнал «Смена», № 14, июль 1983) я хочу и должен по ряду утверждений Яковлева дать нижеследующие свидетельские показания.

1. Ложью является утверждение Яковлева («Смена», стр. 27): «В конце 60-х годов Боннэр наконец вышла на крупного зверя — вдовца, академика А.Д.Сахарова. Но увы, у него трое детей — Татьяна, Люба и Дима. Боннэр поклялась в вечной любви к академику и для начала выбросила из семейного гнезда Таню, Любу и Диму, куда водворила собственных — Татьяну и Алексея». Никто не имеет права писать о чужой личной жизни в таком пошлом тоне и столь лживо, как это делает Яковлев в приведенном отрывке и во множестве других мест своих статей и книг. В недавно опубликованной статье в журнале «Человек и закон» (№ 10, 1983) Яковлев еще более усиливает свои инсинуации: «Вдовцу Сахарову навязалась страшная женщина». Елена Георгиевна Боннэр не «навязывалась» мне, не давала никаких «клятв вечной любви». Я просил ее быть моей женой. С тех пор она самоотверженно несет эту трудную долю, трагическую судьбу. Это наша судьба, наши счастье и трагедия. Прошу оградить нас от грязного и пошлого вмешательства Яковлева.

На самом деле мои младшие дети от первого брака Любовь Андреевна Сахарова (1949 г.р.) и Дмитрий Андреевич Сахаров (1957 г.р.), проживавшие вместе со мной до моего второго брака в трехкомнатной квартире по адресу: Москва, ул. маршала Новикова (ранее — Первый Шукшинский проезд), д. 1, кв. 16, площадь 57 кв. м, проживают там до сих пор, без какого-либо перерыва. Моя жена Е.Г.Боннэр и ее дети Татьяна (1950 г.р.) и Алексей (1956 г.р.) (Яковлев ошибочно пишет: 1955 г.) не жили в этой квартире ни одного дня. После брака я перешел жить в двухкомнатную квартиру матери моей жены, где на площади 34 кв. м в это время проживали (кроме меня) пять человек. Моя старшая дочь Татьяна Андреевна Сахарова (1945 г.р.) вышла замуж в 1967 году, еще при жизни моей покойной жены К.А. Вихиревой, и с этого времени жила отдельно. Я оплатил ее вступительный взнос в ЖСК АН СССР, в 1972 году она въехала в

трехкомнатную квартиру в центре Москвы (Ростовская наб., д. 1, кв. 26), где и живет с мужем и дочерью. Все изложенное мной по этому поводу может быть подтверждено выписками из домовых книг и свидетельскими показаниями. Свидетелями прошу вызвать: Бобылева Александра Акимовича, Зельдовича Якова Борисовича, Романова Юрия Александровича, Фейнберга Евгения Львовича*. Нарочитое называние моих детей уменьшительными именами, а детей жены полными предназначено Яковлевым для того, чтобы у читателя создалось впечатление, что малых детей на улицу «вышвырнули».

2. Ложью является то, что моя жена «прибрала» мои сбережения. В 1969 г. я передал в фонд государства (Красному Кресту и на строительство Онкологического центра) 139.000 рублей. В 1971-73 годах я отдавал своим детям от первого брака и моему брату Георгию Дмитриевичу Сахарову более 500 руб. ежемесячно. В 1973 году я перевел на счет своих детей от первого брака половину оставшихся у меня к тому времени сбережений в сумме 14.400 руб. В 1972 году я подарил старшей дочери Татьяне свою автомашину ЗИМ. В 1973-77 годах я продолжал регулярно оказывать помощь сыну Дмитрию в размере 150 руб. в месяц, в дальнейшем оказывал ему материальную помощь эпизодически. Одновременно я оказывал и продолжаю оказывать материальную помощь своему брату. Все с 1971 года происходило с ведома и одобрения моей второй жены, а иногда и по ее инициативе.

3. Яковлев пишет заведомую ложь, называя моего зятя Ефрема Янкелевича недоучкой и лоботрясом. Е. Янкелевич успешно кончил Московский институт связи в 1972 году. В настоящее время в США он по моей доверенности выполняет весьма сложную и ответственную работу моего представителя за рубежом. Яковлев называет лодырями и бездельниками Алексея Семенова и Татьяну Семенову-Янкелевич. Это заведомая клевета, которая легко опровергается документами.

4. Яковлев пишет: «С изменением семейного положения Сахарова изменился фокус его интересов. Теоретик по совместительству занялся политикой, стал встречаться с теми, кто скоро получил кличку „правозащитников“». Это утверждение — ложь. Я встретился с моей будущей женой Е.Г. Боннэр осенью 1970 года (Яковлев умышленно ложно пишет — в конце 60-х годов). Еще в

* А.А.Бобылев — родственник покойной жены А.Д.Сахарова. Я.Б.Зельдович, Ю.А.Романов, Е.Л.Фейнберг — физики, коллеги А.Д.Сахарова. -- Ред.

середине 50-х годов меня стали глубоко волновать общественные и общеполитические вопросы. Я сыграл определенную роль в заключении Московского договора 1963 года о прекращении ядерных испытаний в трех средах. Это может подтвердить в качестве свидетеля министр среднего машиностроения СССР, член ЦК КПСС Е.П. Славский. В 1968 году, за два с половиной года до встречи с Е.Г. Боннэр, опубликована моя статья «Размышления о прогрессе, мирном существовании и интеллектуальной свободе». В ней определились основные линии моей общественной позиции, получившие развитие в ряде последующих моих выступлений. С очень многими наиболее известными защитниками прав человека в СССР я встретился в первой половине 1970 года, т.е. до моей встречи с Е.Г. Боннэр.

5. Яковлев лживо излагает обстоятельства голодовки, объявленной моей женой и мною с целью добиться для нашей невестки Елизаветы Алексеевой, ставшей заложницей моей общественной деятельности, разрешения на выезд в США к мужу. Я заявляю, что решение о голодовке было нашим общим, каждый из нас сознавал абсолютную необходимость и серьезность этого шага. Голодовку проводили мы оба, а не только я (см. газета «Известия» 4 декабря 1981 года). На тринадцатый день голодовки мы были насильно госпитализированы и разлучены, помещены в разные больницы. Мы прекратили голодовку на 17-й день, когда власти дали нам заверения, что наше требование будет удовлетворено.

6. Яковлев пишет: «Боннэр в качестве методы убеждения супруга поступать так-то взяла в обычай бить его чем попало». Яковлев с одобрением цитирует статью выходящей в Нью-Йорке газеты «Русский голос»: «Похоже, что Сахаров стал заложником сионистов, которые через посредничество вздорной и неуравновешенной Боннэр диктуют ему свои условия». Яковлев пишет: «...такой аттестат выдан Сахарову теми, кто сумел объективно поставить его на службу интересам империализма. Как? Для этого придется вторгнуться в личную жизнь Сахарова. Все старо как мир — в дом Сахарова пришла мачеха...» «Замечены регулярные перепады в его настроении. Спокойные периоды, когда Боннэр, оставив его, уезжает в Москву, и депрессивные — когда она наезжает из столицы к супругу... Засим следует коллективное сочинение супругами какого-нибудь пасквиля, иногда прерываемое бурной сценой с побоями... На этом фоне я бы рассматривал очередные откровения от имени Сахарова, передаваемые западными радиоголосами». Я заявляю, что все приведен-

ные мною утверждения Яковлева представляют собой сознательную и злонамеренную провокационную ложь. Яковлев не приводит и не может привести никаких доказательств того, что моя жена Е.Г.Боннэр меня избивает и таким образом добивается нужных ей поступков и заявлений. Я утверждаю, что это порочащее честь и достоинство моей жены и мои утверждение Яковлева абсолютно ложно. Ни на чем не основаны и ложны также утверждения Яковлева о колебаниях в моем настроении, якобы депрессивном в присутствии жены. Я заявляю, что все мои статьи, книги и обращения, опубликованные на Западе или распространявшиеся в СССР, выражают мои личные убеждения, сложившиеся в течение целой жизни. Яковлев изображает меня неким недоумком, большим ребенком, находящимся в подчинении у властной, коварной и корыстолюбивой женщины. Он также говорит о моем психическом нездоровье. Недавно эту же инсинуацию повторил президент АН СССР А.П.Александров. Таким образом пытаются дискредитировать мои общественные выступления как не самостоятельные, внушенные чужой волей. При этом преследуется и вторая цель, быть может, еще более важная — поставить мою жену в непереносимое и опасное положение, нанести ущерб ее здоровью и жизни и тем попытаться парализовать мою общественную активность. В подкрепление используются инсинуации о личной жизни и мнимых преступлениях моей жены в прошлом, клевета о ее моральном облике. Но особо важную роль играет подчеркивание ее национальности, эксплуатация национальных предрассудков части населения нашей страны. Я глубоко благодарен моей жене за ее самоотверженность и стойкость в нашей трагической жизни, за усиление гуманистической направленности, которой я обязан ей. Но я с определенностью заявляю, что за всю свою общественную деятельность, за содержание и форму своих выступлений я несу полную единоличную ответственность, и только я. Я категорически отвергаю утверждение Яковлева, что мои выступления явились хотя бы в какой-то степени результатом давления со стороны моей жены Е.Г.Боннэр или кого-либо иного. Я считаю свои выступления соответствующими общечеловеческим целям сохранения мира на земле, прогресса и свободы, прав человека, соответствующими целям гуманности и гласности, и отвергаю обвинение Яковлева, что они имеют антинародный или проимпериалистический характер. Мои выступления, текст которых подтвержден моей женой Е.Г. Боннэр или моим представителем на Западе Е.В. Янкелевичем, являются полностью моими авторскими. Поэтому я утверждаю, что приведенная выше формулировка Н.Н. Яковлева — «открове-

ния от имени Сахарова» — злонамеренная ложь. Вместе с тем я официально заявляю, что не могу нести ответственности за те выступления от моего имени, текст которых не подтвержден лично мною, или лично моей женой Е.Г. Боннэр, или лично Е. Янкелевичем, если когда-либо такие публикации появятся в СССР или на Западе. До сих пор такие публикации мне не известны. Сказанное относится к статьям, книгам, воспоминаниям, заявлениям, обращениям, интервью, вообще к любым публикациям, включая научные. В сложившейся ситуации я считаю необходимым заявить: в случае моей смерти авторские права на всё написанное мною, опубликованное и в рукописях, завещаю моей жене Е.Г. Боннэр, назначая ее единственным распорядителем и наследником моего литературного наследства. В случае же и ее смерти единственным распорядителем и наследником моего литературного наследства назначаю Янкелевич (Семенову) Татьяну Ивановну, эта моя воля в числе других моих распоряжений закреплена в нотариальном завещании, подлинник которого хранится в Нотариальной конторе Приокского района города Горький.

А.Д. Сахаров

19 ноября 1983 г.

Горький, пр. Гагарина, 214, кв.3

Районный суд Киевского района Москвы. На прием к судье довольно большая очередь, и нигде нет надписи, что инвалидам войны без очереди. Я впервые в жизни пришла на такой прием. Все сидят в комнате, большой, похожей на класс. Открывается дверь в соседнюю. Выходит молодая, хорошенькая женщина и тут же при всех расспрашивает каждого, по какому делу он пришел. В результате кому-то дается справка, бланк заявления, кому-то говорят, что надо заплатить пошлину, кого-то вообще отсылают в другое учреждение. Людей сразу становится меньше, оставшиеся по одному входят в кабинет судьи. Кто задерживается там на 3-5 минут, кто дольше. Моя очередь. Объясняю очень кратко, с чем я пришла, подаю всю пачку документов и журнал «Смена». Она начинает читать, в это время входит ее секретарь и дает ей какую-то записку. Судья просит прощения и выходит. Со мной остается секретарь. Судья возвращается через несколько минут и говорит: «Я не могу принять ваше заявление без разрешения председателя районного суда, пройдите к нему». Я уже поднялась к ней на третий

этаж. После инфаркта я стала везде и всюду считать этажи — каждый этаж стал для меня прямо событием. Теперь еще один этаж, и я около кабинета председателя. У него тоже очередь. Небольшая — человека четыре. Но задерживаются дольше, чем у районного судьи. Сразу после меня подошли три человека вместе. По их разговору поняла: после суда просить свидание. В чем дело, не знаю, но, похоже, осужден сын этих двух пожилых — она заплаканная, все время говорит, он больше молчит (может, суд был сегодня, сейчас) — и муж молоденькой девчонки (которая с ними), на лице ее не видно ни большого горя, ни озабоченности.

Судья — крупное, усталое лицо, грузный, костюм на нем серый, много ношенный, на груди орденские планки. Встал из-за стола к шкафу, протез скрипит — без ноги, похоже, инвалид войны. Ну, посмотрим, что мне этот скажет. Взял бумаги и уселся так удобно — может, будет читать. Действительно, читает. Почти полчаса. Потом: «Значит так, Елена Георгиевна. Вы пройдите к судье снова, я распоряжусь, чтобы она приняла заявление». Протянул руку. Я пожала и в состоянии некоего недоумения, так как ожидала опять отказа, пошла к судье. Теперь уже, слава Богу, счет этажей идет вниз. Как только вышел от судьи очередной посетитель, секретарь позвала меня. Судья записала меня в какую-то большенную тетрадь, приклеила туда гербовую марку, которая у меня была куплена еще раньше, в преддверии визита в суд. Я расписалась, секретарь вложила все мои бумаги в папку с крупно напечатанным «ДЕЛО». Под этим проставила мое имя, адрес и дату. Судья сказала: «Мы вас известим в течение месяца о времени слушания дела». Я вышла. Спускаясь по лестнице, как мне кажется теперь, я думала: «Вот как все хорошо. Похоже, я буду действительно судиться, и, может, стоит предупредить девочек (моих сверстниц, но все девочки) в Ленинграде, что я их вызову на суд в качестве свидетелей, что я кончала школу с одними, а с другими — медицинский институт». Я вышла на улицу. В тщетных попытках найти такси покружила в переулках вокруг суда. Медленно (было очень скользко, и сердце от этажей болело) двигалась к Кутузовскому проспекту. И тут я стала терять этот первый свой энтузиазм. Похоже, достаточно свежий октябрьский ветер сумел быстро остудить мой оптимистический порыв.

В Москве среди друзей подачу заявления в суд много обсуждали. Вначале были обсуждения «подавать — не подавать». Кто был за, кто — против, и вообще все делились на «за» и «против».

Интересно, что часто те, кто против, — это тоже вроде друзья, и в повседневной жизни мы много общаемся, есть у нас и взаимопомощь, и еще какие-то черты дружбы, видимо, вынужденной обстоятельствами. Это те, кто, тем не менее, может сказать: «Нет, лучше ей не судиться, все-таки не все ясно в ее жизни». Я просто знаю, что так говорили те, кого иногда даже весь мир считает нашими друзьями. Те, кто «за», никогда ничего подобного никогда не скажут, и даже в мыслях у них такое не заронится. Они не будут никогда ни с кем обсуждать в полуяковлевском стиле что бы то ни было (не только про нас), а если усомнятся, то просто спросят.

В деле с подачей заявления пересилили те, кто был «за», и, конечно, Андрей. Теперь обсуждалась подача заявления. Многие считали, что суд будет, но Яковлева не осудят и не оправдают — решение будет неопределенным. Некоторые считали, что осудят, но опровержения не напечатают. А у меня, как только октябрьский ветер меня остудил, взгляд был на дальнейшее вполне определенный: ничего не будет. Так прошел октябрь. Шиханович в мой очередной приезд потребовал, чтобы я пошла к судье. Мы договорились, что на следующий день после работы он повезет меня туда. Он сбегал в автомат и узнал, что и у судьи, и у председателя завтра приемный день. Когда мы приехали в суд и преодолели три этажа, то оказалось, что моя судья заболела и прием отменен. Мы поднялись еще на этаж — прием отменен: председатель суда вызван в райком (или горком, не помню). Прием будет на следующей неделе. Через неделю я приехала уже с Эмилем* — Ших не мог уйти с работы, а прием был не в вечерние часы. Районный судья по-прежнему была больна. Но секретарь ее (похоже, она ждала меня) сказала, что меня примет председатель. Поднялись к нему. Вошли в кабинет вместе с Эмилем. Он попросил Эмиля выйти, хотя я просила вести разговор при нем. Не хотел свидетеля, что ли?

Мы остались вдвоем, он достал из шкафа папку «ДЕЛО», из которой торчал журнал «Смена», положил к себе на стол и, прижав рукой, сказал: «Дело ваше к рассмотрению я принять не могу».

— Почему? — Он пожал плечами и, как-то вобрав голову в плечи, сказал снова: «Не могу».

— Тогда дайте письменный мотивированный отказ, ведь это положено, так написано в кодексе.

* Эмиль Израилевич Шинберг, зубной врач, знакомый Е.Г. Боннэр.— *Ред.*

— Положено, но я не дам мотивированного отказа, не могу.
— Ну, а куда мне жаловаться, что нарушается закон?
— Жаловаться? Елена Георгиевна, вы женщина умная. Если вам не жаль сил и времени, то можете, конечно, жаловаться, но не советую.

Тогда я спросила:

— Скажите, а вам на высоком уровне приказали не принимать моего заявления в суд к рассмотрению?

Он посмотрел на меня вдруг другим, не мертвым, как было во все время разговора, а живым взглядом и сказал:

— На достаточно.

— Понятно, но ведь я пишу правду, а Яковлев врет, — разговор становился уже каким-то неофициальным.

— Я знаю, — ответил он. — Я кое-что проверял — вот не жили вы никогда в квартире Сахарова. И книжечку Всеволода Багрицкого прочел.

Мы оба замолчали. Потом я встала, чтобы уходить, и мне непроизвольно захотелось протянуть ему руку, когда он, скрипя протезом, вышел из-за стола, держа в руках мое дело. Я протянула руку, он протянул мне дело, потом понял мой жест, переложил дело в другую руку и, пожимая мою, сказал:

— А хотите, я не буду вам возвращать ваше «Дело», а положу к себе в сейф, у вас все равно, небось, есть копии. А у меня, может, и долежит. Может, снова начнут реабилитировать.

— Оставьте.

Мы пожали друг другу руки. Я вышла со странным смешанным чувством и уважения к этому человеку за то, что он мне, в общем, много сказал, и удивления, что он все понимает, и сожаления, что вот ведь может работать в этой системе. И сочувствия: «А что делать?»

Я рассказала это Эмилю, потом дома друзьям, потом в Горьком Андрею. А сама до сих пор думаю: «А может, действительно скоро будут снова реабилитировать? Сомнительно что-то». Ну, если не будут, то, может, из этого сейфа мое дело против Яковлева все-таки попадет в категорию тех, на которых в верхнем правом углу написано «хранить вечно».

Этой же весной был обыск у Натальи в Ленинграде. Я не отнеслась к нему всерьез. Так же расцениваю и сейчас, что ничего они там особо не искали, а то бы нашли. Им это было не нужно. Единственное, что было надо, это подтолкнуть ее решение уехать из СССР. Им был не нужен лишний человек, которому я могу полностью доверять. То, что обыск был проведен сразу, как Наташа пришла с поезда, привезшего ее из Моск-

вы от меня, преследовало и параллельную цель. А не прячу ли я чего-нибудь в Ленинграде?

Вскоре после обыска умерла Зочка*. Ленинградский «Пушкинский дом»** за годы, что мы в Горьком, все больше двигался к тому, чтобы совсем опустеть — это началось со смерти Инки в октябре 1980. Наташа подошла к решению уезжать и вскоре получила вызов, а Ших прислал нам фототелеграмму с бессмертным четверостишием:

Наташа получила вызов,
Увы, прощанье предстоит.
И наш грядущий коммунизм
Ее, увы, не осенит.

Я поехала в Москву своим обычным поездом, в 11 вечера уезжаешь, в 7.15 приезжаешь (если поезд не запаздывает, что бывает часто — это не «Красная стрела» Москва—Ленинград). Я не помню никаких особых событий в этом пути, не помню, как себя чувствовала. Встречал меня Шиханович. Помню, что было холодно в Москве, идти надо было далеко по платформе. Шиханович рассказывал мне разные лагерные и другие неприятные вещи по дороге, пока мы шли. Приехали домой, попили кофе и... Собственно говоря, я в связи с этим и приехала. Шиханович настаивал, чтобы мы праздновали дни рождения Лизы и Саши. Он говорил, что отъезд Лизы и рождение Саши — это наша общая победа. Когда она родилась, в Москве пили: «За Сашу и нашу свободу!» И было решено, что все будут отмечать эти два дня рождения, тем паче, что в мой день рождения и в дни рождения мамы и Андрея меня в Москве в последние годы не бывает — я в Горьком.

Мы попили кофе, я дала Шихановичу деньги на разные покупки для Горького и на покупки к 20 ноября, к Лизиному дню рождения. Он должен был распределить, кто что будет готовить, а сам должен был купить вино и воду. В свой обеденный перерыв Шиханович пришел, принес часть покупок, вино он принес, это я точно помню. И, стоя на корточках около холодильника и укладывая что-то туда, рассказывал мне о разных московских делах, которые были не очень хороши. И у меня было такое чувство, что он ощущает, что находится на свободе по-

* Зоя Моисеевна Задунайская, литературный редактор (ум. в 1983). — *Ред.*

** Квартира в доме на Пушкинской ул., где жили Н.В. Гессе, З.М. Задунайская и Регина Моисеевна (Инка) Этингер (1922-1980), ближайшая подруга Е.Г. Боннэр со школьных времен. — *Ред.*

следние дни, а может быть, часы. Раньше я за ним этого не замечала. Он ушел около двух часов. Вечером он снова пришел и отвез меня на такси к Гале*. Мы с ним долго разговаривали, сидя на скамейке около ее подъезда. Шел небольшой снег, и снежинки мягко кружили в свете фонаря. К Шиху ластилась какая-то чужая собака. Впрочем, какая там «чужая» — Шиху все собаки свои.

На следующий день стало известно, что Шиханович арестован. Таким образом, Лизин день рождения мы праздновали без него. «Праздновали» — это не то слово. Аля** была чернее ночи, да и всем было очень трудно. Мы все привыкли, что Шиханович никогда не пропускает никаких праздников, и даже, когда нет никаких сил и охоты праздновать, он заставляет нас. Его лозунг: «У нас слишком мало праздников, а они нам тоже нужны!» — пока он был на свободе, железно выполнялся, благодаря его настойчивости.

В декабре Наталья уже фактически уезжала, хотя и находилась в фазе ожидания разрешения. Мы с Андреем были уверены, что дадут ей его очень быстро. В декабре она негласно приезжала в Горький проститься с Андреем. Они виделись дважды или трижды. Я видела Наташу только в день приезда. Я тогда так плохо себя чувствовала, что мне это было просто физически тяжело — вставать с постели, куда-то ехать. У Андрея уже полностью созрела уверенность, что голодовку ему объявлять необходимо и что он будет это делать. Он показывал Наташе черновик письма-обращения к ученым (см. приложение № 4) и письма участникам Стокгольмской конференции (см. приложение № 5). Знала Наташа и о том, что мы планируем, что я уйду на время голодовки в посольство — тогда речь шла о норвежском. Эти бумаги мы показывали ей, когда встретились в первый день втроем. Бумаги эти я носила на себе, а не Андрей в своей сумке — мы уже знали, что сумки воруют. Наташа была в Горьком 12, 13 и 14 декабря.

* Галина Семеновна Евтушенко (далее так же Галка), подруга Е.Г.Боннэр. — Ред.

** Алевтина Петровна Плюснина, жена Ю.А. Шихановича. — Ред.

Пришел Новый год и ушел. — Уйти в американское посольство? — Арест. — Андрей начинает голодовку. — Допросы. — Обвинительное заключение. — Суд.

За несколько дней до Нового года (похоже, в канун Рождества) меня попросили прийти в консульский отдел США. Там меня ждал доктор Стоун*. Он привез Андрюше в подарок фотоаппарат и калькулятор. Сказал, что разговаривал с руководством советской Академии об Андрее, но, к сожалению (нашему), этот разговор не сопровождался никакой гласностью. А разговоры с глазу на глаз — это игра, которую советские власти даже поддерживают. И от них никогда никому проку никакого еще не было. Однако именно так действуют многие западные друзья моего мужа. Я сказала доктору Стоуну, что Сахаров вновь обращался к Президиуму Академии и президенту помочь получить разрешение мне поехать на лечение и не получил ответа, что он решил вновь объявлять голодовку и что он написал письмо Андропову. Стоун сам попросил у меня это письмо и сказал, что он лично передаст его Велихову** для передачи выше. Мы полагаем, что доктор Стоун выполнил свое обещание. И это означает, что руководство Академии знало о предстоящей голодовке Сахарова, знало, чем вызвана ее необходимость. И так же, как в предыдущий раз, ничего не сделало, чтобы ее предотвратить!

* Джереми Стоун, математик, глава Федерации американских ученых. — Ред.

** Евгений Павлович Велихов, вице-президент АН СССР. — Ред.

Перед самым Новым годом в Горький приезжал Виталий Лазаревич Гинзбург*. Он был у нас 29 декабря, и Андрей ему рассказал все о своих планах. Таким образом, круг посвященных расширялся, и Андрей считал, что это хорошо: чем больше людей будет знать, тем больше возможность того, что власти не захотят скандала и мне просто дадут разрешение. Возможно, это так и было бы. Но все, кто знали, мне кажется, считали, что это их знание — «вещь в себе» и они вроде как об этом не знают.

Пришел праздник Новый год и прошел. Мне эта зима была очень тяжела, я отсчитывала даты по принципу «дожить бы». Прошел Старый Новый год. В начале февраля я ездила в Москву проститься с Наташей. Ехать провожать ее в Ленинград уже мне было совсем не под силу, хотя во время пребывания в Москве дела были все время и мне приходилось их делать, даже если «не под силу».

Сегодня мне 63 года, по странной случайности или закономерности, я нахожусь во Флориде, в Disneyworld'e. Воспринимается это как нереальное существование, хотя и не ощущается сном. Я здесь с тремя своими внуками, о встрече с которыми очень много думала в Горьком. Может быть, потому, что Горький так далеко, не географически, а по-другому далеко, они мне казались другими. Я испытываю чувство неловкости при общении с ними и некоего не то что разочарования, а не-встречи того, что думала встретить. Они оказались другие: не хуже и не лучше — просто другие. К ним надо долго присматриваться, а этого «долго» у меня нет и не будет. Видимо, поэтому я, в общем, никогда не смогу сказать, какие они, мои внуки. Во всяком случае, сейчас они увлечены Disneyworld'ом, как и взрослые, которые здесь вместе со мной, как и я сама.

Я тут с очень хорошими взрослыми; сказать «друзья» — это сказать очень мало. И хорошие они не потому, что они наши друзья, а потому, что от них исходит некая аура приязни к миру и взаимной любви. Обращенная ими друг на друга, она согревает и тех, кто рядом.

Быть вместе с внуками и с друзьями, да еще в таком безоблачном месте, как Disneyworld, а он, этот мир, действительно безоблачный, ни одного облачка на голубом небе, а ночью — луна и звезды такие яркие, что кажутся сделанными, как и всё в этом микромире, — было бы счастьем, если бы...

Сегодня 15 февраля 1986 года. А 15 февраля 1984-го? Ровно два года тому назад в этот день... и потом! Господи, сейчас вокруг меня температура 20 градусов с лишним, дети и Джил ушли на пляж, где-то музыка, все земное здесь кажется таким без-

* Академик, заведующий теоретическим отделом Физического института АН СССР.
... Ред

заботным, и цветущие деревья сбивают с толку — где же зима? Два года тому назад день был холодный, ветреный и пасмурный. Мы с Андреем праздновали мой день рождения, как всегда, с традиционным пирогом, вином, свечами на столе. И, как всегда, вдвоем, вместе мы были счастливы. Потом я поехала в Москву. Я пробыла в Москве неделю, поехала в Горький. Приехала назад; в общем, я не помню, почему я моталась взад-вперед, какие-то у меня были дела нужные. В этот раз я тоже, как и всегда, встречалась с представителями американского посольства. Опять меня звал на чай посол Норвегии, и у меня был с ним разговор, когда он мне сказал, что норвежское правительство не может хлопотать по поводу моей поездки на лечение: это лучше и легче делать правительству Италии, так как я собираюсь лечиться в Италии. Разговор этот вызвал у меня неприятный осадок, как будто мы просители, а не приглашены норвежским правительством: и приглашают, и отмахиваются от того действия, которым могут реально помочь.

Приехала я в Горький, но числа 7-го или 8-го вернулась в Москву: у меня было договорено с детьми, что они будут звонить в начале марта, а кроме того, я хотела добиться консультации Сыркина.

Я сделала в Москве анализ крови и ЭКГ. Приблизительно в середине марта я лежала у Галки, где и была консультация Сыркина. Когда я стала договариваться о консультации, у Гали сразу выключили телефон. Все переговоры с поликлиникой Академии наук — кроме самого первого, моего разговора — Галя вела из телефона-автомата. За ней при этом, как за мной, ходили сотрудники КГБ: они, видно, боялись, что я к ней в дом приглашу иностранных корреспондентов. Когда я уехала в Горький, телефон ей снова включили.

Сыркин приехал не один, а с моим участковым врачом, Людмила Ильинична ее зовут, фамилии не знаю, и с врачом-мужчиной, фамилии которого тоже не знаю, — он был у меня дома вместе с другим врачом, заведующим отделением, когда был диагностирован инфаркт. После осмотра они закрылись и довольно долго, минут 40, а может, целый час, что-то обсуждали шепотом. Н.К., которая была при этом у Галки, пыталась подслушать через дверь, но ничего из этого не получилось.

Мне же они после своего совещания сказали, что я должна быть пока что очень осторожна: похоже, что я снова перенесла какие-то нарушения кровообращения, очаговые или микроочаговые. И Сыркин сказал, чтобы до тепла, не до календарной весны, а до настоящего тепла, я, по возможности, на ули-

цу не выходила. С этим я вышла на улицу и поехала в Горький. Еще были назначены какие-то лекарства, которые я взяла с собой.

Был разговор с детьми по телефону, и мы договорились, что я буду разговаривать с ними 8 апреля. Исходя из этого, я планировала, что выеду из Горького 7 апреля.

Когда я приехала в Горький в конце марта, у Андрея немножко побаливала нога, потому что он ударил ее мусорным ведром. В области колена был небольшой синяк, ссадина даже видна не была.

30 марта Андрея вызвали в горьковский ОВИР. Как ни странно, вызвали Андрея, хоть он никогда в ОВИР не обращался. Зав. ОВИРом сказала, что ей поручено сообщить, что ответ на его заявление будет после 1 мая. Андрей сказал ей, что он никаких заявлений в ОВИР не подавал, что заявление в ОВИР подавала его жена. «Я ничего не знаю, меня просили вам передать, и я передаю, что ответ будет вам 2 мая».

С этим Андрей пришел домой. Нога у него все больше болела, и, как всегда, когда что-нибудь болит, неизвестно откуда узнают, но появляются Феликс с Майей... Она посмотрела ногу, решила, что это тромбофлебит, и назначила согревающие компрессы, которые я стала ставить. На следующий день после прихода Майи приезжали физики, и Евгений Львович сказал, что появилась такая очень хорошая мазь триоксавазан и она тоже хороша была бы Андрею.

Вместе с Евгением Львовичем в тот раз был, мне кажется, Линде*, но я не уверена. Евгений Львович — может быть, от Гинзбурга — знал, что Андрей собирается объявить голодовку, и у него с Андреем был очень длинный разговор. Андрей, который к этому времени уже принял твердое решение объявить голодовку, если мы не получим разрешения на мою поездку в самое ближайшее время, показал Евгению Львовичу разные документы, которые он написал, в частности, обращение к коллегам, два обращения к Александрову. Евгений Львович очень возражал против решения Андрея о голодовке, впрочем, как и всегда. Он настоятельно убеждал, что раз Андрея вызывали в ОВИР и сказали, что надо ждать мая, то надо ждать мая. А Андрей считал, что это просто жульничество, в котором КГБ хочет перехватить инициативу. Кроме того, тогда мы этого не понимали, но позже стали понимать, что этот вызов в ОВИР вы-

* Андрей Линде — сотрудник ФИАНа. — Ред.

зван еще тем, что действительно КГБ хотел перехватить инициативу, но было решено действовать после 1 мая — видимо, заключение Сыркина и других врачей о моем состоянии возбуждало их опасения. Вызов в ОВИР был именно таким шагом со стороны КГБ: после вызова, рассчитывали они, Андрей будет ждать до мая. Но Андрей как раз решил не ждать.

Мы по майкиной рекомендации ставили два дня компрессы, но ноге стало хуже. Я перестала ставить компрессы. Несмотря на то, что у него болела нога, Андрей считал, что отменять мою поездку не надо, и 7 апреля я поехала в Москву. Поехала с твердой договоренностью с Андреем, что я уйду в американское посольство, а он начинает голодовку.

Мысль об уходе в американское посольство была вызвана тем, что Андрей боялся, что если я останусь в Москве на Чкалова одна или, тем паче, в Горьком одна, то меня могут забрать в больницу или еще куда-то и со мной может вообще неизвестно что случиться, что мне небезопасно быть дома и поэтому я должна уйти в посольство. Вначале он думал, что лучше всего мне уйти в норвежское посольство, и просил меня еще зимой выяснить, есть ли в норвежском посольстве врач. Оказалось, там врача нет, и они сами, если им нужна срочная медицинская помощь, обращаются в поликлинику для дипломатов. Андрей считал, что это нам не подходит и в таком случае я должна уйти в американское посольство.

Надо сказать, что мне американское посольство совсем не нравилось: я думала и сейчас думаю, что, уйдя я в американское посольство, ко мне еще легче было бы прилепить всякие названия вроде как сотрудник ЦРУ, сионистский разведчик или еще что-либо в этом роде. Правда, я не ушла, а все равно эти названия ко мне прилепляют, но хоть с меньшими, даже и на их взгляд, основаниями.

Я вообще была против того, чтобы мне идти в посольство: я не пятидесятник* и прекрасно понимаю, что посольство помочь в решении моей проблемы не может. Но и Андрей считал, что нам нужна не помощь посольства — нам нужно только убежище для меня как таковое.

7-го числа у Андрея болела нога, но мы думали, что все это пройдет, по рекомендации Евгения Львовича мазали этим триоксавазаном, который у меня нашелся. Андрюша поехал ме-

* Две семьи пятидесятников, Вашенко и Чмыхайловы, требуя разрешения на выезд, укрылись в американском посольстве в Москве в июне 1978 года. Они покинули посольство, а затем Советский Союз в 1983 году. — Ред.

ня провожать, в купе он сидел, подняв ногу на сиденье, потому что опущенной она сильно болела. Но мы оба не придавали этому особого значения. Я виню себя: я медицински более грамотна, должна была в этом случае насторожиться, — однако я слишком волновалась, поскольку уже окончательно было решено, что я из Москвы не возвращаюсь. Это означало, что я иду в посольство, предварительно послав Андрею телеграмму с указанием даты, а он в этот день посылает телеграммы председателю Президиума Верховного Совета СССР и в КГБ и начинает голодовку. Кто у нас тогда был? Я уже забыла — Черненко, кажется, а может, и не Черненко. Так я была занята мыслями об этом, что о ноге много не думала.

8-го числа я разговаривала с детьми. Мне кажется, дети поняли, что готовится голодовка, только не понимали, когда она начнется.

Я встречалась с сотрудниками посольства, договорилась с ними, что они 12-го за мной заедут и повезут на встречу к послу. Документы, которые подготовил Андрей: обращение к послам и остальные письма, — я должна была передать лично послу (см. приложение № 6 — письмо послу США в Москве Артуру Хартману). Так он хотел.

10-го числа ко мне неожиданно пришел Дима и сказал, что у него свободные дни и он едет к отцу. Я обрадовалась, дала ему кое-какие продукты и триоксавазан, который уже к этому времени купила. Дала деньги на билет, и он уехал 10-го числа.

11-го вечером я пошла ночевать к Галке. 12-го я вернулась от нее в час дня, в два часа у меня была встреча с американцами. Я собрала сумку с вещами: белье, платье, какие-то книги, чтобы ехать с нею в посольство, — и в это время мне принесли телеграмму от Андрея: «Ноге хуже, рекомендуют госпитализацию, согласился». Я оставила свою сумку недособранной и решила немедленно ехать в Горький. Спустилась к двум часам вниз. Еще не приехали американцы, вдруг вижу — бежит Галя, размахивая моим мешочком с лекарствами. Она пришла совершенно случайно, потому что я забыла свои лекарства и она решила мне их принести. Я ей сказала, что получила телеграмму от Андрея и еду в Горький. Она не знала, как никто из друзей, о планах насчет посольства, хотя, мне кажется, понимала, что что-то я делаю не так, как всегда.

Галя отдала мне лекарства и ушла. А в это время приехали посольские. Я им сказала, что к послу не поеду, — они, по-моему, очень растерялись от моих слов, — и попросила их отвезти меня на вокзал. Показала телеграмму от Андрея. Сказала, что

я еду туда, вернусь 2-го числа, что 3-го я их прошу приехать ко мне на встречу и что по возвращении, видимо, состоится мое свидание с послом, если он согласится меня принять. По дороге на вокзал я вспомнила, что у меня в сумке, в конверте, лежат все Андрюшины письма послам и прочее. Я решила, что мне лучше не тащить это с собой в Горький, и попросила посольских сотрудников сохранить этот пакет. Я не давала им его для передачи кому-нибудь — я совершенно четко сказала:

— Я с вами 3-го встречусь, и тогда вы мне отдадите эти письма, а ехать мне с ними не хочется.

Они поняли. Они отвезли меня на вокзал, я с ними попросилась и купила билет на поезд на 4 часа дня, который прибывает в Горький в 12 вечера. Спустилась вниз, где буфет, и там же оказались кассы Аэрофлота. Я увидела, что есть билет на самолет на 6 часов вечера, который будет в Горьком в 7 часов. Свой билет я отдала тут же какому-то мужику, купила билет на самолет и позвонила Гале, что я еду к ней, потому что мне оставалось до самолета еще три часа.

Приехала к Гале, поела, приехали Нелля* с Эмилем, которым мы позвонили, и отвезли меня в аэропорт Домодедово.

В Горький самолет прилетел почти вовремя, и домой я приехала в восемь вечера. Такси я не отпускала. Дома застала большой разгром и Диму, курящего и листающего все журналы, какие есть, подряд, — во всяком случае, весь стол завален разными журналами, и Дима в этом царстве дыма и полном довольстве собой. Он сказал мне, что отец в больнице. Я поехала туда, меня не пустили, но взяли записку.

Я написала: «Приехала, не волнуйся, завтра утром буду у тебя. Целую. Люся». Вернулась домой. Утром поехала в больницу снова. Андрюшу я застала уже после того, как ему вскрыли нарыв. Они важно называли это «после операции». У него оказался карбункул в области коленного сустава, но сустав не был затронут.

Андрюша, очень растерянный, сразу мне сказал, что накануне, когда его привезли в больницу, во время обследования в рентгеновском кабинете и еще где-то, его сумка оказалась не с ним. Он считает, что она была в руках КГБ. Из сумки исчезли адрес посольства, фамилии посольских сотрудников, с которыми я разговаривала, и еще какие-то бумаги. А копии пи-

* Нелли Яковлевна Шинберг. жена Эмиля Шинберга — Ред.

сем послам, обращения и другие в сумке остались. Но Андрей считал, что сумка была не у него в руках, а сама по себе достаточно долго, чтобы успеть сфотографировать эти документы. Он был очень расстроен этим. Я ему сказала: «Наш поезд ушел, считай, что из-за ноги, считай, что из-за помойного ведра, — в этот раз надо остановиться». Он ответил: «Нет, я ни за что не остановлюсь, я все равно буду делать то, что решил».

Чувствовал он себя вполне прилично. Я не понимала вообще, почему его положили, назначили строгий постельный режим, ногу упаковали в гипс, назначили сердечные лекарства, ну, ладно, дают антибиотики, это еще оправдано. Этот день я провела полностью с Андреем, уехала в 8 вечера. На следующий день, когда я приехала, у него состояние было в смысле сердечном хуже. Врач сказала, что у него появилось много экстрасистол. ЭКГ ему делали. Я еще в этот день не спрашивала, какие медикаменты ему дают. И только на пятый день его пребывания в больнице после подробного разговора выяснила, что ему дают изоптин и дигиталис — и про то, и про другое по предыдущему его пребыванию в больнице было известно, что действуют они на него плохо. И вообще такую экстрасистолию, как у него — одна-две в минуту, — лечить не надо.

У меня был очень сердитый разговор с врачом об этом и о том, почему его держат лежащим — лежать после такой операции совсем не надо, он вполне может вставать и мог бы быть дома. Кроме того, я стала настаивать, чтобы меня оставили в больнице. Андрей тоже настаивал, чтобы его отпустили из больницы или меня оставили с ним, собственно второе — это была уже его идея, когда он понял, что отпускать из больницы они его не хотят. «Они» — это не врачи, конечно; врачи во всем этом были только исполнители. На то, чтобы меня оставили в больнице, мы разрешение получили. Скандал же с врачом по поводу медикаментов перерос уже в некий более широкий.

Врач пришла и сказала, что звонила Таня Сахарова и настаивала, чтобы папу лечили, чтобы папу никак не выписывали из больницы, что у него много всяких заболеваний и даже дизентерия и что-то еще, какие-то заболевания, о которых я никогда не слышала; сейчас я забыла, что Таня говорила. Через несколько часов снова пришла врач и сказала, что ей звонил «друг Сахарова доктор Ковнер» и настаивал, чтобы Сахарова держали в больнице, чтобы его лечили, не слушались его жены, которая против того, чтобы Сахаров получал нужное ему лечение.

Одновременно, как выяснилось от Феликса, который приходил, уже все в городе кругом говорят, что у Сахарова чуть ли не гангрена ноги, ему грозит ампутация, а я не даю его лечить. Причем сам же это рассказывает с возмущением нам, а с другой стороны, это же подтверждает, насколько возможно, везде и всем. И он, и Майя были в ужасе от того, что Сахаров так тяжело болен, а я вроде торможу его лечение; кажется, говорили, что у него сепсис (или, может быть, это говорил Ковнер). При этом Феликс говорил, что Ковнер сотрудничает с КГБ, а Ковнер говорил то же про Феликса. Из всего этого мы с Андреем только поняли: КГБ их здорово натравил друг на друга и на нас, вернее, на меня. Ругать за что-либо Сахарова ни один из них не решался.

Тут еще возник у Андрея инцидент с Димой. Когда Дима приехал, он сказал, что ему 18-го надо выходить на работу, что он устроился работать наконец и приехал до начала работы познакомиться с отцом. 17-го числа Дима заявляет, что он никуда не поедет, что работать ему вовсе не надо. Он не может оставить больного отца, не доверяет мне и желает ухаживать за отцом. Отец сказал какие-то резкие слова Диме, после чего Дима согласился уехать и ушел из больницы.

Как потом выяснилось, он не сразу уехал из Горького, а еще ездил к Марку жаловаться на меня, как я гублю отца, и к Майе и Феликсу с этим же. Но это все, в общем, не имеет значения ни для чего, кроме нашего настроения и душевного состояния.

Андрей уже больше не может быть в госпитале на людях. Ему продолжают делать перевязки, медикаментов он уже никаких не принимает, но ЭКГ действительно с большим количеством экстрасистол. Но, несмотря на это, он по собственному настоянию 21-го числа выписывается из больницы, договорившись с хирургом, что будет приезжать на перевязки. Потом на следствии мне скажут, что я заставила Андрея выписаться. И действительно, мы еще два или три раза приезжали на перевязки, потом Андрей меня спросил: «А что, ты сама это не можешь делать, что ли?» Я сказала, что могу. И он сказал: «Ну, я больше не поеду». И езда на перевязки на этом кончилась. К терапевтам же Андрей не обращался, и как там с экстрасистолой, было неизвестно. А препараты дигиталиса и изоптин он кончил пить еще в больнице.

Числа 24-го мы взяли мне билет на самолет, и я послала Галке телеграмму, что прилетаю 2-го числа, что встречать меня не надо и что приеду прямо к ней. Но в Москве они все же реши-

ли, что встречать надо, и то ли Леня Литинский*, то ли кто-то еще поехал меня встречать. Значит, друзья в Москве были чем-то обеспокоены: поведением КГБ или еще чем-то, — потому что обычно, когда я писала, что встречать не надо, они мне верили; я писала, что встречать надо, — они встречали.

Мы до 2-го числа жили спокойно и нормально, хотя уже внутренне я вся тряслась, как и в апреле, от ужаса перед тем, что мне надо ехать в посольство, что Андрей начинает голодовку. И одновременно я думала, что из всего этого ничего не выйдет. Ведь мы оба знали, что ГБ все известно, а остановить это я уже не могла, а Андрей уж, конечно, не остановит.

И с этим настроением 2-го числа мы едем на аэродром. Я до сих пор не могу понять, и думаю, что Андрей тоже, зачем у меня в сумке лежат заново им написанные письма послам, обращение и все прочее и копии моих писем Андрею и детям, где тоже говорится о голодовке и о том, что я уйду в посольство. Зачем они у меня были? Зачем я их таскала с собой? Я не понимаю этого до сегодняшнего дня, ведь все они были (ну, может, Андрюшины письма не в таком варианте) в том конверте, который я передала американским дипломатам.

Мы оба очень волновались в ожидании посадки. Я сидела, Андрей стоял рядом, держал мою руку. И снова: «Кто может знать при слове — расставанье...» Эти слова стали как лейтмотив нашей горьковской жизни. На аэродроме, когда повели к самолету, меня обступили человек пять, я оглянулась на зал, но никого не увидела. Они меня отделили от других пассажиров, взяли под руки и провели к машине — такой маленький рафик, похожий на воронок. Я сразу поняла, что арестована, тем паче, что, когда мы прощались, мы уже ожидали чего-то в этом роде.

Завезли в другой конец аэродрома. Небольшое приземистое здание, второй этаж, кабинет какого-то начальника, там две женщины в форме МВД и высокий мужчина в штатском. Он представляется: старший советник юстиции, еще что-то (так и не помню всех его званий) Геннадий Павлович Колесников**. Предъявляет мне обвинение по статье 190-1 и постановление об обыске; что точно было написано в этих бумажках, я не помню.

* Леонид Литинский — физик, друг Сахаровых. — Ред

** Старший помощник прокурора Горьковской области по надзору за следствием в органах КГБ. — Ред

Меня провели в соседнюю комнату, где две женщины сделали личный обыск и обыск моих вещей — всего одна сумка. Отобрали только копии тех бумаг, которые были в том конверте, что я в Москве отдала дипломатам. Явно было, что Колесников уже с ними знаком, потому что он на них едва глянул.

Сейчас передо мной эти документы и два моих письма — то, что было тогда забрано на обыске. Эти письма должны были оказаться в Ньютоне до голодовки Андрея и до моего суда (мы ведь не предполагали, что меня ждет суд). Сегодня, когда я пишу и, отрываясь от бумаги, вижу в окно тихую, зеленеющую, такую провинциальную ньютонскую улицу, они мне кажутся излишне трагическими, прощальными. Но в них мое тогдашнее ощущение, то, как нам было тяжело принимать решение и как я неоптимистично смотрела на затеваемое нами. Сейчас я бы так не написала, но я не могу их переделывать. Андрей их переписал тогда своей рукой (привычка делать копии). Эти копии и дошли сюда спустя два года, с припиской Андрея: «Письма написаны Люсей в апреле 1984». Хочу я того или нет — эти письма уже стали документами, и поэтому я помещаю их в книгу.

Мои родные, ненаглядные мои мамочка и дети! Простите, что этим письмом я не советуюсь с вами, а ставлю вас в известность о нашем решении. Но Андрей не видит другого пути. С сентября я уговаривала его пересмотреть это решение. Но для него в сегодняшней нашей ситуации бездействие стало невозможным, и он жаждет моего излечения и моей встречи с вами, может, даже больше, чем я. Мы знаем, что многими это будет воспринято как политический акт, но какая политика стремиться стать хоть чуть здоровей и увидеть маму и детей. Многие будут вновь говорить, что Андрей занимается мелочами. И осуждать — конечно, меня. Это вам надо пережить. Вы знаете нас лучше, чем кто-либо, и вам не надо объяснять, как мы неразделимы. Я хочу, чтобы мое письмо смягчило и утишило вашу боль.

Я не так мало прожила на свете. Было много горя — гибель папы в тюрьме, осколок, нашедший Севу где-то под Любанью, безвременная смерть Игоря, потеря друзей, смерть Инны. И моя*

* Игорь Георгиевич Алиханов, брат автора, штурман дальнего плавания, умер от сердечной недостаточности в плаванье летом 1976 года. — Ред.

непроходящая вина, что в революционно-романтическом порыве бросилась спасать отчизну и человечество, оставив в Ленинграде, ставшем блокадным, бабушку с двумя детьми; а сейчас в странном горьковском изгнании ничем не могу помочь одинокой и больной Раиньке* и тебя, мамочка, отдала на попечение детей.

И все-таки жизнь сложилась счастливо. Я всегда любила то, что делала: любила крик новорожденных, и своих девчонок, и то, чему их учила, еще раньше любила быть медсестрой и позже в мединституте даже сомневалась, может, и не надо становиться врачом; любила свой женский труд — мыть окна, готовить, стирать и мыть полы; любила литературный труд (самый для меня трудный) и гонорар за него. Любила танцевать, любила друзей и нашу кухню — «трактир веселых нищих». Всю жизнь была со мной моя первая любовь — я как будто никогда не расставалась с Севой. Остались солнечные годы с Иваном, и ваше рождение, и как вы росли, и было жалко, что перестанете быть маленькими. И потом — теперь — та невероятная, немыслимая человеческая близость, которой судьба наградила нас с Андреем.

Жизнь свершилась счастливо. Я бесконечно благодарна вам, Таня и Алеша, за то, что вы, мои дети, — мои самые близкие друзья. Я счастливы, что мои зять и невестка — Рема и Лиза — мне свои, а не чужие (это так нечасто бывает). Как безмерно я благодарна тебе, мамочка, за Таню и Алешу — за то, что они хорошие люди. Нам с тобой, мама, невероятно повезло: они всегда были душевно близки с нами — это наш с тобой труд, и ты вправе им гордиться. Я хочу, чтобы ты жила подольше: ты для детей — это наша семья, наш дом. Чем дольше ты будешь с внуками и правнуками, тем крепче будет их связь друг с другом во всей их жизни. И найди, мамочка, найди в себе еще сил побыть с детьми. Я тебя очень люблю. Прости за все недоданное тебе тепло, за взрывчатый характер — я всегда старалась быть добрей, но всегда не получалось.

Мои маленькие, мои большие Таня и Алеша, все мои восемь детей. Пусть навсегда с вами будут наши общие друзья и вместе пройденные дороги, и наши костры, и дикий берег, и город, где родились, и все другие наши общие города; музыка, кото-

* Раиса Лазаревна Боннэр (р. 1905), двоюродная сестра Руфи Григорьевны Боннэр. — Ред.

рую вместе слушали, картины, которые вместе смотрели, книги, которые вместе читали, стихи, которые вместе любили. Я прошу вас хранить вашу близость и нашу семью, дух нашего дома — это вам в помощь, и это так нужно вашим детям. Заботьтесь о бабочке, помните Андрея. А я всегда буду с вами.

Я хочу, чтобы это письмо не было прощанием, а было залогом нашей встречи. Целую вас. Мама.

Андрей, милый! Наша жизнь независимо от нас стала во всем гласной, обсуждается прессой, знакомыми и незнакомыми людьми. Поэтому я пишу это письмо всем, кто захочет понять, откликнуться, помочь. Ты знаешь, как я живу, и ты все понимаешь. Я устала от клеветы, от травли, от милицейских постов, постоянной слежки — беззаконности всего, что с нами происходит. Я устала от бездомности, от ощущения ненависти твоих детей, твоего неверия им и ожидания, что кто-то из них тебя предаст. Я мучаюсь от того, что мы ничем не можем помочь друзьям; сомневаюсь, не бесплодны ли страдания тех, кто сейчас в Мордовии, Перми, Казахстане. Я стыжусь глаз их мам, жен, детей — мне кажется, они думают, что ты можешь помочь. Но я знаю, что ты не можешь! Вижу, что реальны только наши безмерные дружба и уважение к ним; да посылки с бандеролями. Моя мечта — не все с ней согласны: один самолет им всем, все равно на кого их менять, только бы была свобода. Я устала от разлуки с мамой и детьми, от того, что все беды, все границы мира и борьба за мир — идут прямо через меня, через мое сердце: они девять там, а ты и моя судьба — здесь. Я люблю тебя, благодарна тебе за это, и никакая усталость не способна разрушить это чувство. Я очень устала от болезни. Мне нечего добавить к твоим соображениям, почему я не могу лечиться в СССР. В сентябре ты решил начать бессрочную голодовку, чтобы добиться разрешения на мою поездку. Я, как могла, оттягивала начало голодовки. Не жалость, не тревога за твое здоровье, не страх за твою жизнь удерживают меня. Я знаю, что это твое решение и что любые действия для тебя сейчас легче бездействия. Этого не понимают даже многие друзья (о недругах не говорю) — и обвинять будут меня. Мне кажется внутренне неправильным, что ты хотел проводить голодовку один. Я ведь тоже хочу (если медицина сможет) продлить свою жизнь, и я не хочу жить без надежды увидеть еще раз маму и детей. Добиться этого не должен ты один. Тринадцать лет мы не разделяли наши труды и наши беды, не должны раз-

делать их сейчас. А достанет ли нам обоим сил — это «нам не дано предугадать»... Я пишу это письмо с надеждой. Люся.*

Не помню ни одного вопроса на первом допросе, однако помню свой ответ. Он был один и тот же на протяжении всего следствия. Иногда в беседе со следователем я говорила какие-то другие вещи, но для протокола, для записи существовал только один этот ответ:

«Так как никогда и нигде и ни при каких обстоятельствах не распространяла заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный или общественный строй, а также государственный или общественный строй других государств, а также частных лиц, в следствии не участвую и на поставленный Вами вопрос не отвечаю».

Этот ответ, конечно, громоздкий и довольно длинный, повторен мною во всех допросах. Несколько раз следователь говорил, что, может быть, будем кратко записывать ответ, но я не соглашалась, и он всегда записывал ответ полностью, таким длинным и таким нескладным. В конце концов с меня была взята подписка о невыезде из Горького.

На первом допросе я заметила, что кисть правой руки у Колесникова деформирована ранением и писать ему трудно. Наверно, не убыло бы моей позиции, если б я согласилась, чтоб он писал «ответ тот же», как он предлагал, а не тот длинный и громоздкий, который я сочинила.

Обыск и первый допрос продолжались больше двух часов — я думаю, часа два с половиной, если не все три. После этого мне дали повестку на допрос на 3-е число, посадили в тот же самый рафик и повезли домой. Везли меня человек пять, наверно, если не больше. Когда я вышла из машины около нашего дома, ко мне обратился какой-то мужчина и сказал:

— Елена Георгиевна Боннэр? Разрешите представиться.

Я испугалась, что это какой-то проситель на виду у всего ГБ пристаёт ко мне, и стала ему говорить:

— Уходите, вас сейчас задержат.

А он говорит:

— Разрешите представиться — начальник УКГБ по Горьковской области.

* Ф И Тютчев.

Положение какое-то дурацкое. Я на него смотрю и не очень знаю, что я должна сказать. И с этим «не очень знаю» иду к лестнице и прохожу в подъезд. Он идет за мной. Я иду мимо милиционера, прямо в дверь, и он за мной в квартиру.

Андрей бросается ко мне:

— Люсенька!

Я ему говорю:

— Андрюша, это начальник КГБ Горьковской области.

А надо сказать, что к этому времени мне ужасно захотелось в уборную; если учесть, что из дома я выехала четыре часа назад и давно должна была быть в Москве, то это вполне понятно. Я прямо ставлю сумку на пол и бегу в уборную. Когда я выхожу, то здесь уже полный крик. Разговор идет на самых высоких тонах. Начальник КГБ кричит, что «о ней я вообще разговаривать не хочу. Боннэр является американской шпионкой, сотрудником ЦРУ и сионистской разведчицей. Будем ее судить по 64-й статье. А вот вы...» — и чем-то грозит Андрею. Андрей кричит ему, совершенно не помню что. Тот вылетает через дверь, продолжая выкрикивать угрозы по моему адресу, а Андрей бежит в коридор за ним и что-то кричит ему. Спустя несколько секунд Андрей возвращается, и тогда выясняется, что Андрей уже начал голодовку. Он видел, как меня посадили в машину и увезли, и понял, что меня арестовали. Вернувшись домой, он сразу послал телеграммы председателю Президиума Верховного Совета и КГБ о том, что начинает голодовку за мою поездку. Пришел после этого домой, принял слабительное, сделал себе клизму и уже сидит попивает водичку. И уже все мои многомесячные возражения: начинать голодовку, не начинать голодовку, имеет это смысл, не имеет это смысла — повисли в воздухе.

Я ему рассказала, что мне предъявлено обвинение, что с меня взята подписка о невыезде и что формально я в данный момент нахожусь под следствием и завтра надо являться на допрос. На этом «рабочий день» 2 мая у нас кончился.

Можно считать, что вызов Андрея в ОВИР 30 марта был вполне оправданным: они дали ответ после 1 мая, начав против меня 2 мая следствие. Андрей был прав, когда говорил о вызове в ОВИР, что это КГБ хочет перехватить инициативу.

3 мая я на допрос не пошла. Мы поехали, но такси не сумело подъехать к прокуратуре — там закрыто движение, — а пешком я не пошла, я плохо себя чувствовала. 4-го я пошла на допрос, мне 3-го принесли повестку на 4-е. О чем был допрос, я не помню, ответ был всегда один и тот же, как я уже говорила,

и поэтому у меня очень плохо в памяти сохранились вопросы, хотя я все вопросы записывала. 4-го вечером по телевизору была передача, где сказали, что я вступила в преступную связь с американскими дипломатами и еще что-то в этом роде. 5 мая был день без особых событий.

6-го Андрей чувствовал себя еще вполне прилично, хотя это был уже четвертый день голодовки. Я решила сажать цветы. Андрюша начал вскапывать клумбу перед балконом, а я на балконе возилась с землей в ящиках. Это было часов около 12-ти, может, начало первого, когда к Андрею довольно близко подошла Ирина Кристи*. Она была одета в бежевый плащ, у нее в руках была сумка, а в сумке букетик цветов. Андрей — как всегда с ним бывает, если он не подготовлен, — не узнал ее. Я ее узнала сразу. И сразу начала говорить, что меня задержали на аэродроме, что против меня начато следствие и что Андрей голодает со 2-го числа. Я ей сказала, что следствие начато по 190-й статье, но одновременно меня заманивают, пугают 70-й или даже 64-й. Объяснить я ей ничего не успела. (А 70-я выплыла на допросах, потому что Колесников все говорил, что это не 190-я, это гораздо больше, это 70-я. 64-й он не называл ни разу — о 64-й говорил начальник КГБ.)

Все это я объяснить Ире не успела: набежали гебешники и Иру утащили, буквально уволокли в соседний дом, в помещение, которое они называют «Опорным пунктом охраны порядка». Когда ее оттуда вывезли, мы не видели, хотя ждали у окна по очереди почти весь день. Я все жалела, что мы не успели взять у нее цветочки.

Это было 6-го числа. 7-го мы пошли на допрос. На допрос я была вызвана во второй половине дня, где-то часа в три. Поехали мы на такси. Я была у Колесникова, а Андрей сидел в коридоре. При нем была сумка и термос с горячей водой, которую он попивал. Допрос был какой-то вялый, недолгий, в конце допроса Колесников сказал, что ему надо поговорить с Андреем и не возражаю ли я, если он его вызовет в кабинет. Я не возражала, он его позвал и сказал: «Андрей Дмитриевич, за вами приехали врачи, вам надо ехать в больницу». Андрей стал возражать. В это время вошли несколько человек в белых халатах, человек пять-шесть опять же, и предложили ехать в

* Ирина Григорьевна Кристи — математик, участница правозащитного движения.
— Ред.

такой форме, что возражать им было явно бессмысленно. Тогда Андрей попросил, чтобы разрешили мне ехать с ним в больницу. Они разрешили.

Нас привезли в больницу на скорой помощи и провели в ту же палату, где мы лежали вместе после Лизиной голодовки и Андрей один, когда у него болела нога. Одна кровать в палате была занята каким-то мужчиной. Нас ввели в палату и на некоторое время оставили одних — впрочем, не совсем одних: этот мужчина из палаты не выходил. Надо сказать, что у меня в эти дни очень болела спина, я вообще чувствовала все эти дни себя плохо и полуприлегла на Андрееву кровать, и Андрей тоже прилег рядом со мной. В это время пришел Обухов и сказал, что мне надо уйти. Андрей стал возражать и настаивать, чтобы меня оставили с ним, как было в предыдущее его пребывание в больнице. Обухов категорически возражал против этого, а потом предложил, что я могу остаться в больнице, только в другом отделении и в другой палате. Он так это сказал, что было совершенно ясно — обманывает. Андрей на это не соглашался, вошли несколько мужчин, и мы поняли, что меня будут удалять силой. Я встала с постели. Андрей тоже вскочил и обхватил меня, стоя сзади, поперек живота двумя руками. Меня стали вырывать из его рук. Он меня тянет к себе, а меня вырывают. Тут я на какое-то мгновение ничего не помню — просто не помню, как я оказалась в коридоре. Меня силой вырвали; может быть, я даже на мгновение потеряла сознание. Утверждать я этого не могу, но, как оказалась в коридоре, я не помню. Я только слышала, как Андрей что-то кричит, но, видимо, его держали там силой в комнате, в коридор он не выбежал. Меня протащили по коридору на весу, как детей за руки тащат. В конце коридора поставили на ноги, дали мне мою сумку в руку — значит, кто-то из них ее нес. Мы на лифте спустились вниз, меня посадили опять в машину и отвезли домой. Это было около восьми вечера.

Осталась я одна — как провела ночь, не помню. Утром разбудил меня звонок в дверь. Когда я открыла, в квартиру вошли Колесников, две женщины какие-то с ним, одна в милицмейской форме, несколько мужчин и понятые — две женщины из нашего дома. Они предъявили постановление об обыске. Это было около девяти утра, и начался обыск, долгий, нудный. По моему, им самим надоело рыться в Андреевых бумагах. Забрали они безумное количество, всего 319 наименований, причем некоторые — наименование одно, а содержит папку в 300 стра-

ниц, папку в 119 страниц. Забрали много книг, все английские, немецкие. Забрали, конечно, и пишущую машинку, и магнитофон, и фотоаппарат, и киноаппарат, и, самое главное, радиоприемник. В общем, забрали все, что можно. Обыск был нарочито тщательный: выстукивали стены, выстукивали мебель, искали всякие тайники. Очень странно и неожиданно для меня было, что в конце обыска приехал еще какой-то мужчина в штатском и в разные пробирки забирал образцы продуктов и образцы лекарств, видимо, на наркотики. Ну, тут была одна накладка. У меня вообще все продукты в стеклянных банках с надписями, а одна баночка без надписи. Там какой-то желтовато-грязный кристаллический порошок. Он меня спрашивает: «Что это такое?» Я говорю: «Понятия не имею». Он растирал между пальцев, нюхал, потом взял в пробирку. Потом взял всю эту банку, и, уже когда они ушли, я вспомнила, что Андрей одно время покупал иодированную соль, это она и есть. Я ею не пользовалась и совсем забыла, что это такое.

Ушли поздно, в 10 часов. Я легла спать, вернее, не легла, а повалилась и как провалилась в сон, такая была усталая.

На следующий день, 9 мая утром, я решила ехать в больницу, взяла такси, по дороге попросила таксиста свернуть к маленькому рыночку купить цветов. Я видела, что за мной едут две гебешные машины. Когда я подошла к женщине, которая продает цветы, выбрала тюльпаны и, расплачиваясь, держала их в руках, ко мне подошли два гебешника и спросили, что я делаю. Я сказала: «Что не видите, цветы покупаю, а что? Нельзя?» — «Нет, цветы можно, — сказал один из них. — Но в больницу нельзя. И не вздумайте подъезжать даже близко. Вас все равно туда не пустят, а у вас будут большие неприятности». Я сказала, что больше уж некуда, все неприятности, которые могут быть, уже есть.

В больницу я не поехала. Ну что ехать! Силой прорываться бессмысленно. Никуда я силой не прорвусь. И вернулась домой. Таким образом я провела 9 мая, не увидев Андрея, расставив по всему дому цветы, которые собиралась отвезти ему.

Надо заставить себя делать что-то. День солнечный, ясный, весенний. У меня перед балконом вскопана земля, и я пошла сажать цветы, сеять семена, которые у меня были собраны еще прошлой осенью. В общем, довольно долго возилась во дворе. У меня, конечно, была еще мысль, что так как 9 мая — нерабочий день, то, может, кто-нибудь объявится из москвичей или ленинградцев и будет хорошо, если я на улице все это время.

Гебешники ходили вокруг, и я не видела, чтобы кто-нибудь объявился из своих или кого-то потащили бы в их штаб — опорный пункт.

Ну, дальше пошли допросы. 10 мая меня стали допрашивать о Лесике Гальперине и об Ирине Борисовне Исат. «Понятия не имею, кто это такая», — сказала я следователю, нарушив тем самым свое правило отвечать на все вопросы так, как на первом допросе. Правда, для протокола было записано, как всегда. Но я ему (это был первый не протокольный разговор) сказала, что я действительно понятия не имею, кто она такая, и меня это очень интересует. Так он мне и не объяснил, кто это. И я решила, что это жена Лесика Гальперина Ирина, так как ни фамилии ее девичьей, ни, тем более, отчества я не знала.

Допросы продолжались все эти дни. Числа 16 или 17-го я получила телеграмму от Димы, Тани и Любы. Текст этой телеграммы был приведен Андреем в письме маме и ребятам в Бостон (см. приложение № 7). Для меня она была тяжелым добавлением ко всему, что уже случилось, и самое неприятное было то, что телеграмма стала чуть ли не ведущей темой в ближайшие дни на допросах. Колесников меня все время спрашивал об этом, все время доказывал мне, исходя из этой телеграммы, что меня еще надо судить и по статье 107 или 103 — это принуждение к самоубийству и прямо «умышленное убийство». Я послала ответ, тоже телеграфный*, на Любин адрес, потому что других адресов я не знала, у меня на обыске забрали все записные книжки. Я могла пользоваться только тем, что помню.

Я написала Любе, что я не знаю, что с отцом, с 7-го числа, что остановить голодовку и спасти его я не могу и что их телеграмма... Ох, я не помню, что я им ответила. Только я им написала, что понимаю: не Люба инициатор этой телеграммы, а отвечаю я на ее адрес, потому что у меня нет другого. Это я помню, а остальное не помню.

И следователь, когда меня потом допрашивал, все время упрекал за этот ответ, за то, что я им написала, что я не знаю, что с отцом сейчас происходит, и никакой связи у меня с ним нет, это вроде как я неправду говорю, в то время как прекрасно знаю, что отца лечат и он находится в больнице, и что именно это я должна была написать его детям. Тогда я не понима-

* О телеграмме Е.Г.Боннэр, о первой ее части, сообщила 21 мая «Нью-Йорк таймс» со ссылкой на источник, близкий к семье. — Ред.

ла, почему именно в эти дни была телеграмма, почему именно в эти дни им было важно такое давление на меня. Теперь, уже постфактум, я знаю, что 11-го у Андрея был спазм или инсульт, резко ухудшилось состояние, и эта телеграмма им была нужна на всякий случай, если они потеряют Андрея из-за насильственного кормления. И для этого же им, возможно, был нужен какой-нибудь свидетель. Тогда я этого не понимала, поняла только потом, когда Андрей вернулся и рассказал, что с ним было.

И свидетеля на всякий случай, кажется, сделали.

18 мая произошло совершенно неожиданное для меня событие. Часов в шесть вечера вдруг звонок в дверь, я открыла: стоит дядя Веня, убирающий паспорт в карман — предъявлял охране, — и его ко мне милиционер пропускает.

Здесь надо рассказать, кто такой дядя Веня. В 77-м году Андрюша, я и Мотенька отдыхали в Сочи. И на пляже мы познакомились, вернее, Мотя познакомился и привел ко мне этого человека: «Это мой новый друг дядя Веня». Мы представились: «Вениамин Аронович» — «Елена Георгиевна», — о чем-то говорили, сидя у воды и кидая камешки в волны. Дядя Веня пошел нас провожать. Оказалось, что он живет в той же гостинице, собирался идти с нами вместе обедать. Тогда я решила, что мне уже надо сообщить, кто я такая, и сказала, что мы с Мотенькой не возражаем, но мы должны зайти за дедушкой, за моим мужем, и мой муж — академик Сахаров. Я считала необходимым сообщить об этом новому случайному знакомому: а вдруг он не захочет неприятностей, связанных с именем Сахарова, но дядечка Венечка не испугался, а даже очень обрадовался, стал говорить, как он уважает Сахарова, хотя даже в мечтах не мог представить реального знакомства с ним. Обедать мы пошли вместе и все оставшиеся дни в Сочи проводили вместе.

В следующие годы, в 78-м и 79-м, мы тоже ездили на юг, уже без Моти, без детей, которые уехали. И каждый раз, когда мы были на юге, дядя Веня приезжал и тоже отдыхал одновременно где-нибудь неподалеку, так что мы много времени проводили с ним. Это было и приятно, и весело, он очень симпатичный человек.

Теперь дядя Веня рассказал мне такую историю. Он знаком и близок по работе с председателем советского Олимпийского комитета. По радио дядя Веня услышал о голодовке и обратился с просьбой к нему помочь устроить свидание с Сахаровым: он, мол, попытается остановить голодовку, потому что счита-

ет, что голодовка — это очень страшно для здоровья Сахарова. И ему, как он сказал, разрешили приехать навестить меня и навестить Андрея в больнице. Он стал уговаривать меня написать Андрею, чтобы повлиять на него и остановить голодовку. Я сказала дяде Вене, что ничего подобного я писать не буду, что раз Андрей начал голодовку, хотя я и была против, то теперь я вмешиваться в это и действовать так же, как те, кто ее не одобряет, или как его враги, не буду. Как будет, так будет.

Дядечка Венечка поужинал у меня и ушел в гостиницу. Обещал заехать ко мне, рассказать, как Андрей, так как он считал, что на следующий день его пустят к Андрею. И действительно, на следующий день, 19-го числа днем, дядя Веня заезжал ко мне — правда, меня не было дома. Он оставил записку, которую мне передал милиционер. В записке было сказано, что он торопится на самолет и поэтому ждать меня не может, что он видел Андрея, что Андрей в хорошем состоянии и что у него хорошее настроение.

Я поверила этой записке и только потом, когда Андрей вышел из госпиталя, узнала, что это были как раз самые тяжелые для Андрюши дни. Он еще плохо ходил, не мог писать, у него были задержки с речью, так что ни о каком хорошем состоянии и настроении говорить не стоило бы. И именно в эти дни приезжал дядя Веня, именно в эти дни была телеграмма от детей. Теперь я думаю, что дядя Веня был нужен (приготовлен) тоже вроде как живой свидетель того, что он меня уговаривал повлиять на Андрюшу, чтобы он не голодал, а я отказалась. Это я так думаю, но утверждать, что для этого приезжал дядя Веня, не могу. Было ли это его собственным порывом, и его пустили по какому-то большому благу, или он был свидетель от КГБ? Не хочется думать, что все от ГБ, но и по-другому думать очень трудно, почти невозможно.

21 или 22 мая (думаю, что 22-го: если бы это было 21-го, я бы запомнила — ведь это день рождения Андрея) меня не вызывали на допрос, и ко мне в середине дня приехала женщина, сказала, что она медсестра из больницы. Она приехала по поручению заместителя главного врача взять для Андрея очки, зубы и книгу о Паскале. Я все время до этого как раз думала, что, когда его утащили в больницу, он был без съёмного протеза. Ему все время мешал протез, он его часто снимал. Все это она сказала на словах, причем было сказано так: «Очки для дали, зубной протез и Паскаль», — какое-то очень домашнее название книги. Это книга из серии «Жизнь замечательных лю-

дей», я ее читала как раз перед тем, как Андрея забрали, и мы ее много обсуждали. Но вряд ли Андрей постороннему назвал бы ее так запросто, без автора и без ничего. И поэтому я решила, что была записка. Я сказала этой женщине, что я все дам, когда мне отдадут записку от Андрея. Она сказала, что она ничего не знает и никакой записки ей не давали, и с этим уехала.

Допроса не было еще два или три дня. И потом утром — звонок в дверь. Появляется Колесников со слесарем из нашего дома и еще какой-то женщиной и с этой медсестрой — оказывается, он приехал с постановлением о выемке очков и зубов, слесарь и женщина из нашего дома — понятые. Следовательно начал читать мне нотацию о том, какая я плохая жена и что я явно хочу, чтобы Андрей Дмитриевич продолжал голодовку, раз не отдаю ему зубы. Я снова повторила, что уверена, что была записка от Андрея Дмитриевича, и, если мне ее передадут, я сразу отдам. Но это мое «если» уже не имело значения, уже было постановление о выемке. Представить себе, что снова будут делать обыск и перерывать весь дом, а потом все это мне надо будет приводить в порядок, было невозможно. И я собрала очки (причем очки разные, у Андрея много пар очков), зубы. Про Паскаля я забыла, а принесла трехтомник Пушкина.

Следователь очень удивился — или сделал вид, что удивился — тому, что я дала несколько пар очков. Я говорю, что Андрей Дмитриевич в разных случаях любит носить разные очки. Я даже сказала: это для еды, у него есть особые очки. Однако он повел разговор о том, что только плохая жена не знает, какие очки мужу нужны, но потом все очки взял. А про Пушкина сказал: «А зачем ему Пушкин?» И мне как-то очень трудно было объяснить, что Пушкин может быть нужен всегда, в любом случае жизни. Вот это и есть то самое, что называется «другая ментальность» — кому и зачем нужна поэзия. Но Пушкина он все-таки тоже взял. Еще я попросила передать карандаши и бумагу. Все это у меня взяли. Дату, когда это было, я не помню. Мне кажется, 26 или 27 мая.

Потом от Андрея я узнала, что ему отдали только одну пару очков, остальные вернули при выписке. То же произошло и с трехтомником Пушкина, его Андрею не передали, но при выписке вернули. Очевидно, и то и другое было принято за некие условные знаки — может, мы так заранее сговаривались (о чем?), — и не отдали.

На очередном допросе Колесников неожиданно вспомнил о документах, забранных у меня на обыске 2 мая: об обращении Андрея к послу США, моих письмах и обращении. Позже они были приобщены к делу, включены во второй том, но на суде никак не фигурировали. Колесников сказал, что посол США Хартман провел пресс-конференцию, на которой сообщил, что я должна была укрыться в посольстве по согласованию с американскими дипломатами*. Но я знала, что американские дипломаты не знали наш с Андреем план, и не поверила следователю. Тогда он процитировал мне какие-то куски из статьи в газете «Известия», но полностью прочесть статью не дал. Ее содержание я узнала, когда Андрей вернулся домой в сентябре и мы с ним съездили в читальню на улице Бекетова (это довольно далеко от нашего дома) и провели там почти два часа, чем очень разозлили нашу охрану. Но Андрей за это время переписал статью полностью.

На следующем допросе следователь сказал, что доктор Стоун написал статью, в которой упрекает меня за то, что Сахаров из-за меня уже трижды был вынужден голодать. Что это была за статья и была ли она вообще, я не знала до приезда в Соединенные Штаты**. Здесь я ее прочла, и она меня поразила. Доктор Стоун в ней просто повторил все, что обычно говорят администраторы советской науки о Сахарове и обо мне. Он просто не заметил, как его «воспитали» во время его нередких поездок в СССР.

Потом допросы продолжались еще несколько дней. И около 5 июня следователь на допросе прочел мне записку от Андрея. В записке, собственно говоря, ничего не было конкретного о здоровье или еще о чем-либо, были какие-то очень интимные слова мне о том, как он скучает и как тяжела разлука. Я понимала, что записка написана им — никто другой этих слов не написал бы, однако мне записку в руки не дали. Тогда я

* 18 мая 1984 года не названный по имени «старший сотрудник» посольства подтвердил в разговоре с американскими журналистами, что перед отъездом в Горький Е.Г.Боннэр оставила в посольской машине письмо, содержащее просьбу о предоставлении убежища. Однако посольство отрицало, что его сотрудники обсуждали с Е.Г.Боннэр возможность предоставления ей убежища. — *Ред.*

** В статье «Бунт ученого» («Интернейшнл геральд трибюн», 1984, 29 мая) Джереми Стоун, в частности, писал: «...Так что, когда в спровоцированных КГБ статьях Сахаров обвинялся в том, что он попал в плен сионистского агента Елены Боннэр, там среди антисемитской грязи была крупинка истины: жена Сахарова радикализовала его мышление, и он полностью ей предан. Не случайно две из трех голодовок Сахарова проводились в защиту ее интересов...». — *Ред.*

не понимала, почему, и уже только потом, когда Андрей вышел из больницы и мне стало известно о его состоянии в это время, я поняла, что, видимо, эта записка была написана еще не вполне хорошим почерком.

Тогда же мне разрешили сделать Андрею первую передачу через следователя. После того, как у меня взяли зубы, я считала, что Андрей снял голодовку, и все время просила разрешения на передачи. Наконец мне разрешили передать соки, помидоры, ягоды и зелень. Во время следствия Колесников несколько раз передавал мне записки от Андрея, не регулярно, всего пять или шесть записок, хотя он написал много больше, — мне передавали не все. Иногда из текста записки было понятно, что предыдущая ко мне не попала. Но то, что большинство записок не передано, я узнала, когда Андрей был уже дома. У меня также брали записки, обычно в ответ на Андрюшины, и два раза в неделю брали передачи: ягоды и овощи.

В середине или в конце июня на одном из допросов я подавала заявление Колесникову, что я настаиваю на встрече с мужем, которого не видела с 7 мая и не знаю, что с ним. Спустя неделю, когда я пришла на очередной допрос, в кабинете у следователя уже был какой-то мужчина. Колесников мне сказал, что для ответа на мое заявление он вызвал зам. главного врача Толченова. Зам. главного врача заявил, что Андрей Дмитриевич находится в больнице по поводу заболевания сердца и сосудов головного мозга и проходит лечение. Никаких конкретных данных о лечении он не привел, а когда я стала спрашивать, он сказал, что он непосредственно его лечением не занимается и не знает. Он — зам. главного врача, а лечение ведет лечащий врач. Врачи считают, что свидание, о котором я просила, вредно для здоровья Андрея и может повредить лечению, поэтому свидание дано не будет. Выписку они считают несвоевременной, поэтому Андрей Дмитриевич выписан не будет. И опять же был какой-то непонятный разговор на тему о том, что вообще мое общение с Андреем, мое присутствие около него вредно для его здоровья, поэтому врачи его изолировали от меня. Письменно ответить Колесников и этот зам. главного врача не захотели. Таким образом, я получила устный ответ, а когда я указала на это Колесникову, он сказал, что это его право.

А допросы шли своим чередом, и ничего интересного в них не было. Одно можно сказать: вначале мне вообще непонятно было, на чем же будет строиться обвинение. Потом стало казаться, что оно будет иметь какую-то связь со статье в «Из-

вестиях» и посольством США. Постепенно, к середине июля, уже было ясно, что в обвинение будут входить эпизоды, связанные с Нобелевской церемонией, два эпизода — документы Хельсинкской группы, один эпизод — интервью в Москве и один эпизод — рассказ о жизни в Горьком, напечатанный в «Русской мысли», которую забрали на обыске. Значит, до обыска 8 мая этого эпизода у них в заготовках не было. Мне вообще кажется, что состав обвинения был выбран произвольно и по ходу следствия, а не заранее, с учетом только одного — показать какому-то высокому начальству, как плохо я себя веду за границей. Заранее было решено только взять с меня подписку о невыезде.

25 июля мне предъявили обвинительное заключение. Но уже 20 июля начались разговоры об адвокате. Я сказала, что прошу Резникову* из Москвы. Следователь вначале отказал и настаивал на горьковском адвокате. Эти переговоры длились дня два. После чего он сказал, что адвокат у меня будет тот, которого я прошу, я могу написать заявление о том, что прошу адвоката Резникову, и он у меня это заявление возьмет — до этого брать не хотел. Когда я спросила, как все это оформлять и кому из друзей в Москве я могу это поручить, он ответил, что сейчас не надо ничего делать, а оформить можно потом. Я написала заявление об адвокате, и Резникова приехала.

Чтение дела было 25, 26 и 27 июля. Мне было предъявлено обвинительное заключение, и мы читали дело. Дело было в шести томах. Собственно, само дело было в первых двух томах и частично в третьем. В четвертом — какие-то бумажки, непонятно даже кому нужные или не нужные, и приговоры тем людям, которых я когда-либо упоминала в своих выступлениях. В пятом томе тоже приговоры. В 6-м были письма трудящихся, которые требуют суда надо мной и моей изоляции или наказания.

Обвинительное заключение и эти шесть томов позволили мне лучше представить, в чем заключается мое дело, до этого я все представляла как-то размазанно и неопределенно. Из чтения дела я узнала, что 10 мая у Андрея была выемка, что у него забрали много документов из сумки, магнитофон и еще что-то.

Из чтения дела я узнала также об обысках в Ленинграде у Гальперина и Ирины Исат. У Гальперина они забрали всю

* Елена Анисимовна Резникова — московский адвокат, выступала защитником на нескольких политических процессах. — *Ред.*

частную переписку с границей и со мной и старое охотничье ружье. У Исат забрали довольно много сам- и тамиздата и тоже какую-то переписку. Но ко мне все это никакого отношения не имело. Я решила, что у них были обыски (причем эти обыски были 8-го числа, то есть в тот же день, что и у меня) в связи с тем, что они пытались приехать в Горький. Но, как выяснилось уже здесь, в Америке, никакой такой попытки они не делали.

Я не очень понимаю до сих пор, почему у них были обыски. Ну, ладно у Лесика, я с ним дружна, у него иногда останавливалась; в последние поездки в Ленинград я разговаривала от него по телефону с ребятами и мамой. Но почему обыск у Исат? Во-первых, только при чтении дела я узнала, кто она такая. Это Регина Шамина, жена Толи Шамина, я ее вообще мало знаю. Наташа Гессе с ней дружила, а я даже никогда у нее дома не была и не знаю, где она живет. Мне кажется, здесь произошла ошибка. ГБ много раз могло слышать в наших разговорах фразу о том, что «Регина — главная подруга моей жизни». Все, что мы с Андреем говорим, подслушивается, записывается и тщательно анализируется. Этот обыск — подтверждение. Они спутали Регину Шамину с моей Инкой, с Региной Этингер, которая умерла в октябре 80-го года и на похороны которой тогда Андрея не пустили из Горького. Теперь они нашли «Регину».

Пора, видимо, подробнее рассказать об обвинении. Это ужасно скучно, потому что это уже вчерашний день, но все-таки надо.

Первый эпизод — пресс-конференция 2 октября 1975 года во Флоренции. Пресс-конференция была посвящена выходу в Италии книги Сахарова «О стране и мире». Андрей по телефону во Флоренцию прочел мне свое как бы вступление к этому изданию (русское уже было несколько раньше в «Хронике-Пресс»). Оно называлось «Обращение к зарубежным читателям книги „О стране и мире“». Я прочла полностью текст этого обращения, а потом ответила на вопросы. Меня попросили рассказать о женщинах в политическом лагере, в частности, в связи с тем, что в самом «Обращении» Андрей пишет о необходимости политической амнистии, в первую очередь — для больных и женщин политического лагеря в Мордовии. Я говорила не о правозащитницах, которые там были, а о Марии Павловне Семеновой. Эта женщина, принадлежащая к Истинно Православной Церкви, за исключением редких коротких периодов, когда она была на свободе, почти всю жизнь, всю свою

взрослую жизнь провела в лагере*. Я сказала: «Трагическая судьба Марии Павловны Семеновой». Это действительно моя фраза, а не Сахарова. Причем я вообще не говорила о справедливом или несправедливом осуждении или еще о чем-то в отношении приговора, но слово «трагическая» я сказала. И это было первым пунктом обвинения: я-де в этой фразе клеветую, и Семенова осуждена правильно, что подтверждено приговором, находящимся в моем деле. Я пыталась уже потом, на суде, говорить, что если человек находится в лагере почти всю взрослую жизнь, будь он даже убийцей, то судьба действительно трагическая. А этот человек к тому же находится в лагере за веру. Но это как-то пропускалось мимо ушей, вообще не доходили слова до тех, кто их слышал. Раз в деле есть приговор и она осуждена, значит, мои слова о трагической судьбе являются клеветой.

Следующий эпизод — это пресс-конференция тоже во Флоренции 9 или 10 октября 1975 г. — они обе как-то были объединены в обвинении. Там речь шла о религиозных преследованиях. Дело в том, что в это время (примерно через неделю) в Копенгагене должны были начаться первые Сахаровские слушания. И еще до слушаний в Копенгаген приехали представители официальной советской Православной Церкви (странное сочетание — «Православной» и «советской», но как иначе сказать — не знаю). У них было несколько выступлений, в которых они говорили, что религия никак не преследуется, за веру нет никаких преследований и вообще полная свобода вероисповедания в Советском Союзе гарантирована законом и реально соблюдается. И у меня в ответе на вопрос, правду они говорят или нет, есть слова, которые следствие сочло криминальными. Я говорю (это магнитофонная запись): «Ну, это, мягко говоря, неправда». И как пример привожу судьбу священника Романюка**, который как раз незадолго до этого был осужден. Так вот эти слова: «Ну, это, мягко говоря, неправда» насчет религиозных преследований были квалифицированы как клевета.

Третий эпизод — беседа за круглым столом в газете «Иль темпо» (Рим, 7 ноября), где я рассказала об Андрее Дмитриевиче в связи с присуждением ему Нобелевской премии и где обсуждалось, разрешат ли ему выезд из СССР или не разрешат. Я

* М.П.Семенова (р. 1923) освободилась в октябре 1971 года, в 1972-м вновь арестована и осуждена на 10 лет лагеря и три года ссылки по ст. 70 ч.2 УК РСФСР. — *Ред.*

** О. Василий Емельянович Романюк был осужден в июле 1972 года по обвинению в «антисоветской агитации и пропаганде». — *Ред.*

не могу точно вспомнить, что там мне инкриминировалось, какие именно слова.

Далее — пресс-конференция в Осло. Там мне инкриминировались два момента. Во-первых, что я говорю, что в СССР есть национальная дискриминация и, в частности, она проявляется в отношении к евреям при приеме в высшие учебные заведения. И второе — это очень активно и на следствии, и на суде потом обсуждалось — то, что я сказала, что в СССР есть два рода денег: просто деньги и сертификаты. Об этом пишет Андрей Дмитриевич в книге «О стране и мире», и я об этом говорила не очень всерьез. Я сказала как-то так, между прочим, что называются они «деньги для черных» и «деньги для белых», но следствие и суд этот вопрос о сертификатах восприняли очень болезненно, прямо подняли на «принципиальную» высоту.

Я сидела и работала над этой книгой, и все не кончалась какая-то работа, которую и делать некогда: через две недели уезжать. На душе очень смутно и тревожно — уже несколько дней невозможно избавиться от мыслей о катастрофе около Киева. И телефонный звонок одного из норвежских друзей: умер Тим Гreve, наш норвежский друг. Он был директором Нобелевского института, он приезжал в Рим познакомиться со мной, и мне кажется, что мы стали с ним друзьями с первого взгляда. (Впрочем, у меня это, кажется, было со всеми норвежцами.) Мы вместе ездили положить цветы на могилу погибших во время войны. Сейчас я бы хотела отнести цветы Тиму.

Следующий эпизод обвинения был для следствия очень важным. Это документ Хельсинкской группы 1977 года «Обращение к Белградской конференции». Мне инкриминировалось, что я совместно с Алексеевой и Григоренко* являюсь автором этого документа, что я распространяла этот документ и вывезла его за границу, в Италию. Для подтверждения того, что я могла составлять этот документ вместе с Алексеевой и Григоренко, в деле имеются справки из ОВИРа о том, когда выехал Григоренко и когда выехала Алексеева. В первой говорится, что Григоренко выехал в конце 1977 года; в другой — что Алексеева выехала в декабре 1981 года. Но это другая Алексеева, Лиза Алексеева, моя невестка, которая никогда не была членом Хельсинкской группы. Когда я при чтении настаивала, чтобы следователь заменил эту справку справкой о выезде Люды

* Людмила Михайловна Алексеева и Петр Григорьевич Григоренко (1907-1987) — как и Е.Г.Боннэр, члены-учредители (май 1976) Общественной группы содействия выполнению Хельсинкских соглашений в СССР (Московская Хельсинкская группа). — Ред.

Алексеевой, мне было отказано. Суд тоже отказал и мне, и адвокату, когда мы просили об этом. А Люда Алексеева выехала в феврале 1977 года, и наличие справки о ее выезде было бы важно как доказательство того, что, во всяком случае, совместно с Алексеевой я этот документ составлять не могла. Главное же было в этом эпизоде обвинения, что я вывезла этот документ в Италию 5 декабря 1977 года.

Свидетелем, доказывавшим этот эпизод обвинения в ходе следствия и в суде, был Феликс Серебров*. Серебров на допросах в ходе следствия утверждал, будто Григоренко ему сказал, что я вывезла этот документ в Италию «на себе». Из дела видно, что Серебров дает лживые показания. В деле есть справка ОВИРа, что я выехала в Италию 5 сентября 1977 года. Есть другая справка, что сам Серебров был арестован 18 августа**. Это расхождение в сроках следствие постаралось не заметить.

Создавалось впечатление, что следствию непременно надо было доказать, что я вывезла документ. И, как я понимаю, это было очень важно доказать какому-то высокому начальству. Неважно, сошлись бы там концы с концами или нет, важно, чтобы это было зафиксировано в деле и, таким образом, можно было бы говорить, что уж за границу-то лечиться меня никак нельзя отпускать: я вывожу документы.

Следующий пункт обвинения был также связан с Серебровым — это документ группы в защиту Сереброва, после его ареста. Этот документ объявили клеветническим на основании того, что после ареста Серебров стал считать свою деятельность в Рабочей комиссии по расследованию использования психиатрии в политических целях неправильной и заявил это на своем суде. Исходя из того, что Серебров переоценил свою работу в Рабочей комиссии, а в документе говорится, что он арестован за свою справедливую деятельность в ее составе, документ был признан клеветническим, а мы, все те, кто его подписал, в частности я, — клеветниками.

Далее — следующий эпизод — статья в «Русской мысли» от 26 марта 1981 года о жизни Сахарова в Горьком. Статья явно

* Феликс Аркадьевич Серебров, член Московской Хельсинкской группы и Рабочей комиссии по расследованию использования психиатрии в политических целях. В 1977 году арестован по обвинению в подделке записи в трудовой книжке, осужден на год заключения. Вновь арестован в январе 1981 и осужден на четыре года лагерей и пять лет ссылки по ст. 70 УК РСФСР. — *Ред.*

* По иным источникам (сообщения телеграфных агентств и «Хроники текущих событий»), 22 августа. — *Ред.*

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



переведена с какого-то языка снова на русский — это, видимо, какой-то корреспондент из аккредитованных в Москве беседовал со мной, и в газете оказался мой рассказ в обратном переводе. Это не авторизованный и не мой текст, и вообще неизвестно чей. Там есть абзац, в котором меня спрашивают, что мы знаем о событиях в мире. И я говорю, что, к сожалению, знаем очень мало, потому что неимоверное глушение не дает слушать зарубежное радио. Корреспондент, вероятно, спросил: «А советские газеты разве вы не можете читать?» Я говорю: «В советских газетах всё сплошная ложь»*. Из всей статьи, в которой много важных подробностей о жизни Сахарова в Горьком, инкриминировалась мне только эта фраза.

Последний эпизод относится к 1984 году, когда у меня был диагностирован инфаркт и я пыталась добиться госпитализации для себя и для Андрея. Ко мне неожиданно пришел приехавший в Москву на несколько дней французский общественный и политический деятель Франсуа Леотар. Он снял фильм любительской камерой, задал мне несколько вопросов и снял меня отвечающей на них. Я сижу совсем больная (это видно) и говорю ему о своем инфаркте и что хочу добиться, чтобы меня вместе с Андреем положили в больницу или чтобы Андрей приехал ко мне. Это право любого ссыльного, даже официально ссыльного, приехать к тяжело больным родственникам. Нам — Андрею — в этом отказывают. И когда Леотар спрашивает: «Что же с вами теперь будет?» — я отвечаю: «Я не знаю, по-моему, нас убивают!» Эта фраза «нас убивают» интерпретировалась следствием как клеветническое сообщение о том, что кто-то из членов правительства (или не знаю кто еще) берет пистолет и стреляет в нас. Вот и все эпизоды, предъявленные мне следствием.

Во время чтения дела я имела возможность познакомиться с тем, кого же допрашивали по моему делу. Из допрашиваемых Саша Подрабинек, Слава Бахмин и Мальва Ланда** никаких показаний по существу (или не по существу) не дали. Допра-

* В тексте «Русской мысли», озаглавленном «Говорит Елена Сахарова»: «Теперь мы должны довольствоваться советскими газетами. Конечно, это сплошная ложь, но при внимательном изучении из них можно кое-что узнать» (перевод из французского журнала «Экспресс», 1981, 31 января). — *Ред.*

** Александр Пинхосович Подрабинек, фельдшер, основатель Рабочей комиссии по расследованию использования психиатрии в политических целях. Вячеслав Иванович Бахмин, программист, член Рабочей комиссии. Мальва Ноевна Ланда, геолог, член Московской Хельсинкской группы. В прошлом находились в заключении или ссылке за правозащитную деятельность. По-видимому, допрашивались после отбытия сроков заключения, кроме Мальвы Ланды, находившейся в ссылке. — *Ред.*

шивался Кувакин*, который тоже, в общем, никаких показаний, важных для следствия, не дал, но, может быть, он создавал какую-то атмосферу отрицательного отношения ко мне. У него были такие фразы, что он-де встречался со мной в разных домах на разных днях рождения (не бываю нигде, это знает вся Москва, и уж не зовут), в частности, у Тани Великановой**. Что от друзей он знает, что я играю ведущую роль в Хельсинкской группе; знает, что я собирала разные подписи под разными обращениями; что он виделся со мной около судов. Пожалуй, это все, что было сказано Кувакиным. И допрашивался Серебров: об этом я уже сказала.

Самым важным — не для хода следствия или моей подготовки к суду, а для меня — при чтении дела был допрос Ивана Ковалева. Иван Ковалев тоже не давал никаких показаний в отношении меня, но он давал собственноручные показания (они занимают страниц 15 в деле) о положении заключенных в лагерях. Его показания строятся на том, что его обвинили в антисоветской пропаганде, меня — в клевете на советский строй, но в документах нашей группы мы, в частности, много писали о положении политзаключенных. И то, что мы утверждали, часто объявлялось клеветой. Теперь, став политзаключенным, он может сам рассказать и дать показания о том, каково же положение в лагерях. Далее он говорит о питании, о работе — о питании заведомо недостаточном, полуголодном, о труде принудительном, заведомо запрещенном международными конвенциями; о системе наказаний за невыполнение плана: о лишении свиданий, лишении переписки, лишении ларька, о помещении в ПКТ и штрафной изолятор. И потом он подробно пишет о себе, о том, что он провел 353 дня в ПКТ, что все это время он получал пониженное питание, подвергался пытке холодом и голодом, был лишен переписки и ларька. К показаниям Ивана Ковалева прилагается лагерная характеристика как один из документов моего дела. Характеристика подписана начальником лагеря. Я ее несколько раз переписывала и пыталась передать в Москву, но, к сожалению, она, видимо, не до-

* Всеволод Дмитриевич Кувакин, юрист, член Свободного межпрофессионального объединения трудящихся (СМОТ). В 1981 году осужден по ст. 70 УК РСФСР на год лагерей и пять лет ссылки. — *Ред.*

** Татьяна Михайловна Великанова, математик, член-учредитель Инициативной группы по защите прав человека в СССР (1969). Арестована 1 октября 1979 года, осуждена по ст. 70 УК РСФСР на четыре года лагерей и пять лет ссылки. После лагерного срока в Мордовии отбывает ссылку в Казахстане. — *Ред.*

шла. В характеристике утверждается, что Ковалев действительно провел 353 дня в ПКТ, что он не выполняет плана, невежлив с начальством, груб. Кончается характеристика фразой, которая как бы является ответом на нынешнее интервью Горбачева*, заявившего, что у нас за убеждения не судят и что около 200 человек сидят за свои действия, а не за убеждения. В характеристике на Ивана Ковалева, находящейся во втором томе моего следственного дела, сказано: «Своих антисоветских убеждений не изменил и на путь исправления не встал». Таким образом, этот официальный документ опровергает то, что заявляет генеральный секретарь ЦК КПСС, и подтверждает, что Иван Ковалев осужден за свои убеждения и целью его содержания в лагере является изменение его убеждений.

Чтение дела продолжалось три дня. Я очень обрадовалась приезду Резниковой — он показался мне неким прорывом из нашей изоляции. Я давала ей читать все записки, которые к тому времени получила от Андрея, рассказывала, как его госпитализировали. Ну, и вместе с ней мы читали дело. Ей не нравилось, как я вела себя на следствии, она полагала, что лучше бы я давала ответы и объяснения, и ей уже тогда не нравилось, как я собираюсь вести себя на суде, не в смысле того, что я ни в чем не признавала и не могла признать себя виновной, а просто она не одобряла моей позиции, хотя понять на этой стадии ее мотивы мне было трудно. Но по-человечески ее приезд был для меня положительным, радостным событием. Обедать мы с ней ходили в кафе недалеко от прокуратуры, а не в столовую прокуратуры, потом сидели курили в скверике на ул. Свердлова. А позже я видела все это в одном из фильмов, показанных на Западе. В фильме не говорилось, конечно, что я ожидаю суда, что это мой адвокат, а преподносилось так, будто я с приятельницей свободно гуляю по городу.

Пару раз я ее возила по городу, по набережной, показала какие-то красивые места, откос, однажды подвезла к нашему дому. Она даже вышла из машины, подошла к парадному и видела милиционеров и гебешников. В эти дни с ней произошел инцидент, который был явно накладкой у КГБ. На второй день чтения дела мы договорились с ней встретиться около кафе в 10 часов и вместе идти читать дело. Я подъехала, вышла из ма-

* Интервью газете «Юманите» (1986, 4 февраля). -- Ред.

шины, а она увидела меня и пошла мне навстречу. Мы поздоровались, и гебешник, видимо, не знавший ее в лицо, сразу схватил ее и поволок. Она испугалась, закричала: «Что вы делаете, я же адвокат!» — и стала доставать свои документы. Но тут подбежал другой гебешник, который уже знал Резникову в лицо, и ее отпустили. Потом она говорила, что очень жалеет, что крикнула: интересно было бы, что бы они сделали и куда бы ее поволокли.

Во время чтения дела мы заявили три ходатайства. Первое ходатайство было наше общее о вызове свидетелем в суд Сахарова. Другое ходатайство Резниковой было о запросе из военной прокуратуры справки о реабилитации отца и мамы. Третье ходатайство — о запросе из ОВИР СССР справки о времени выезда Людмилы Алексеевой, не Елизаветы, справка на которую в деле была, хотя совсем не нужна. На все ходатайства мы по ходу чтения дела получили отказ от следователя. В отношении справки о реабилитации он сказал ей: «Запрашивайте сами». И она сама запросила военную прокуратуру.

Резникова уехала после чтения дела, а я стала потихоньку готовиться к суду. Когда будет суд, я, конечно, не знала. Могла только предполагать, что он будет скоро, потому что весь ход дела предполагал быстрое решение вопроса. Да я и хотела, и надеялась, и все время ждала: будет суд, а потом выпустят Андрея.

Время от чтения дела до суда прошло довольно быстро. 7 или 8 августа — хоть убей, не помню — я получила вызов в суд. Мне кажется, что 7-го, но в удостоверении ссыльной у меня написано, что суд кончился 10-го, — значит, это было 8-е. Суд продолжался два дня. Рассказывать суд ужасно скучно, но надо. Он проходил в здании областного суда в центре города, на главной улице. Это здание было губернским судом до Октябрьской революции, и здесь судили героя романа Горького «Мать». Не помню, как его звали, Власов или Заломов, — которая из этих фамилий является литературной, которая настоящей. Но судили его в этом здании, тоже на втором этаже, только зал был больше, чем тот, в котором судили меня. Однако и мой зал был не маленький. Я насчитала в зале около 85 человек, а при желании там могло поместиться человек сто. И ни одного знакомого лица (хотя знакомых наших кагебешников было много).

Судьей был заместитель председателя областного суда Воробьев, имя-отчество не помню. Фамилии заседателей не помню.

Прокурор — Перелыгин*, тот, который когда-то Андрею объявлял то ли режимные условия, то ли еще что-то. Оба очень отличались манерой поведения и характером речи от следователя, который производил впечатление юридически грамотного и интеллигентного человека. Риторический вопрос — может ли советский следователь быть интеллигентом. По ходу следствия он ни разу не допустил никаких нарушений, никаких грубостей, все формально было соблюдено и очень корректно. Но потом, когда я увидела Андрея, я узнала, что он писал заявление Колесникову с просьбой о привлечении также и его к ответственности за те якобы преступления, которые мы совершили вместе, или те, что делала я по его доверенности, и о вызове в суд в качестве свидетеля. Оба эти документа, так же как и ответ Колесникова, не были приобщены к моему делу. Это очень серьезное процессуальное нарушение, фактически подлог (см. приложение № 8 — заявление А.Д.Сахарова о вызове в суд в качестве свидетеля). На основании одного этого дело может быть пересмотрено. Вот и суди тут по впечатлению. Судья производил впечатление человека и юридически, и вообще не очень грамотного, небольшой культуры, хамоватого. Прокурор тоже.

Допрос в суде начался с вопроса, признаю ли я себя виновной. Ответ был: «Виновной себя категорически не признаю, потому что никогда, нигде и ни при каких обстоятельствах не распространяла заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный или общественный строй, государственный или общественный строй других стран, а также частных лиц».

Я потребовала, чтобы в суд вызвали моего мужа. У меня была такая позиция по первым четырем эпизодам. В Италии на пресс-конференции 2 октября я читала текст Сахарова «Обращение к зарубежным читателям книги „О стране и мире”» — первый пункт обвинения. И мне приписывают цитаты из Сахарова как клеветнические. Это не может быть моей клеветой, я выполняла его поручение, и только Сахаров может сказать, точно или нет. И в отношении нобелевской пресс-конференции, где я старалась, отвечая на вопросы, максимально точно излагать взгляды Сахарова по затронутым проблемам, только он

* А.З.Перелыгин, заместитель прокурора Горьковской области. Объявил А.Д.Сахарову режим его ссылки; дважды угрожал карами за нарушение этого режима, установленного, по его словам, Указом Президиума Верховного Совета СССР: 30 января 1980 — за публикацию, через Е.Г.Боннэр, заявления Сахарова о своей ссылке; 4 ноября 1982 — за публикацию заявления о краже рукописей. — *Ред.*

может сказать, ошибалась ли я умышленно, заведомо ли клеветала или по неквалифицированности ошибалась. И Сахаров должен быть свидетелем. Кроме того, я настаивала, чтобы Сахаров был в зале суда как мой единственный и ближайший родственник. Конечно, суд отклонил это требование, хотя оно было поддержано адвокатом.

Далее я рассказала о себе приблизительно в том же ключе, в каком была написана моя биография для суда над Яковлевым. Я сказала, что вообще-то судить за клевету надо не меня, а Яковлева, в миллионных тиражах распространяющего клевету обо мне, но, когда я обратилась в суд, мне было отказано в защите от клеветы.

Я сказала, что суд если не формально, то по существу является ответом на мое заявление о поездке для свидания с матерью и детьми. И если я действительно совершала преступления, то почему меня судят сейчас, ведь большая их часть — четыре эпизода — относится к 1975 году. Почему же надо судить спустя девять лет, в 1984 году? Если это действительно было преступление, то его надо было пресечь сразу же. Я говорила о том, что суд не правомочен судить меня в отсутствие единственного и главного свидетеля — академика Андрея Сахарова, по поручению которого и в соответствии со своими убеждениями я выступала в Осло, принимала Нобелевскую премию, так как его не пустили в Осло для участия в церемонии, по поручению которого я передавала другие документы для публикации, в частности письмо Сиднею Дреллу, которое называется «Опасность термоядерной войны». Это письмо вызвало бурные отклики, скажем так, трудящихся. После выступления четырех академиков, критиковавших Сахарова за письмо д-ру Дреллу, Андрей Дмитриевич получил почти три тысячи писем. Эти четыре академика: Прохоров, Дородницын, Тихонов и Скрябин — в своем выступлении в газете «Известия» даже не рискнули привести название статьи Сахарова, голословно обвиняя его в том, что он выступает против мира и за войну.

На суде я привела несколько цитат из этого письма. Оно очень важно для понимания того, как создается общественное мнение на основе клеветы (см. Приложение №3). Пока я говорила, меня много раз прерывал судья Воробьев. Он все вре-

меня говорил, что это не относится к делу, но я продолжала. У меня было такое ощущение, что заставить меня замолчать он не может, ему формально надо соблюсти все, что записано в Уголовно-процессуальном кодексе. И вот это их стремление сделать все как надо давало мне возможность говорить все, что я хочу, хотя меня и прерывали.

Много о суде говорить не буду. Андрей Дмитриевич в своем письме Александру рассказывает о нем. Я хочу только рассказать один, может быть, смешной эпизод суда и свои впечатления о двух свидетелях.

Эпизод, инкриминируемый мне и на суде явившийся чуть ли не главным, — это то, что я сказала на пресс-конференции в Осло, что в СССР имеются два рода денег: деньги для черных и деньги для белых, — имея в виду сертификаты и обыкновенные деньги, в которых советский человек получает зарплату, пенсию и которыми пользуются все в обычной жизни. Сертификаты получают немногие — работающие за границей дипломаты и приравненные к ним: писатели, киношники, ученые. Для опровержения следствием была запрошена справка из министерства финансов. Эта справка гласила, что двух видов денег в СССР нет, имеется только один рубль советский, но имеются также чеки Внешторгбанка СССР, которыми оплачиваются люди, работающие за границей, публикации и еще что-то такое. Зная, что этот эпизод будет фигурировать в суде, я заранее приготовила два рубля, рубль обычный и рубль сертификатный, и они лежали у меня в сумке. Я взяла с собой документ, подтверждающий, что Андрей Дмитриевич получает сертификаты за публикацию научных статей за границей. Это такое вежливое письмо из Внешторгбанка, где пишется: «Уважаемый Андрей Дмитриевич! Просим сообщить, в каком виде перевести вам причитающийся гонорар, в советских рублях или в чеках Внешторгбанка». Обычно Андрей отвечает, что просит перевести в чеках Внешторгбанка, и спустя какой-то срок получает чеки по почте ценным письмом. Вот эта бумага у меня тоже была с собой.

Когда дело дошло до этого эпизода, я сказала, что я простой нормальный человек и вещи вижу такими, как они есть. Вот у меня есть такой рубль и такой рубль. Я знаю, что за один рубль я могу купить что-то определенное, иногда не то, что мне хочется. А если то, что хочется, то надо постоять в очереди или как-то специально доставать. И знаю, что за другой, сертификатный рубль я могу купить те вещи, которые захочу, без очереди, лучшего качества. Я знаю, что сертификатный рубль про-

дается на черном рынке в стоимости 1:2, а иногда и выше, то есть за один сертификатный рубль люди дают тем, кто его продает, два рубля обычных и это преследуется как валютная операция. Вот они оба перед вами. Я считаю, что действительно есть два вида денег. После этих слов взорвался прокурор. Начал кричать, что я показываю деньги, которыми меня оплачивает ЦРУ, что я платный сотрудник ЦРУ и что это они сертификатами меня и оплачивают.

Я тоже на повышенных тонах начала ему отвечать и кричать, что ничего подобного, что я в ЦРУ не работаю, что ЦРУ меня не оплачивает, что эти деньги получает Андрей Дмитриевич за публикацию своих научных статей на Западе и вот документ, подтверждающий это. И передаю судье бумагу, где спрашивают Андрея, в каком виде перевести ему деньги из Внешторгбанка. «Прокурор меня оскорбил, — заявляю я, — если он не извинится, то я отказываюсь принимать участие дальше в судебном заседании». Это я уже не говорила, а кричала еще громче, чем прокурор. Судья ничего не ответил, а через несколько мгновений сказал: «Суд удаляется на совещание». И суд удалился. Спустя несколько минут они вернулись, и судья сказал: «Суд принял решение: прокурору попросить извинения у подсудимой». И Перелыгин под нос буркнул: «Извиняюсь». Ну, в общем, я была вполне удовлетворена.

Теперь о свидетелях. Свидетелей в суде было два. Первый — Феликс Серебров; о его показаниях подробно пишет Андрей Дмитриевич в своей надзорной жалобе, и по поводу его показаний очень по-деловому, вполне удовлетворительно, на мой взгляд, выступала Резникова, доказав по числам, по датам, что Феликс говорит неправду. Надо сказать, что эта часть выступления адвоката не была внесена в протокол суда, как потом выяснилось при чтении протокола, и никак не отразилась на приговоре.

Серебров, когда его привели в зал, вызвал у меня своим внешним видом ощущение, что передо мной тяжело, неизлечимо больной человек. Я не помню, чтоб кто-то из эзков в момент освобождения так плохо выглядел. У него желто-землистый цвет кожи, он безумно похудел, впалые глаза, впалые щеки, череп, обтянутый кожей, в синей куртке заключенного. Он выглядел, как те узники Освенцима, которых мы видели в документальных кадрах роммовского «Обыкновенного фашизма» или у Вайды в фильме «Пейзаж после битвы». Он вызывал ужасную жалость и одновременно, когда он говорил такую абсолютную неправду, чувство, которое я не могу назвать... Ну,

в общем, не хотелось быть с ним вместе в одном помещении. Вот так бы я сказала.

И говорил он не только эти абсолютно не сходящиеся с истиной данные, но и еще какие-то вещи, которые создают общее настроение. Он сказал такую глупость — на мой взгляд, явно подсказанную: «Елена Боннэр имеет очень большое влияние на своего мужа, и плохое влияние. Вот я могу рассказать такую историю, что однажды Сахаров сам написал очень хорошую статью («сам написал» — это слова Феликса), но когда ее все начали подписывать, то отказался ее подписывать, потому что Елене Боннэр она не понравилась».

В этом отрывке, который я сейчас буквально процитировала, всё ложь. Если Сахаров писал сам статью, то он ее не показывал Сереброву, а подписывал сам и никогда не давал вообще подписывать свои статьи кому бы то ни было. Он их сам писал и сам подписывал, сам нес за них ответственность. Другое дело, что он, может быть, со мной когда-нибудь и советовался по поводу того, что писал, но никогда не советовался с Серебровым. И вообще он не был близко знаком с Серебровым. Серебров в основном стал бывать у нас в доме уже после высылки Сахарова в Горький. Впервые его привела Маша Подъяпольская: он пришел советоваться с Сахаровым перед своим арестом 77-го года, когда ему уже было предъявлено обвинение в подделке документов и он находился еще на свободе, но с подпиской о невыезде. А потом он стал бывать часто, когда стал членом Хельсинкской группы, уже в 1981 году.

Вторым свидетелем был Кувакин. Если в своих письменных показаниях Кувакин говорил, что он со мной знаком и знает, что я играю ведущую роль в Хельсинкской группе, даю подписывать документы всем и составляю их, то на суде он уже даже не утверждал, что знаком со мной. На суде он сказал, что встречался со мной около различных судов над диссидентами и практически не знаком. Один раз был у нас дома вместе с Гершуни*. Он сказал: «Я был один раз в доме Сахарова, но Боннэр дома не было. И один раз ее видел, когда уходил от Меймана**, а она с мужем пришла к Мейману». Так что практически

* Владимир Львович Гершуни, член СМОТа и редколлегии независимого журнала «Поиски». Впервые арестован в 1949 по ст. 58-10 старого УК. Арестован в 1969 по ст. 190-1, пять лет провел в следственных и психиатрических тюрьмах. Последний арест (по той же статье) — май 1983. Направлен на принудительное лечение в психиатрическую больницу специального типа. — *Ред.*

** Наум Натанович Мейман, математик, член Московской Хельсинкской группы. — *Ред.*

его показания не имели никакого значения для суда. И вообще можно было думать, что его привезли на суд только для того, чтобы был не один свидетель, а хотя бы два.

Остальные доказательства моей вины — это приговоры, целый том приговоров людям, которых я когда-либо упоминала. В связи с этими документами я приготовила к суду и отдала список 90 с лишним человек, которых я упоминала в Нобелевской лекции Сахарова, сказав, что раз уж вы берете эти приговоры как доказательства, то присовокупите еще, у вас не все лица поименованы, которых я когда-либо упоминала, пусть уж будут все.

Судья взял этот список и приобщил его к делу. Доказательством моей вины была справка из министерства финансов, газета «Русская мысль», в которой была опубликована не авторская статья о жизни Сахарова в Горьком, и пленки с записями моих пресс-конференций, часть которых я свободно везла через границу. Резникова сказала, что, раз я их свободно и никак не пряча везла через границу, значит, я была убеждена, что это не клевета. Была здесь и видеокассета с записью фильма, снятого Франсуа Леотаром и показанного в конце мая 1984 года по французскому телевидению. Никаких экспертиз того, клевету я говорила или правду, не было. Поэтому мне вообще не было понятно все это словоговорение. Что такое клевета, заведомо ложные измышления? Судья и прокурор говорят, что я заведомо знаю, что это клевета, потому что по своему развитию (не знаю, что они подразумевали под этим) не могу не знать заведомо, что распространяю клевету.

В последнем слове, которое очень понравилось Андрею, но которое теперь я уже забыла, я вновь повторила, что виновной себя не признаю, вновь повторила, что лучше бы пустили меня поехать лечиться и увидеть детей, чем судить. Чем позориться на весь мир, держа Сахарова в полной изоляции в Горьком, а теперь еще и в полной изоляции, в течение трех месяцев, от жены, проводя суд беспрецедентно в смысле нарушения гласности, когда даже членов семьи нету в зале и муж содержится в больнице именно для того, чтобы он не присутствовал на суде, чем все это — лучше восстановить «советскую законность». Тут я напомнила, что ее уже один раз восстанавливали. Далее я говорила, что Сахаров, который мог бы быть единственным реальным свидетелем, не вызван в суд. Не только в зале суда нет ни одного члена семьи или знакомого, но и в городе нету никого, и, наверно, во всем мире никто не знает, что

сейчас идет суд*. В конце своего последнего слова я вновь сказала, что «виновной себя не признаю и никаких просьб к суду у меня нет».

Суд довольно быстро написал (или переписал написанный заранее) приговор. Через час или полтора приговор был зачитан. Все, что было в обвинительном заключении, вошло в приговор. Я была приговорена к пяти годам ссылки.

Мне надо рассказать еще немного о тех документах, которые были в моем судебном деле. Кроме важного документа — показаний Ивана Ковалева и справки из лагеря, характеристики на него, — там были документы о моей болезни и вообще подробная выписка из истории болезни поликлиники Академии наук. Тогда я впервые узнала, какой инфаркт я перенесла — крупноочаговый переднебоковой и задней стенки. Кроме того, в этой справке было написано о положении с глазами и о том, что до этого в 1974 году я перенесла операцию тиреотоксикоза. В общем, выписка была подробной и реальной.

Были документы, подтверждающие мою службу в армии с 1941 года, справка о том, что я являюсь инвалидом войны второй группы. Были справки из ОВИРа о моих поездках, об отъезде детей, о поездке мамы, о выезде Лизы Алексеевой. Была справка о болезни Андрея, о том, что он страдает кардиосклерозом, ишемической болезнью и атеросклерозом сосудов головного мозга. Никаких новых экстраординарных данных по состоянию здоровья Андрея в этой справке не было.

Сразу же после суда я написала заявление о кассации, очень короткое. «Прошу назначить кассационное рассмотрение, так как я с приговором не согласна». Подробное заявление о кассации должна была писать Резникова уже в Москве. Я очень быстро с ней прощалась. Я торопилась домой, так как мне казалось, что Андрея больше держать в больнице незачем и его отпустят. Но мои ожидания оказались напрасными. Андрей не был отпущен ни в этот день, ни в последующие. Опять началась моя жизнь без него, уже после суда.

Через несколько дней меня вызвали для чтения протокола суда и написания замечаний. Надо сказать, что я к этому была не готова, я не знала, что это вообще делается и как. Чтение протокола вызвало у меня некоторое удивление: там были

* Первое сообщение о суде над Е. Г. Боннэр появилось 23 августа 1984 года в заявлении госдепартамента США. Даты суда, ошибочно указанные в этом заявлении, и обвинения, предъявленные Е. Г. Боннэр, оставались неизвестными еще около года — Ред.

неточности, очень тенденциозные, какие — сейчас не помню. Я написала очень подробные замечания к протоколу и оставила себе копию этих замечаний. Потом Андрей их читал. Если бы у меня была возможность их получить здесь, я бы их напечатала — это очень интересно. Во-первых, все аргументы адвоката почти полностью исчезли из протокола заседания суда. Очень многое из того, что я говорила, когда меня судья прерывал: о деятельности Андрея, о письме Дреллу, о значении его правозащитной деятельности, — все было исключено. Протокол судебных заседаний выглядел, как будто суд проходил очень спокойно, а извинений прокурора не было. Я все это вписывала заново в свои замечания. Были какие-то другие тенденциозные изменения. Замечания к протоколу я ходила писать три дня.

Снимают... — Что делали с Андреем во время голодовки. — Зима. — Каким языком с нами разговаривают. — «Счастливые вы...» — Живой человек или символ? — «Тихая дипломатия» и права человека.

А вообще — как я жила это лето? С одной стороны — очень трудно, с другой — в общем, загруженно. Ну, суд, это много работы, допросы, их было много, больше 20-ти, обыск, приведение дома в порядок после обыска, приведение дома в порядок в надежде, что вот-вот отпустят Андрея, покупка каких-то вещей, зимних ботинок, носков, шапки, еще чего-то, свитер, белье теплое покупала, потому что я не была уверена, что меня оставят с ним, и думала, что ему надо все заготовить для жизни без меня. Ко дню рождения без него купила ему письменный стол. Потом был приезд Резниковой, обдумывание каких-то связанных со следствием проблем, решение вопроса, что мне надеть на суд. Я довольно много ездила по городу, искала юбку, потом искала блузку. Купила юбку и блузку, потом надо думать, что же на ноги надеть. Какие-то туфли у меня были в Горьком, но хотелось получше, а вообще-то я там оставалась практически раздетой.

Во время одной из поездок на рынок, покупая ягоды, я увидела, что меня снимают. Я видела, что снимают киноаппаратом, вернее, подумала, что это киноаппарат. Но у меня и в мыслях не было, что снимают меня для показа на Западе, и это был единственный раз за все эти годы, когда я видела, что меня снимают. Теперь я вспоминаю, что был один случай, про который рассказывал Андрей: он вышел с Димой, чуть ли не в первый

Димин приезд в 1980 году, за хлебом и увидел, что их снимают. Он закрыл лицо руками, а потом повернулся и ушел. Это он мне рассказал, но вспомнила я это только теперь, здесь, в Америке. И как я заметила однажды, что меня снимают на рынке, я тоже вспомнила только здесь, в Бостоне, когда смотрела фильмы — Андрюшу и себя на экране. Я еще вернусь к этому и постараюсь рассказать о всех своих мыслях в связи с киноэпопеей, представленной Западу Виктором Луи.

Продолжала разводить цветы на балконе и около балкона. Цветов было много. Табак пах одуряюще. Было много и других буйно цветущих цветов. Очень пахли левкой. На улице из посеянных — матиола. Выросли мальвы. Вот такой зеленый, красивый и душистый был у меня балкон и маленький квадратик земли перед ним летом 1984 года.

Ездил на рынок, делала передачи Андрею, варила варенье, много варений. Опять же думая, что вдруг Андрей останется без меня, чтобы у него был запас варенья на всю зиму.

После суда и писания замечаний к протоколу я осталась в пустоте. Мои контакты со следователем кончились. Никто у меня не брал записок и передач Андрею, и делать мне вроде стало нечего. Сведений о нем никаких не было, и я послала телеграмму главврачу с запросом о состоянии его здоровья и с просьбой к нему и лечащему врачу сообщить мне, что же все-таки с мужем. 15 августа утром я получила бумажку, в которой сообщалось, что Обухов и лечащий врач Евдокимова могут принять меня в горздравотделе в два часа дня. В горздравотделе, а не в больнице — они все еще боялись, вдруг Андрей как-нибудь меня увидит или я его. Я поехала в горздрав.

Меня приняли Обухов и Наталья Михайловна Евдокимова, те самые, которых весь мир видел в фильме. Обухов сидит на скамеечке и показывает зрителю так, чтобы Андрей Дмитриевич не замечал, журнал «Тайм» или не помню какой, на котором дата, в доказательство, что это 84-й год. Обухов, который идет садовой дорожкой вместе с Андреем Дмитриевичем, демонстрируя «здорового» Сахарова всему миру. И Евдокимова, которая дважды в одном и том же фильме по-разному докладывает о состоянии здоровья Сахарова, вполне хорошо, по ее словам, и о том, как его кормят и как его лечат.

Эти два человека убеждали меня, что Андрей Дмитриевич тяжело болен, у него тяжелая аритмия, глубокие нарушения

сосудов головного мозга и он не может быть выписан из больницы, а мои посещения или его контакты со мной вредны для его здоровья. На этом мой разговор с ними кончился. Правда, когда они мне говорили, чем они его лечат, было вновь упомянуто лечение дигиталисом. Я пыталась им доказать, что дигиталис вреден Андрею Дмитриевичу, что при наличии экстрасистолии это все равно, что давать яд, но из этого ничего не получилось.

Спустя два дня после этого разговора мне удалось купить учебник педиатрии в магазине, где продаются книги, изданные в соцстранах. Учебник был переведен с болгарского. Я послала его Обухову, отчеркнув те места, где написано, что дигиталис при врожденных или юношеских экстрасистолиях, которые сохраняются всю жизнь, противопоказан.

Так я и жила до 6 сентября, ничего не зная про Андрея, кроме того, что мне сказали Евдокимова и Обухов, тоскуя, стараясь держать себя в руках. 6-го пришла ко мне секретарь суда и принесла повестку о вызове в суд на 7-е число на кассационное заседание. Беспрецедентно! Оказалось, что Верховный суд РСФСР приезжает на кассационное заседание в Горький. Это для того, чтобы соблюсти даже тут такую возможность для осужденного, как присутствие на кассационном суде, и для того, чтобы никто в Москве не узнал, что суд надо мной уже состоялся и я осуждена. Меня вызывают на кассационный суд, но кассационный суд проходит не в Москве, а в Горьком. Потом спустя два года я узнаю, что в Москве все ждали кассационного суда и никто не мог узнать, когда же он был и был ли вообще. Так и не узнали, когда же была кассация, как до этого ничего толком не знали о суде, и адвокат никому ничего не ска- зала.

7-го я явилась на кассационный суд. Приехала Резникова. Она повторила свои доводы. Мне дали высказаться, я повторила все, что говорила суду, и сказала, что виновной себя не признаю. После этого было определение, ничем не отличающееся от приговора, и я стала формально ссыльной. Сразу же из зала суда, где, между прочим, телевидение или кто-то снимал меня без конца — именно не на суде, а на кассационном заседании, — меня попросили пройти на первый этаж в комнату такую-то к начальнику такому-то. Там был начальник 5-го отдела МВД Горьковской области, который отобрал у меня паспорт и дал мне справку, что я являюсь ссыльной. Заявил на мой вопрос, что за вещами в Москву поехать я не имею пра-

ва, что никуда за пределы Горького выезжать я не имею права, что местом ссылки мне назначен Горький и что я имею все права граждан СССР, кроме права покидать этот город.

Тогда я ему заявила, что я инвалид войны и пусть мне как инвалиду войны будет обеспечение продуктами и другие льготы, положенные инвалидам войны. Он немножко растерялся, но, в общем, не возражал. Вся моя беседа с ним продолжалась, пять-семь минут. Он мне еще сказал, что 12-го числа я должна явиться для получения удостоверения ссыльной в ОВД Приокского района города Горького, и назвал фамилию, к кому.

Так я стала формально ссыльной. После этого я опять очень быстро распрощалась с Резниковой и заторопилась домой в надежде, что Андрей будет дома. Но Андрея дома не было.

Я многое пропустила. Во-первых, за это лето я несколько раз обращалась в неотложную помощь. Один раз, видимо, гебешники услышали ночью мои стоны, и неотложку мне вызвал якобы милиционер, как мне было сказано. Я обращалась в неотложную помощь, понимая, что им очень важно довести меня здоровой до суда и поэтому я могу их не бояться. Интересно, что во время суда было организовано дежурство врача и сестры и мне предложили, если я хочу, перед каждым заседанием делать укол. Я делала дважды анальгин с папаверином и ношпой. Так что бывают случаи, когда и на горьковскую медицину можно положиться. Кроме того, во время следствия Колесников сам предлагал и доставал мне необходимые лекарства, то есть они прекрасно знали, что я нуждаюсь в лекарствах. Однажды, давая мне тимоптик, он даже сетовал, что вот долго его не было, потому что в СССР тимоптика нет и привезли из Финляндии. Вначале он брал с меня деньги, а потом перестал, сказав, что, так как я инвалид войны, деньги брать с меня не положено. Дошло до того, что он меня спрашивал, не нуждаюсь ли я еще в чем-нибудь. Я ему сказала, что мне нужен растворимый кофе. «Нужен» тут, конечно, понятие относительное, можно было купить и горьковского плохого кофе, но я ему так сказала. Прошло день или два, и он мне вручил две банки кофе по 6 рублей, как и в продаже, когда он есть. Только никогда нету. Так что очень они старались, чтобы я дошла живой и здоровой и в полном благополучии до суда.

Что еще примечательного было в этот период? Ничего. Тоска, ужасная тоска, беспокойство за Андрея ужасное. И, как я ни беспокоилась, того, что с Андреем произошло, я представить себе не могла.

На следующий день после кассации, 8 сентября в середине дня, часа в два, я поехала в ОВД отвозить документы о том, что я прошу вернуть мне забранные у меня на обыске вещи, в частности, приемник, пишущую машинку, магнитофон и прочее, и разрешить мне поездку в Москву за вещами, иначе получается, что я приговорена не только к ссылке, но и к конфискации имущества, поскольку я не имею к нему доступа.

По дороге меня остановило ГАИ — я не поняла, почему. Когда я прижалась к поребрику, из машины, которая ехала за мной (на этот раз одна черная «волга»), вышла женщина в белом халате. Я узнала медсестру, которая всегда ухаживала за нами, — единственная медсестра, которую допускали, когда мы лежали в больнице после голодовки за Лизу и когда я была с Андреем в больнице, где он лежал с ногой. Ее зовут Валя. Она сказала: «Елена Георгиевна, вас просят к пяти часам вечера приехать в больницу к главврачу Олегу Александровичу Обухову». Я спросила, как Андрей Дмитриевич. Она мне сказала: «Я ничего не знаю», — и вернулась к своей «волге».

Я доехала до ОВД, отдала свое заявление. Потом купила хлеба и еще чего-то на рынке, но немного, потому что было уже поздно, четыре часа, а рынок в это время уже очень бедный, почти пустой, и поехала в больницу.

В больнице, в кабинете Обухова, кроме него были профессор Вагралик, кардиолог, который пользовал, если можно так сказать, нас с Андреем во время голодовки за Лизу (это он ходил и к нему и ко мне в разные больницы и на наши вопросы друг о друге говорил, что он ничего не знает), профессор Трошин, невропатолог, Наталья Михайловна Евдокимова, лечащий врач Андрея Дмитриевича, Обухов и еще кто-то, не помню кто.

Они хором начали мне говорить, какое плохое состояние здоровья у Андрея Дмитриевича, что он находится буквально на краю гибели, что у него тяжелая экстрасистолия, что он страдает тяжелым атеросклерозом сосудов головного мозга, что у него то ли болезнь Паркинсона, то ли явления паркинсонизма. На мой прямой вопрос: «Так Паркинсон или явления?» — мне не ответили. И что я не должна волновать его и чуть ли должна не рассказывать о том, что был суд, или еще что-нибудь.

Я на них кричала, что если бы они были врачи, то понимали бы, что человека с таким состоянием здоровья нельзя четыре месяца держать в изоляции от единственного близкого человека — жены, что они подумали бы, как изменить его поло-

жение, а то, что они мне говорят, это чепуха. Они давали дигиталис и этим привели к тяжелым экстрасистолиям, и это единственное, что я не считаю их намеренным действием, а просто, я сказала, «со страха перед ГБ потеряли голову». Все остальное, что они делали с Сахаровым, — это преступление. Это я сказала, еще не зная, что были пытки и унижения насильственного кормления и к чему оно привело. В общем, у нас был совсем не дружественный разговор, после чего я вышла к машине. Провожал меня Обухов. Не знаю, на какую мою реплику он ответил мне стихами Пушкина, в которых проскользнуло некое, так сказать, сочувствие мне и что он вроде бы не виноват, а таковы обстоятельства. Я, идя по лестнице вниз, все продолжала ругать уже неизвестно кого и, в частности, своих судей. Вдруг Обухов сказал: «Хвалу и клевету приемли равнодушно и не оспаривай глупца». Я ему ответила: «Ах, вот вы какой образованный и не только на все подлости, что делаете, но и на поэзию». Он ничего не ответил. Вообще после неоднократных скандалов с ним (а как я могу быть ужасна на язык, знают лучше всех мои близкие) он всегда при следующем контакте делал вид, что ничего никогда не было.

Вышла я от Обухова, села в машину, сижу и жду. Прошло минут 15, и та же медсестра Валя ведет Андрюшу. Он в том же светлом пальто, в каком его увезли тогда в начале мая в больницу из прокуратуры, в своем беретике, не похудевший, скорее одутловатый. Мы обнялись, и Андрюша заплакал, и я тоже. Сели в машину. Я не могу двигаться, сидим и плачем, обнявшись. Так прошло минут двадцать.

Потом Андрей стал меня спрашивать про суд. Ну, я ему «кратко и подробно» (А. Твардовский) все рассказала. Собственно говоря, что рассказывать. Приговор, и все. Подробности потом.

Выехали мы из больницы. Поехали по окружной дороге, там есть такая горка, с которой видно Волгу, остановились на этой горке, стояли и молчали. А потом начал рассказывать Андрей. Я не буду за него рассказывать. Он все рассказал сам: и что с ним было и как. Я привожу в приложении полностью письмо Александрову (см. приложение № 9), мне кажется это необходимым. Я расскажу из того, что было с Андреем, только то, что он не рассказал в своем письме Александрову, не придавая этому значения, да и я стала придавать этому значение, только узнав здесь на Западе, какие известия о нас были и какие разговоры здесь шли из Москвы.

9 мая меня не пустили в больницу. 10 мая у Андрюши была выемка, забрали все документы. Как потом выяснилось, кро-

ме документов и вещей, поименованных при выемке, из его сумки пропала еще книжка Всеволода Багрицкого «Стихи, письма, дневники». Эту книжку я привезла в Горький, потому что я ее всегда вожу с собой. С тех пор, как Яковлев запустил свою клеветническую пишущую машину, мы очень боялись, что она у нас пропадет, и Андрей носил ее в сумке. Так вот, она пропала, ее не изъяли, в списке изъятого ее нет, — ее просто украли.

10-го вечером, когда Андрей уже спал, пришел Обухов, разбудил его и сказал, что к нему приехали из Москвы врачи. Ввел в палату двух человек, одетых в медицинские халаты. Эти люди задали какие-то ничего не значащие вопросы Андрею и ушли. И тогда, в 84-м году, Андрей не придумал никакого значения этому визиту. Но в 85-м году, когда он снова был в больнице и к нему приехал большой начальник Соколов, он узнал в Соколове одного из тех двух мужчин. Про второго мы ничего не знали, пока я не услышала в Москве и на Западе разговоры о том, что в больницу в 84-м году к Андрею приезжал какой-то психолог или психиатр, кажется, по фамилии Рожнов*, который пытался его гипнотизировать во сне или еще что-то такое. Ну, если «во сне», так ведь Андрюша не мог знать этого. Постфактум мы решили с Андреем, что именно эти два человека дали разрешение на его принудительное кормление. Что это разрешение дал Соколов как начальник, Андрей понял в 85-м году, когда Соколов к нему приехал уже не под видом врача.

Что произошло во время первого принудительного кормления, Андрей описал сам. Я была неправа, когда думала, что Андрей снял голодовку 21 или 22 мая, в дни, когда ко мне приходили за зубами. Он снял голодовку 29 мая. Почему он ее снял, он объяснить мне не мог. Но в письме Александрову он объясняет, что не выдержал мучений. Я думаю, что это наиболее правильное объяснение. Действительно, я была права, когда не отдавала зубы и очки, считая, что была записка от Андрея. Записка была, и мне ее не передали, так как это был период, когда у него был совершенно патологический после инсульта (или спазма?) почерк и когда у него в отдельных словах повторялись буквы. Видимо, мне не хотели показать эту записку, полагая

* Владимир Евгеньевич Рожнов, заведующий кафедрой психотерапии Центрального института усовершенствования врачей. Летом 1984 года в Москве циркулировали упорные слухи, обсуждавшиеся западной прессой, о том, что Рожнов посещает Сахарова в больнице и что под его наблюдением Сахарову дают психотропные препараты. - *Ред.*

совершенно справедливо, что по ней я пойму, как плохо с Андреем.

Тут мне становится непонятной записка от дядечки Венечки, что Андрей в полном порядке и чувствует себя хорошо. Не мог Андрей себя чувствовать 19 мая хорошо. Это был самый трудный период его пребывания в больнице, между 11 и 29 мая. Это был период, когда он еще плохо ходил, у него отмечалась задержка речи, он сам об этом мне говорил, плохой почерк и прочее.

Андрюше тоже отдавали далеко не все мои записки. Он это понимал. Свои записки, копии, он оставлял. Кроме того, он вел дневник, и странно, но этот дневник у него не отобрали. Придя из госпиталя, он дал мне его читать. Там зафиксировано все, что с ним было. И как его травили разговорами о том, что у него болезнь Паркинсона, и главврач принес ему книжку про Паркинсона и говорил, что у него «Паркинсон от голодовок». И что «вы будете полным инвалидом и даже сами себе штанов расстегнуть не сможете». И такие фразы: «Умереть мы вам не дадим, но инвалидом сделаем», — говорил Обухов.

Исходя из рассказов Андрея, из тех остаточных явлений, которые у него были в сентябре, частично остались (это некие самопроизвольные движения нижней челюсти), я думаю, что он перенес инсульт, в лучшем случае — тяжелый спазм.

Когда Андрюша вернулся домой, у него состояние было довольно странное. С одной стороны, он очень радовался, что мы вместе: мы буквально ни на минуту не расставались, ходили друг за другом даже в ванную. А с другой — он почти с первого дня начал грызть себя за то, что не выдержал голодовки и что второй раз, когда он пригрозил начать голодовку, 7 сентября, его сразу выписали и он отказался продолжать голодовку, не в силах не видеть меня еще Бог знает сколько времени. В общем, настроение у него было сложное, скорее нерадостное. А когда я ему говорила, что надо учиться проигрывать, он говорил: «Я не хочу этому учиться, я должен учиться достойно умирать». Он все время повторял: «Как ты не понимаешь, я голодаю не только за твою поездку и не столько за твою поездку, сколько за свое окно в мир. Они хотят сделать меня живым трупом. Ты сохраняла меня живым, давая связь с миром. Они хотят это пресечь».

С первых же дней после кассации мне надо было являться на отметку как ссыльной. И было сказано, что я должна сделать фотографию для удостоверения ссыльной. Я решила, что мы поедем вместе в фотографию и сделаем общую. Андрюша

ме документов и вещей, поименованных при выемке, из его сумки пропала еще книжка Всеволода Багрицкого «Стихи, письма, дневники». Эту книжку я привезла в Горький, потому что я ее всегда вожу с собой. С тех пор, как Яковлев запустил свою клеветническую пишущую машину, мы очень боялись, что она у нас пропадет, и Андрей носил ее в сумке. Так вот, она пропала, ее не изъяли, в списке изъятого ее нет, — ее просто украли.

10-го вечером, когда Андрей уже спал, пришел Обухов, разбудил его и сказал, что к нему приехали из Москвы врачи. Ввел в палату двух человек, одетых в медицинские халаты. Эти люди задали какие-то ничего не значащие вопросы Андрею и ушли. И тогда, в 84-м году, Андрей не придал никакого значения этому визиту. Но в 85-м году, когда он снова был в больнице и к нему приехал большой начальник Соколов, он узнал в Соколове одного из тех двух мужчин. Про второго мы ничего не знали, пока я не услышала в Москве и на Западе разговоры о том, что в больницу в 84-м году к Андрею приезжал какой-то психолог или психиатр, кажется, по фамилии Рожнов*, который пытался его гипнотизировать во сне или еще что-то такое. Ну, если «во сне», так ведь Андрюша не мог знать этого. Постфактум мы решили с Андреем, что именно эти два человека дали разрешение на его принудительное кормление. Что это разрешение дал Соколов как начальник, Андрей понял в 85-м году, когда Соколов к нему приехал уже не под видом врача.

Что произошло во время первого принудительного кормления, Андрей описал сам. Я была неправа, когда думала, что Андрей снял голодовку 21 или 22 мая, в дни, когда ко мне приходили за зубами. Он снял голодовку 29 мая. Почему он ее снял, он объяснить мне не мог. Но в письме Александрову он объясняет, что не выдержал мучений. Я думаю, что это наиболее правильное объяснение. Действительно, я была права, когда не отдавала зубы и очки, считая, что была записка от Андрея. Записка была, и мне ее не передали, так как это был период, когда у него был совершенно патологический после инсульта (или спазма?) почерк и когда у него в отдельных словах повторялись буквы. Видимо, мне не хотели показать эту записку, полагая

* Владимир Евгеньевич Рожнов, заведующий кафедрой психотерапии Центрального института усовершенствования врачей. Летом 1984 года в Москве циркулировали упорные слухи, обсуждавшиеся западной прессой, о том, что Рожнов посещает Сахарова в больнице и что под его наблюдением Сахарову дают психотропные препараты. -- Ред.

совершенно справедливо, что по ней я пойму, как плохо с Андреем.

Тут мне становится непонятной записка от дядечки Венечки, что Андрей в полном порядке и чувствует себя хорошо. Не мог Андрей себя чувствовать 19 мая хорошо. Это был самый трудный период его пребывания в больнице, между 11 и 29 мая. Это был период, когда он еще плохо ходил, у него отмечалась задержка речи, он сам об этом мне говорил, плохой почерк и прочее.

Андрюше тоже отдавали далеко не все мои записки. Он это понимал. Свои записки, копии, он оставлял. Кроме того, он вел дневник, и странно, но этот дневник у него не отобрали. Придя из госпиталя, он дал мне его читать. Там зафиксировано все, что с ним было. И как его травили разговорами о том, что у него болезнь Паркинсона, и главврач принес ему книжку про Паркинсона и говорил, что у него «Паркинсон от голодовок». И что «вы будете полным инвалидом и даже сами себе штанов расстегнуть не сможете». И такие фразы: «Умереть мы вам не дадим, но инвалидом сделаем», — говорил Обухов.

Исходя из рассказов Андрея, из тех остаточных явлений, которые у него были в сентябре, частично остались (это некие самопроизвольные движения нижней челюсти), я думаю, что он перенес инсульт, в лучшем случае — тяжелый спазм.

Когда Андрюша вернулся домой, у него состояние было довольно странное. С одной стороны, он очень радовался, что мы вместе: мы буквально ни на минуту не расставались, ходили друг за другом даже в ванную. А с другой — он почти с первого дня начал грызть себя за то, что не выдержал голодовки и что второй раз, когда он пригрозил начать голодовку, 7 сентября, его сразу выписали и он отказался продолжать голодовку, не в силах не видеть меня еще Бог знает сколько времени. В общем, настроение у него было сложное, скорее нерадостное. А когда я ему говорила, что надо учиться проигрывать, он говорил: «Я не хочу этому учиться, я должен учиться достойно умирать». Он все время повторял: «Как ты не понимаешь, я голодаю не только за твою поездку и не столько за твою поездку, сколько за свое окно в мир. Они хотят сделать меня живым трупом. Ты сохраняла меня живым, давая связь с миром. Они хотят это пресечь».

С первых же дней после кассации мне надо было являться на отметку как ссыльной. И было сказано, что я должна сделать фотографию для удостоверения ссыльной. Я решила, что мы поедем вместе в фотографию и сделаем общую. Андрюша

принарядился. И вот имеется наша фотография, она сделана 9 или 10 сентября 84-го года, фактически сразу после выписки, и моя (для удостоверения ссыльной) — 12-го мне надо было явиться в ОВД. Андрей на ней отнюдь не исхудалый, потому что с конца голодовки прошло уже много времени: июнь, июль, август — больше трех месяцев. Но сказать, что он хорошо выглядит, я не могу. У него на этой фотографии какая-то несвойственная ему одутловатость.

12-го я была в районном ОВД. Мне сделали отпечатки пальцев — дактилоскопию делают у нас всем уголовным преступникам — и две фотографии: фас и профиль для моего дела — уже не подследственной, а осужденной. И пошла наша обычная, наша счастливая жизнь.

В сентябре мы еще раз были в больнице: Андрея обязали туда являться. Думаю, что наш визит в больницу, продемонстрированный в одном из фильмов, где я говорю, что у него никаких болей в сердце не было и что он хорошо спит дома и все прочее, — это и был первый осенний визит. Думаю, что я ездила с ним один или два раза. Один раз осенью и один раз — весной. В том кинофильме, где Трошин его осматривает и Наталья Михайловна, — это, видимо, весенний визит (кажется, в последних числах марта).

Уже с конца сентября Андрей сказал, что он вновь будет голодать, и спорить с ним было невозможно. Он стал в этом плане раздражительнее, чем был раньше. Он говорил примерно так: «Они меня пугали Паркинсоном, которого вовсе нет, они меня пугали тем-другим, они думают, что сломали меня, — нет, я буду голодать».

Пока что мы опять счастливо жили. Купили ему зимнее пальто, потом — мне. Когда после обыска забрали радиоприемник, я сделала попытку купить, но в магазине ко мне подошел один из гебешников, сопровождавших меня, и сказал: «Вы что, собираетесь купить приемник?» Я сказала: «Да». — «Не советую, — сказал он, — придем с выемкой». Я ему поверила, подумала: зачем зря тратить деньги?

А тут, кажется, прямо в сентябре мы заехали в радиомагазин, и Андрюша купил приемник «Океан», очень громоздкий, тяжелый, но, в общем, им можно что-то ловить. И вне дома, особенно летом, я им пользовалась в 85-м году постоянно.

Андрей начал писать свое письмо Александрову и надзорную жалобу, наверно, в октябре 84-го года. Одновременно он решил, что выйдет из Академии и что ему понадобится Резникова как адвокат для продажи дачи, чтобы было на что жить, ко-

гда он выйдет из Академии. В то же время он послал письмо в ФИАН, что готов принять физиков. А я послала письмо Резниковой, чтобы она приехала для составления надзорной жалобы.

Визит фиановцев и приезд Резниковой были в ноябре. Я не помню точно числа, но все это было около 20 ноября, почти подряд. К этому времени у Андрея был готов вариант надзорной жалобы, правда, еще не окончательный, и не последний вариант письма Александрову. Надзорную жалобу он обсуждал с Резниковой. Резникова сделала ему какие-то замечания, которые ему не понравились, и на этом они расстались. Он что-то изменил в надзорной жалобе и послал ее в конце ноября (см. приложение № 10).

С физиками он начал обсуждать наше положение вообще и то, что он напишет Александрову. Его приводило в какой-то ужас и одновременно состояние безысходной тоски то, что он так подробно и Резниковой, и физикам рассказывал о своем пребывании в больнице, а они никак на это не реагировали. Они были как истуканы, как мертвые. Андрей был поражен их нарочитым равнодушием, желанием отстраниться от этого. Это волновало его больше, чем что-либо другое. Он так искал и так надеялся на их сопереживание. Еще я запомнила, что и физики, и Резникова говорили о фильме «Чучело». Вскоре после их визитов фильм пошел в Горьком. Мы с Андреем ходили на него.

Это был короткий, пасмурный, с мокрым снегом день. Чего можно ждать от погоды в конце ноября? У меня сильно болела спина. Мы доехали до кинотеатра — билеты были только на 19 часов, а было около 17-ти. Вернулись в кафе на площади. Что-то там поели — когда вышли, машина была как мертвая. Что они успели с ней сделать? Мы не сомневались, что это был первый ответ на разговор Андрея с коллегами, на то, что он снова собирается действовать, чтобы решить проблему моего лечения. Мы оставили машину, где стояла. На завтра Андрей привезет ее. На такси доехали до кинотеатра. Смотрели фильм: плакали, ужасались, страдали. Этот фильм — одно из больших событий советской жизни последних лет. Вышли потрясенные. А я не могу идти — спина отказала. Я стояла, прислонясь к стене, Андрей ловил такси, гебешники злились, что из-за нас торчат под мокрым снегом. Наконец, машина есть. Водитель — женщина. Когда Андрей сказал, куда ехать, спросила: «Это там, где живет Сахаров?» — «А это он и есть», — ответила я. Мы разговаривались, и неожиданно, после всех погромов и угроз, спровоцированных Яковлевым, она — эта женщина — была другая, и отношение ее к нам другое, и меня она до слез растрогала,

сказав: «Да ведь видно, как вы друг друга любите. Мне самой скоро 60 — пенсионерка уже, это я свои два законных месяца отрабатываю, и я сразу вижу, что по-хорошему всё у вас». Я часто эти годы вспоминаю ее: «по-хорошему».

С этой поездки началось мое зимнее 1984-85 гг. ухудшение с сердцем. После нее же я получила предупреждение, чтобы не выходила из дому после восьми вечера.

Ну, мы и не выходили по вечерам. Зима. Ни к кому нельзя, да и не к кому. Самое время поговорить о наших буднях.

Повесть о нашей машине. Она старенькая — год рождения 1976. И ее КГБ делает объектом преследования. Как только стало широко известно, что мы с Андреем собираемся объявить голодовку за выезд Лизы, ее у нас украли — это была осень 1981-го. Сразу же по Горькому были распушены слухи, что я перегнала машину в Москву и спрятала, чтобы потом обвинить власти в ее краже. Когда мы уже голодали и не выходили из дома, так как боялись, что на улице нас схватят и насильно госпитализируют, она вдруг нашлась, и представители автоинспекции усиленно вызывали нас поехать за ней. Андрюша говорил, что теперь нам уже не до машины, но они выдвигали свой аргумент: это же такая дорогая вещь, что голодовку можно и прекратить. Так как перспективой возвращения машины нас не удалось выманить из дома, то была просто выломана дверь, и нас силой госпитализировали и поместили в разных больницах, даже в разных концах города. После отъезда Лизы машина была возвращена, но это на самом деле были остатки ее — с нее было снято все, что отвинчивается. Заменены шины на совсем лысые. Из-под капота сняли половину частей и в салоне вытащили все — даже пепельницы. Лиза уехала 19 декабря. Восстановить машину мы смогли только к маю.

Во все последующие годы установилось странное обращение с неодушевленным объектом. Как только наше поведение чем-либо не нравилось надзирателям — страдала машина: то ей проколют два колеса сразу, то сломают стекло, то замажут каким-то синтетическим клеем. Если в машине что-то такое произошло, значит, уж точно мы были, по их критериям, плохие: с кем-то умудрились заговорить на улице или на рынке, что-то не то планируем сделать, не туда пошли, отказались пойти на вызов к Обухову или другому их врачу. Грехов много — машина одна, вот она и страдает, бедняжка. Но вообще всякие наши ограничения нарастали, и это отражалось и на машине. В первое лето мы решили поехать на Оку купаться — это по спидометру ровно 12 километров от нашего дома. Мы выкупались

и посидели на бережку. Когда выезжали с приречной дороги на шоссе, меня остановил гаишник. Я очень удивилась, так как ничего не нарушила. Но сразу увидела, что, кроме машины автоинспекции, на шоссе стоит другая машина — милицейская. Из нее вышел Снежницкий (тогда капитан, теперь — майор) и направился к нам.

Я не могу удержаться, чтобы не напомнить один эпизод, с ним связанный. Еще в самом начале нашей жизни в Горьком 15 февраля 1980 года к нам на мой день рождения приехал Юра Шиханович. Его сразу уволокли в «пункт охраны общественного порядка», где Снежницкий начал проводить воспитание Юры и допрос. Мы с Андреем ворвались туда. Нас стали выталкивать, и я дала Снежницкому пощечину. Потом нас, конечно, вытащили, еще повалили в коридоре — мы, в общем, были как битые собаки. Потом суд, на котором я не была. А может, не суд, а нечто административное — приговорили меня к штрафу в 30 рублей. И я имела случай сказать капитану Снежницкому, что это совсем не дорого — 30 рублей за удовольствие влить ему пощечину. Кстати, чьим-то историческим розыском было выявлено, что в николаевские годы (Николая I) полицмейстером в центральной части Нижнего Новгорода был некто Снежницкий — возможно, это у них семейная профессия. Снежницкий подошел к нам и сразу заявил, что Андрей нарушил режим, выехав за черту города. И составил акт об этом. Андрей подписать акт отказался, но больше мы с ним туда не ездили. Я одна ездила довольно часто, так как там есть ларек от совхоза, где три раза в неделю продают очень хорошие творог и сметану. С момента, как у меня 2 мая взяли подписку о невыезде, — не ездила и я. Внутри города мы довольно часто в первые годы подвозили случайных людей. Потом, не делая никаких разъяснений, нам это запретили. Вначале запретили не тотально, то есть когда я ехала одна, то подвезти кого-нибудь можно, а если мы с Андреем в машине вдвоем, то нельзя. Был долгий период, когда я ездила два раза в неделю за творогом, а Андрюша где-нибудь на обочине внутри черты города ждал меня — я тогда многих подвозила. Однажды пошел сильный дождь, и гаишники (они все же не КГБ) позвали Андрея переждать ливень в их будочке.

Так же было, когда я какого-то старенького дедушку с больной Лью Толстого в дождь довозила до междугородной автобусной станции, а Андрюша ждал меня в машине инспектора ГАИ. Ждал он меня и в тот раз, когда я решила съездить посмотреть, что находится за большим волжским мостом. Но од-

ной ездить не хотелось, было и скучно, и обидно за Андрея. Поэтому я не съездила ни в пушкинское Болдино, ни в село Выездное, откуда пошел род Сахаровых. Наивно ждала, наверно, лучших времен, когда будет можно съездить вдвоем, а получилось, что никому нельзя.

Они поясняли свой запрет проколами шин или еще чем-либо в этом роде. Потом, видя, что мы как-то не до конца это понимаем, стали силой вытаскивать наших пассажиров из машины. Вспоминаю тяжелую сцену. За рулем был Андрей. Он посадил женщину, сопровождавшую совсем дряхлую, почти не передвигающуюся старушку. Только Андрей тронулся, как набежали наши сопровождающие, остановили машину и с криками и руганью стали вытаскивать из машины этих двух пассажиров. Старушка так испугалась, что, казалось, может просто умереть. А мы были вынуждены уехать.

Другой случай был последним летом, когда я была без Андрея. У дороги голосовал мужчина, державший на руках кричащего мальчика лет четырех-пяти. Я остановилась. У ребенка был явно перелом голени в средней трети. Мужчина поддерживал ножку. Я стала сажать их в машину. В этот момент набежала моя охрана, и они стали оттаскивать от машины этого мужчину. Наверно, он полез бы драться, но не мог — на руках был мальчик. Все кричали — и ребенок, и мужчина, и гебешники. И тут я так закричала, что перекрыла и напугала всех. Я кинулась на одного из охранников и, мне кажется, или его убила бы, или сама умерла. Я кричала, чтоб он сам садился в мою машину и вез. Мне кажется, гебешник испугался моего состояния. Он сел ко мне на переднее сиденье. Сзади я посадила того человека с мальчиком, и мы доехали до травматологического пункта, который находился недалеко от нашего дома. Когда мужчина с ребенком ушел, гебешник мне сказал: «Вам запрещено останавливаться. Вы это прекрасно знаете, и если еще раз попробуете, то прощайтесь со своей машиной». Я ничего ему не ответила и захлопнула дверцу. Меня еще долго трясло.

Еще один случай, скорее смешной, чем трагический. Иногда надо сменить колесо, машина есть машина. Мне это трудно. Я говорю гебешникам, что буду останавливать грузовик. Любой водитель за трешку с удовольствием мне это делает. Гебешник иногда разрешает сам. Иногда по своему радио идет просить разрешения у начальства. Наконец, разрешение получено, я остановила какой-то «рафик». Водитель очень удивился моей просьбе, так как видел около машины молодого здорового парня. Если б я была одна, удивления бы не было. Когда он

сменил колесо, я протянула ему три рубля, но он отвел мою руку: «Не надо, мать, а вот этого твоего лба проучить или научить бы надо — он что, больной у тебя, что ли, что колесо сменить не может?». — «Это не мой — это комитетский», — ответила я. — «А...» — и водитель заторопился к своей машине. Я так и не знаю, что понял этот человек. Но в последний момент он как-то так посмотрел на меня, что, думаю, сообразил, кто я.

Я говорю, что языком полочки или угона машины наши стражи разговаривают с нами. Разговаривают они еще и по-другому — языком пропаж и последующих подкидываний различных вещей. Очки пропадают неизменно и потом находятся именно там, где мы их оба искали. В первое время я шипела на Андрея, что он просто забывает, а ГБ ни при чем. Потом такое же стало со мной. Я стала записывать. Вот такая глупость: «пропала зубная щетка, и я, и Андрей оба смотрели в ванной в стаканчике» и дата; спустя неделю и больше: «ура, щетка в стаканчике» и дата. Явно мы не сумасшедшие: так пропадали книги, однажды Андрюшин зубной протез (перед тем, как он объявил предпоследнюю голодовку, — но тогда, когда о том, что она будет, уже знали и физики, и КГБ: мы говорили о ней вслух), он потом нашелся, когда Андрея выпустили из больницы. Я не буду перечислять все малые и большие пропажи и возвраты. Когда я 10 месяцев была одна, было часто внутреннее беспокойство от того, что знала: они в мое отсутствие постоянно входят в квартиру, что-то делают, что-то ищут. Что унесут? Что подбросят? Пропал приговор суда по моему делу, пропадали и без Андрея разные бумаги. Этот круговорот вещей создает ощущение, с одной стороны, какого-то кафкианского кошмара, и с другой — что ты на предметном стекле какого-то микроскопа, над тобой проводят опыты.

Андрей обсуждал последнюю голодовку с Е.Л. Фейнбергом. Физики уехали. Через несколько дней он распаковывал пакеты с препринтами, и вдруг из одного пакета к нему на стол побежало полтора десятка больших тараканов. Было до рвоты противно и страшно. А надо помнить, что вся приходящая нам почта проверяется. Потом Андрей написал в своем дневнике об этом. «Вчера был такой случай: когда я раскрыл пакет, присланный из ФИАНа, из него во все стороны стали разбегаться тараканы, пять из них удалось убить. Вряд ли они заползли в пакет в ФИАНе. Скорей это демонстрация презрения со стороны ГБ. Дескать, вы — голодающие тараканы. Конечно, эта интерпретация — быть может, плод моего воображения. Эллинам тоже не легко было догадаться, что означает посылка от ски-

фов (стрела, лягушка, еще что-то в том же роде: см. старые книги по истории)». Такой же (но не столь отвратительный) язык жестов — пустые заклеенные конверты вместо писем от друзей.

Постепенно нарастала наша изоляция и в плане телефонной связи. Если с 1980 по 1983 год мы не имели возможности пользоваться международным и междугородным телефоном, то внутри Горького мы могли позвонить — правда, особенно было некуда, но все-таки несколько раз, когда я болела, Андрей звонил Феликсу и Майе Красавиным, иногда Ковнеру. Однажды, когда мне было как-то очень плохо и я не хотела оставаться одна, Андрей продиктовал ему текст телеграммы в Ньютон и попросил отправить; иногда мы просили его (Андрей, а не я — я никогда не звонила Ковнеру) купить на рынке что-то, так как он живет около рынка. Иногда мы (чаще я) звонили Хайновским, звонили несколько раз в различные кинотеатры — хотели узнать, что идет и когда сеанс. С 1984 года подходить к телефону-автомату нам запретили вообще. Ну, ладно — я вскоре стала ссыльной, но про Андрея ведь некоторые советские государственные деятели заявляли, что он свободен и сам выбрал город Горький для жизни.

Приняв решение о голодовке, Андрей стал упорно думать, как можно будет в нашем положении передать информацию. Отношение к голодовке физиков и адвоката не внушало особых надежд. Кто еще? Ковнера и Феликса мы не видели с начала апреля. Им, видимо, запретили посещения, да и можно ли было пытаться делать это через них — и страшно их подвести, и... Андрей вспомнил, что один наш знакомый В. часто бывал в Горьком, и стал советоваться со мной — конечно, письменно. Ни одного слова вслух. В Москве в прошлом тоже часто надо было не говорить, а писать. Людей, с которыми так общаешься — писали чаще всего на стирающихся дощечках, — Андрей называл «свой в доску». Я очень засомневалась в том, что В. «свой в доску» и что мы сможем разыскать его, встретиться с ним так, чтобы получилось «случайно» и чтобы можно было что-то передать. Да и захочет ли, рискнет ли он? И я напредила Андрею историю более чем двухлетней давности.

...Снова поезд. Как же мне они надоели — поезда. «Что мне делать в стреле, в отошедшем от города поезде. Я ходил по земле, как герой по удавшейся повести». На этот раз не угадала — будет мне что делать. Всю ночь до первых петухов выяснять отношения со случайным спутником — старым знакомцем.

Давно я не выясняла отношений, это ушло куда-то в прошлое вместе с молодостью и здоровым сердцем.

В тот раз — это конец зимы 1982 — было так. Меня провожали Ших и Эмиль. У меня было так много вещей, что не влезало в одну машину. Леня Щаранский подвез к вокзалу часть вещей, остальное вез Эмиль. Мы разгрузили машину Лени и отпустили его. Взяли носильщика и тронулись к вагону. У меня было место в СВ. Из Москвы я, пользуясь правом инвалида Отечественной войны, часто могла купить хороший билет. Это из Горького практически невозможно — за все годы всего два раза ездила этим вагоном.

Почему из Горького невозможно купить хороший билет? Просто потому, что их нет в нормальной продаже, они вообще не поступают в городскую кассу, а продаются в Кремле, в здании, где помещается облсовет.

На мое место у меня было многовато багажа. Осенью наша машина была растаскана по кускам. Сейчас мы ее так же по кускам собирали, и я везла два колеса, аккумулятор и еще чемодан всяческой машинной мелочи. Это не считая своего обычного багажа — двух больших сумок-холодильников с едой. Проводница не пустила меня в вагон. Она была вежлива и сказала, что если пассажир, который поедет со мной, разрешит, тогда пожалуйста. Мы на перроне ждали этого будущего соседа или соседку. Наконец он подошел. Я его увидела уже после того, как услышала, что проводница назвала номер его места — 15 (мое было 16), и спросила, показывая на меня, не будет ли он возражать против моих вещей. Он посмотрел на меня вслед за проводницей и стал краснеть. Это был какой-то медленный процесс. Мне кажется, его видели все вокруг. Он краснел и краснел, и я стала волноваться за него. Но, может, на самом деле все произошло мгновенно? Он сказал: «Да, конечно», — и прошел в вагон. Ребята (носильщика мы уже отпустили, да и стал бы он стоять?) начали таскать колеса и прочее в вагон. Потом я прошла в купе. Его там не было. Я простилась с Шихом и Эмилем, они ушли. Мой сосед не появлялся. Я переоделась в халат. Прилегла, прикрыв ноги. Они у меня уже в ту зиму (в голодовку и после нее) стали постоянно мерзнуть. Поезд пошел. Я достала книгу и под стук колес уже собралась почитать-полудремать. Про своего соседа подумала, что он, может, как-то незаметно ушмыгнул в другое купе или даже вагон. Я была пока что, в общем, равнодушна к этой встрече. И тут он появился. Смущенный и улыбающийся. Закрыв дверь и начал разговор. Мне показалось сразу: он специально где-

то ждал, когда поезд пойдет. Наверно, думает, что под стук колес наш разговор не будет слышен в соседнем купе.

Мы с ним очень странно знакомы — знаем друг друга изда- лека с ранней молодости, но стали знакомы непосредственно во вполне зрелые года. А в прошлом все было через друзей: он был дружен с теми, с кем когда-то дружила я, — с моими одно- классниками и, как тогда говорили (а может, и сейчас говорят?), с ребятами из нашей компании. Он был рад нашей встрече. Я тоже ощущала какой-то привет из прошлого, из юности. Он все такой же ладный, высокий, по мне — так красивый человек. Но, говорят, у меня понятия о мужской красоте неверные. Сто лет назад я сказала про одного ленинградского поэта, в кото- рого была влюблена «по уши» (и он тоже — все было вполне взаимно), что он самый красивый мужчина в Ленинграде. Мои приятельницы мне это до сих пор поминают и говорят, что это я так сказала сослепу: мне еще не сделали ни одной глазной операции. Но я тогда говорила всерьез. И сейчас тоже. Этот че- ловек был и продолжал быть красивым. Мне это важно, мне всегда кажется, что красота, приятность, прелесть, обаяние — это тоже своего рода благословение, дар, делающий человека лучше, мягче, счастливее (если не в чем-то конкретном, то уж в мироощущении обязательно).

Вначале мы робко говорили об общих друзьях, их детях и их делах. Один из них покончил жизнь самоубийством, стран- но это. Не юноша, нашего возраста, прошедший уже жизнен- ные трагедии и неустроенность, успешный гуманитарий (я го- ворю тут такое общее слово, потому что мне не хочется уточ- нений. Я не хочу, чтоб гадали, о ком я пишу. Я пишу об Андрю- ше и о себе. И всё остальное, все остальные — только если име- ют отношение к этому). А мой спутник вдруг стал спрашивать об Андрее. Они когда-то учились вместе. Мы с Андрюшей в на- чале нашей совместной жизни часто удивлялись, как много у нас общих знакомых, особенно в нашей юности, иногда каза- лось: вот-вот, и мы бы пересеклись.

Потом он стал говорить о себе. Как трудно жить (это не о ма- териальном — о внутреннем), как гнетет, что не разрешаешь се- бе поступить, как должен: ни сказать, ни сделать. Да что там — как часто даже думать не разрешаешь. Потом он стал гово- рить о Лизе — верней, о нашей голодовке, о том, как в москов- ских интеллигентских научных, литературных и других кругах все обсуждали нашу голодовку — все ее не одобряли. Но наша победа и Лизин отъезд изменили оценки, и постепенно все

стали говорить, что они, оказывается, были «за». Много говорил он о том, что мы с Андреем и не подозреваем, как часто наша жизнь, наша судьба и наши поступки не только становятся темой бесед, но и фоном существования многих людей, хотя это и не значит, что люди одобряют наш способ жизни. Чаше нет. Но всегда мы мешаем им жить спокойно.

И еще он говорил, что нередко в отношении к нам есть не любовь, особенно ко мне. Он хотел понять, почему это, что такого конкретно плохого люди знают или думают обо мне, что плохого я сделала в прошлом или сейчас, но так и не смог выявить этого. И грустно смеялся, что причина банальна — просто привыкли, что самое простое объяснение лучше других: «шерше ля фам», а почему или за что, неважно. Ему было грустно, мне тоже. Он все допытывался, почему я мало говорю, — действительно, больше говорил он, я слушала, думала и смотрела. Такой большой, такой красивый. Он ведь старше меня — а так хорошо смотрится. Такой успешливый, умный, русский интеллигент; семья его Бог знает сколько поколений известна в русской культуре и истории. Мне было его жалко. Я не могла забыть, что в 1980 году кто-то из друзей спросил его, поедет ли он к Андрею в Горький, и он сказал, что не может, что он тогда лишится своего поста. Я тогда приехала в Горький и рассказала Андрюше это. Я потом спросила: «А что бы ты сделал, если бы это он был в Горьком, а ты имел бы пост?» — «Я бы лишился своего поста».

Часа в четыре ночи он спросил: «А какое снотворное ты пьешь?» — «Я? Никакого» — «А Андрей?» — «Тоже». — «Счастливые вы», — как-то полукокетливо протянул он. Я почувствовала, как стал разжижаться воздух дружбы, что невеста откуда, из давно прошедшей молодости пришел и витал в нашем купе.

«Счастливые вы», — нам с Андреем однажды сказал один академик. Мы шли по Ленинскому проспекту весенним солнечным днем. Он шел навстречу и остановился с нами — с Андреем. Я просто была при этом. Они говорили о сборнике памяти какого-то умершего ученого. Академик стал жаловаться, что боится: цензура что-то не пропустит — и лучше снять самому. Андрей сказал, что самому-то уж совсем лишне торопиться. На что академик ответил: «Да уж вы бы, конечно, не торопились (это относилось уже к нам обоим) — счастливые вы».

Были времена, когда все только начиналось: 1973 год, статья в «Литературной газете», где Чаковский говорит об Ан-

днее, что он «кокетливо помахивает оливковой веточкой». Вообще-то статья была вполне разносная и на целую газетную полосу. Я стояла на лестнице в поликлинике Академии. Жена одного членкора поднималась по лестнице, увидела и кинулась ко мне. (Она знала меня сто лет, и, когда мы с Андреем поженились, рассказывала половине Москвы, какой я была «прекрасной девочкой».) «Люся, как Андрей и ты себя чувствуете? Это такой ужас в „Литгазете“, у моего мужа чуть не случился инфаркт». Я была как-то смущена ее порывом, потому что Андрея она, в сущности, не знает, незнакома с ним. Я чувствую себя виноватой оттого, что раз она знает меня с детства, то думает, что это дает ей право так его называть. Я злюсь на себя, что мне неудобно сказать ей: «Какой он тебе Андрей, и я уже сто лет не Люся. Люсей ты меня звала, когда еще папа не был арестован. А потом?» Но я говорю только: «Мы чувствуем себя хорошо», — между прочим, я говорю правду. И она мне: «Счастливые вы».

Да, мы счастливые — ну что здесь поделаешь.

«...Как мы живем? Трагически (трагично). Заживо погребенные. И в то же время, как это ни странно звучит — счастливо. 7-го отметили 13-летие официальной свадьбы, все было честью, угощение на двоих — Люся постаралась (торт и ватрушка, «гусь» (т.е. курица) с яблоками, наливка), 13 свечей красивым углом. Каждая открытка Руфь Григорьевны, каждый снимок — большая радость для нас. Целуем вас. Будьте здоровы. Целуйте от нас младших. Люся каждый день перед сном 11 раз стучит по дереву, с мыслью о вас, поименно вспоминая и желая добра. Целую. Андрей». 15 января 1985. Из письма Андрея в Ньютон.

Все сошлись на одном. Андрей с ними согласен. Я — тоже. — Счастливые мы! Стучу по дереву.

А с передачей информации через В. у нас ничего не получилось. Андрей ни разу не смог даже подойти незамеченным к телефону-автомату, чтобы навести справки о нем через какого-то общего знакомого.

Я все это рассказываю, лежа в Майами на пляже, глядя на море. Сейчас идет мимо яхта с алым парусом, а сзади — с белым! Алые паруса. Неимоверно все это. Чудо Андреева противостояния, и чудо, что я после этой невероятной операции второй день купаюсь в море. Это все трудно описать и еще труднее представить себе реальным. Как трудно представить здесь реально ту несвободу, которая есть в Горьком.

в которую я так скоро возвращусь. С одной стороны, так скоро, а с другой — так нескоро, ведь Андрюша уже почти три месяца один. А я-то знаю, что значит быть там одному, проведя в этой шарашке на одного четыре месяца в 84-м году плюс шесть месяцев в 85-м.

Вчера мне дали продление, нет, позавчера, 18 февраля. Совершенно непонятно, зачем ГБ нужны были эти фокусы. Зачем нужно было выступление Агентства печати Новости, что я могла делать эту операцию дома, зачем надо было Виктору Луи сообщать о том, что мне дали продление, когда можно было без всего этого обойтись? А сейчас даже официант в ресторане роскошной гостиницы «Хилтон» и вчера продавец в магазине поздравляли меня с тем, что я получила еще три месяца продления. Но ничего невозможно никому объяснить, даже Аасе Лионнес*: такой прелестный и такой смелый человек, все про нас знает и вдруг говорит мне по телефону два дня тому назад, что она хочет, чтобы я возвращалась домой через Норвегию и была гостем в ее доме. И невозможно от «а» до «я» объяснять, что я не могу возвращаться так, как мне хочется, или так, как хочется моим друзьям. И что надо на все просить разрешения. И ни на что просто так разрешение не дается. Это здесь можно и без разрешения.

Дети улетели с Джил и Эдом. Я одна в городе, знакомом по романам — название всегда было завлекательным, и творились в этом городе (по романам же) Бог знает какие дела. Я в Майами. Едва машина, увозившая детей, растворилась в столпотворении проспекта в часы пик, чувствую необычайной легкости, ничем не обремененного, кроме самой себя, существования охватило меня с давно не испытанной силой. За что скорей хвататься — море или город? У меня нет купальника, но не в «Хилтоне» же его покупать. Еще утром, когда мы ездили в музей, я присмотрела там улицы, мне приглянувшиеся, и решила повторить поездку по городу. Мое такси вполне могло бы обогнать то, на котором уехали дети (хороша была бы я, бабушка, желавшая побыть одна без работы), так быстро я все решила! Таксисту я смогла объяснить все: и что хочу видеть, что поинтересней, куда мне надо и откуда я.

Интересно — потом я это несколько раз проверила: на севере страны, точнее, в Бостоне или Нью-Йорке, Россия вызывает хоть какой-то внешний, может, интерес; на юге — никакого: мы им и не экзотика и вроде вообще ничего — так, какая-то глухая провинция, конечно, слышали, что есть такая. Но моя статистика маленькая, и, может, я не права. Мы проехали по длинной прекрасной набережной — это не океан, а залив, вначале виллы, потом красивые ультрасовременные, многоэтажные, но явно жилые дома, а не банки-конторы. Потом старые прелестные улицы-улички, все сплошь торгово-ресторанные и человеческие. И я пошла по ним бродить, попила кофе, купила купальник, показалось мало — в другом магазине купила пляжный костюм, потом тап-

* Аасе Лионнес — в 1975 году председатель Нобелевского комитета норвежского Стортинга, присудившего А.Д. Сахарову Нобелевскую премию мира. — Ред.

ки и все глазела и радовалась просто так, ничему. И страдала, что я одна, а Андрюша там один и под этими постоянными объективами — наедине с телескрином.

Вернулась я в гостиницу и пришла на пляж, когда стемнело. Я боялась лезть в воду, села на лежаке около воды. Море по-вечернему было спокойное. Давно я не сидела у «моря-окияна». Прошел мужик бордатый, через несколько минут вернулся, потоптался у воды и стал меня что-то спрашивать, я его совсем не понимаю, он сел на лежаке напротив и стал говорить что-то много и долго. Когда кончил, я сказала свое: «Я не говорю по-английски». Он хлопнул себя руками по коленям, рассмеялся и сказал: «Это прекрасно», и еще что-то — по интонации ругательное, что — не поняла. Потом пошел у нас разговор. Он понял мое: «пожалуйста, медленней», и я услышала целую повесть американского «бича»: 27 лет, четыре года бродит, раньше в нескольких университетах учился, но ни к чему не лежала душа. Вначале не показался больным, потом создалось какое-то неясное ощущение — наркоман, что ли. Говорили про мою и его страну. Что хорошо, что плохо. Я сказала: «У нас нет свободы». — «У нас есть — бросаться в море». — «Где ночуешь?» — «На пляже». — «Куда идешь?» — «В Калифорнию». — «Зачем?» Пожал плечами. — «Что ешь?» — «Что дадут». — «Можно, дам денег?» Опять пожал плечами — ни обиды, ни заинтересованности. Я раскрыла сумку, которая лежала у меня на коленях. И вдруг испугалась — и деньги, и билет, и драгоценный советский паспорт, и даже все телефоны; он был по-прежнему равнодушен, взял деньги, сунул в карман. Помолчал, сказал: «Вы удивительная женщина, всё поняли, что я говорил, кто вы? Кто вы?» Вопрос вдруг стал настойчив и неприятен. Я вспомнила, как в студенческие времена, да и потом, боялась душевнобольных. А он вдруг взял мою руку и поцеловал, даже не успела испугаться. От него пахло на меня невымытым, нерабочим, нездоровым телом, спиртным и еще чем-то отвратительно сладким (может, наркотики). Я с трудом удержала рвотное движение, встала: «Гуд бай». — «Гуд бай, мэм, гуд лак», — это он мне, не я ему счастья или удачи, в общем, «гуд лак».

Зачем был этот разговор? Только для того, чтобы я потом бродила без сумки, оставляя ее в отеле, с одним кошельком? Я пошла ужинать, то есть обедать. Не туда, где обедала с Джил и Эдом, — не то что забоялась роскоши, но есть хотелось всерьез, боялась, что не разберусь в сложностях меню, да и неприятно, когда обслуживают аж три человека сразу — это я в Ираке чувствовала себя на месте и самой собой, будь их хоть пять, а здесь — нет-нет, да и отзовется, что я — не я, а «супруга академика Сахарова».

На задворках «Хилтона» нашла ресторан. Почти столовка. Народу — что людей. За столиком, а свободных вблизи не видно, одинокая дама, по сравнению со мной молодая, но так вообще-то вполне средних лет. Я спросила: «Можно?», получила вполне удивленный кивок. Села, потом сообразила, что так здесь не делают. Подошел официант; я с трудом заказала, верней, показала — благо, за соседним столиком кому-то принесли мясо с грудой нормальной жареной картошки, ну, а салат и кофе — так они и есть салат и кофе. Моя визави еще до заказа стала

объяснять официанту, что мы по отдельности. Поняла, что я поняла это, и вроде смутилась, а я подумала: «Э, да ты тоже иностранка». В это время к нам подошел молодой мужчина: «Ар ю Елена Боннэр?» — и дальше, как положено, об уважении и прочем. Но недолго — здесь уважение долго не выражают. Принесли нашу еду. Вначале мы были заняты ею молча. Потом она прервала молчание. Удивлялась, что не узнала меня, и начала свою историю. Она из Варшавы — родилась там. Со Второй мировой войны — на Западе: во Франции, потом в Италии, теперь в США, разошлась с мужем, живет на его «пансион» (т.е. алименты), сейчас дочь привезла ее сюда, так как у нее бывают депрессии. И счастлива встретиться со мной, и готова провести со мной время во Флориде. «Этого мне не хватало, — подумала я, — то бич этот, то ты — чужие дела, чужие судьбы, когда своей под завязку». Но это про себя, а вслух: «Я завтра уезжаю, утром». Мы вышли вместе. Я решила идти гулять по набережной. Она сказала, что в Майами ночью это опасно. Какая ночь — 9 часов вечера! Мы распрощались. Я вышла на набережную. Вода была недвижна, а вдоль парапета, насколько хватало глазу, — яхты, яхты, яхты. И продажа, и аренда, и просто причал.

Утром, вдоволь насидевшись у воды, я впервые за пять лет выкупалась — я боюсь плавать, а теперь вообще, оказывается, боюсь воды: наверно, после операции. Потом пошла на аукцион яхт: можно входить на яхту, смотреть роскошь кают и салонов, сидеть в кресле на палубе. Удивляюсь, почему меня пускали — старая дама в толстых очках и трехрублевых (простите, трехдолларовых) тапках. Ясно ведь, что ничего не купит? А может, пока нет серьезных покупателей (а их почти не было), продавцы развлекались мною, как я — яхтами. Такую бы яхту: маму, Андрея и всех детей! Нет — без детей. Мы все уже такие, что «врозь скучно, а вместе...». Пусть они будут счастливы сами. Счастливы и спокойны. У каждого чего-то нет. Счастья? Покоя? А как бы нам с Андреем нигде не жить, а плыть, лететь, ехать, ехать — жить. До свидания, Майами, — нет, прощай!

С воздуха ночной Лос-Анджелес был бесконечной — почти час полета — полосой огней, они были двух цветов, как бумажки для шоколада, — золото и серебро. Я не видела этого города, кроме нескольких улиц и торгового центра, — и вновь сама для себя подтвердила: чтобы видеть, надо быть одной. Это для меня как сестра за машинку — тоже работа.

На аэродроме меня встретил мальчик, с которым вместе училась в нашей альма матер — 1-м Ленинградском медицинском. Мальчик — пишу не случайно: все мои соученики, кроме нескольких, как и я, демобилизованных из армии, были младше на пять-семь лет и для меня так и остались младшими. ... Я студентка первого курса. Мама и Раинька (моя тетя-врач), которая все годы маминого лагеря как могла помогала нашей бабушке и очень любила меня и брата, были против моей учебы в мединституте — боялись за мои глаза, — они против, потому что против мои глазные доктора. Вместе с врачами они будут против и потом, когда я решу, несмотря на медицинские запреты, иметь детей. Сейчас часто думаю: хороша бы я была и во что бы я по совету врачей превратила свою жизнь, если б не училась, не работала, не имела детей.

Итак, февраль 1948-го. Уже прошла денежная реформа, и уже не чересчур голодно. Мы отмечаем мой день рождения — я зову к себе всех своих соучеников. Мама раздраженно говорит про одного из них, крепенького, розовощекого, 16-17-летнего подростка: «Это что — тоже твой коллега? — прямо из детского сада». Мне слышится презрение ко мне за то, что я общаюсь с «детьми», что я упорно каждый день в семь утра еду на занятия — она рассчитывала, что я буду их пропускать и как-нибудь само утрясется, что я брошу институт; она сердится, что каждый вечер я заставляю ее читать мне физиологию или биологию, а то и писать конспекты по марксизму — я таким образом уменьшаю себе нагрузку на глаза. Мальчик на аэродроме, доктор Л., — один из тех розовых подростков, теперь вполне не мальчик, и своих мальчиков у него три да плюс одна девочка. Длинный город Лос-Анджелес, но до его дома мы добрались быстро. Или это только ощущение быстроты, когда вот так легко и просто на той же точке, где остановились, идет общение, не смотря на десятки наших — пронесшихся — лет?

И вдруг смешная встреча из 1949 года. Молодая женщина в большой круглой шляпе. Я не знаю, как тогда обстояло дело со шляпами во всем мире — границы-то были на замке, но в Ленинграде такие шляпы были очень модны и (по тем временам) безумно дороги. Она то ли улыбается, то ли собралась улыбнуться. Мне она нравится. Чем? Может быть, своей незнакомостью. Я никогда не видела этой фотографии раньше. Когда-то Л. забыл мне ее дать (с фотолюбителями часто бывает), зато теперь послал в Горький и оттуда пришло подтверждение, что она дошла.

Из письма А. Сахарова от 18.3.1986: «...хорошее письмо с большим твоим портретом 1949 года, я не сразу понял, кто это, вроде похожий на тебя... Я поставил фото на столе. Шляпка как у Марлен Дитрих». Мне очень хочется поместить в книжку эту давнишнюю себя, хотя знаю, что это отдает возрастным кокетством.

Еще о старых фотографиях: фотография 1942 года и моя служебная характеристика здесь (см. приложение № 11) — это уже не возрастное кокетство, а документы, противостоящие лжи Яковлева. Он пишет где-то, что я в конце войны укрылась в санитарном поезде. На фотографии я в шлеме и еще без погон — специалисты знают, что это доказывает: фотография сделана до 1943 года — до конца войны еще ох как далеко! А характеристика уже указывает точные даты и, кстати, корректирует меня. Я в своей автобиографии для суда написала, что была направлена в Беломорский округ в мае 1945, но характеристика, которую я нашла вместе с фотографией, уточняет, что время расформирования нашего поезда, ВСП 122, — июнь. Перед самым Новым 1942 годом я пришла туда после свердловского госпиталя, еще совсем не придя в себя после ранения и контузии, и три с половиной года он был моим домом и моим фронтом. На этой фотографии все начальство поезда — нач. поезда, врач, нач. АХО, две старшие медсестры, старшина и, чуть

не забыла (как всегда, потому что про всех точно знала, кто и чем занимается, а про него никогда не знала), замполит.

Хорошие люди. Их было не так уж мало — хороших. Конечно, на ланч много не позовешь, так лучше бы без еды, но с друзьями. Пасадена, Сан-Диего — передышка, отдых, дрессированные киты, никогда не успокоюсь, что я их видела, а Андрей нет.

В Сан-Диего я была у очень хороших людей, и те, кого они позвали, чтобы встретиться со мной, тоже были очень хорошие. Поверив в мою боязнь ланчей и обедов, хозяева мои устроили встречу без этого. Но то количество тортов, кофе, чая и прочего, что они наготовили, вполне компенсировало и ланч, и обед. И чем-то напоминало наше ленинградско-московское застолье, когда тут тебе все вместе — от завтрака до ужина. Но главное было не это, а живые глаза и хозяев, и их друзей, живые, когда я говорила про Андрея, живые, когда они спрашивали меня. А какие прекрасные, живые люди в Беркли и Сан-Франциско, какие парни в теоретическом отделе SLAC'a*.

Пало Альто и Менло-Парк, Нью-Йоркская академия, Колумбийский университет, Русский центр в Гарварде, Конгресс, приемы, ланчи и обеды в гостях, в торжественных залах и у себя дома, то есть в Ньютоне у детей, Национальная Академия, Ассоциация американских ученых, Бостонская Академия, Американское физическое общество... Люди очень разные: больше всего коллег Андрея — ученых, не только физиков; есть профессиональные политики; люди, связанные с прессой, писатели, актеры — в целом, я бы сказала, интеллектуальная элита. Мне все время думалось: каждый умней Андрея и меня — видел, слышал, общался, читал, ездил — мы во всем этом всю жизнь ограничены.

Многие из этих людей выступают по вопросам разоружения, войны и мира. Говорят о ядерной зиме, звездных войнах, разрушении окружающей среды. Обо всем страшном, что ожидает человечество. Они все в этом компетентны (или нам, некомпетентным, это кажется). Но, когда с ними общаешься, видишь, что им интересно жить — и этими проблемами, и просто интересно. И никакого страха перед будущим своим и человечества они не испытывают — ни врачи, которые против ядерной войны, ни ученые, которые ведут неправительственные переговоры о разоружении, ни все другие разные специалисты. Они постоянно говорят и пишут обо всех этих ужасах чуть ли не профессионально, иногда почти полностью отойдя от той специальности, с которой начинали эту свою деятельность или «борьбу». Но в повседневной жизни они ничуть не обеспокоены тем, о чем говорят. У них на долгие годы распланирован труд и отдых, ремонт или покупка дома, новая страховка, дающая возможность «списать» налоги; завтрак дома, деловой ланч, обед с женой и друзьями.

Мне нравится, как они живут. И спят спокойно, не замечают, что нарушили сон и вогнали в депрессию миллионы других, — особенно интересны в этой роли врачи; не знаю, что и кому они объяснили, но эпи-

* Stanford Linear Accelerator Center (Стэнфордский линейный ускоритель). — Ред.

демию если не создали, то поддерживали — эпидемию бессонниц, неврозов, пограничных состояний. В Горьком женщина, работающая на почте, сказала мне (когда нам еще разрешали разговаривать с окружающими), что собирается делать ремонт в своей однокомнатной квартире и купить ковер. Спустя некоторое время она же: «Не знаю, стоит ли все это затевать, — говорят, скоро война...» Может, и здесь, в США, те, кого называют «простые люди» (чем они «простые», почему?), думают так же, как эта женщина, что не стоит покупать ковер, но интеллектуалы — явного нет. Этот феномен интересен, но не мне его разбирать.

Я попробую рассказать только об отношении к Андрею, заодно и ко мне, так как сейчас это возможно выразить только вкупе и через меня. Большинству мы, в общем-то, не нужны, но почти все проявляют формальную заинтересованность (ну, на обедах и приемах уж такую формальную, что, бывает, кому-то, кто изъясняет свое уважение, так и хочется задать вопрос: «А знаешь ли ты, кто такой Сахаров?»), почти все готовы что-то подписать (надо бы им больше предлагать на подпись), многие при этом очень мало знают. Это касается не только проблемы Сахарова. Характерно, что это знание им не кажется нужным. У политиков, мне показалось, иногда и по другим проблемам столь же мало серьезной осведомленности. Как будто что-то другое их ведет к действию, а не знание проблемы (будь то Никарагуа, энергетика, медицина, образование, права человека) — какой-то другой стимул. Может, это престиж: главное — понять, что престижно, а что нет. Немногие читали публикацию документов Андрея. В SOS* каждому присутствовавшему на встрече со мной вручали копию — они, видимо, знают своих. И именно там я встретила людей, серьезно занятых проблемами прав человека, а не разговорами о них. Но и в других местах есть такие, кто хочет и знать, и что-то делать, и с ними хочется говорить, потому что ощущаешь сопереживание, видишь живые глаза, а не ту отстраненность и пустоту, как было, когда Андрюша рассказывал о том, что с ним произошло в эти два года, своим советским коллегам, приезжавшим в ноябре 1984 и феврале 1985 года. Есть такие, что очень много говорят и про свои дела, и про нас, но...

Сейчас мне надо объяснить одно из самых трудных своих открытий. Я буду говорить о тех, кто знает имя Сахарова, знает даже и его дела, и взгляды, всегда все подписывает, иногда выступает первым, призывает других, говорит о Сахарове с советскими администраторами (научными или государственными — все равно). Этих людей я условно делю на две категории — для одних Андрей живой, и все, что с ним связано, у них болит, как свое; для других — символ, игра, политика, даже собственный успех, т.е. мертвое понятие, боюсь сказать — мертвый человек. Я поняла это, когда меня пригласил один из больших чиновников.

Вы не знаете, наверно, что у Белого Дома есть не парадная сторона — по-русски говорят «задворки». Я знаю. Случайно. Проход шириной

* Комитет защиты Сахарова, Орлова, Щаранского. — Ред

со среднюю улицу от административного здания. В него мы вошли через аэродромного типа «пропускalkу» и с выписанными заранее пропусками. За «пропускalkой» нас встретили мои старые знакомые — американские дипломаты, отработавшие свой срок в Москве (вот уж правда — «у каждого свой срок». Я бы еще добавила — «и в своем месте»). Может, они теперь заняты тем, что называется «формировать политику». Нет! Ничегошеньки они не формируют — выражение их лиц напоминает мне давнюю историю. Я ее расскажу.

Когда в 1981 году Алешка решил вступать с Лизой в заочный брак, нам надо было заверить подпись Лизы на документе, гласящем, что она доверяет Эду Клайну* представлять и заменять ее во время церемонии бракосочетания. Мы обратились к помощи американского консульства в Москве, поскольку априори было ясно, что ни один советский нотариус такой документ не заверит. Два милых молодых сотрудника консульства — мы с ними потом подружились — сказали нам: «Да, конечно, мы посоветуемся с нашим адвокатом». Адвокат, постарше их, но тоже молодой (американцы не боятся молодых), сказал: «Конечно», — и все трое сказали: «Мы запросим госдепартамент. Думаем, что ответ будет быстро». Потом я ходила к ним в течение четырех месяцев каждую неделю, специально приезжая из Горького, как-то специально встала с постели — у меня был тяжелый грипп. Их лица при встрече со мной становились все напряженнее. Кажется, даже менялся постепенно сам тембр голоса, когда из раза в раз они мне говорили: «Знаете, там меняется администрация, ответ еще не пришел». И наконец — ответили: «Разрешили». Мы приехали на следующий день уже вместе с Лизой. Видели бы вы сияние на их лицах! Они перестали стесняться нас и, может, своих начальников, говорящих много о гуманитарных проблемах Хельсинкского акта (чем не проблема — дать жениться двум молодым людям?). Так Эд по доверенности от Лизы стал «наша невеста» (прозвище это дал Андрей, и оно укоренилось у нас в обиходе).

Сегодня сюда со мной пришли Алеша, Рема и Эд — «наша невеста». Они не знают этого выражения полусоболезнования, полувиноватости, с которым нас встретили мои старые знакомцы. «Интересно, зачем нас — меня — сюда позвали? Я не просилась — „никого не трогаю, починаю примус"». Проход неширокий, кругом запаркованы машины. Это не то что в Кремле — я, между прочим, там бывала, тоже не просилась, сам звал Анастас Иванович Микоян. У него тоже бывало виноватенькое выражение глаз: он живой, а папа мой... а ведь друзья, и всю-то молодость вместе и даже «на одном коне воевали».

Там, в Кремле, часовых много, на разных уровнях, на разных этажах стоят по несколько, и все они в парадной форме и по струнке, а здесь, я бы сказала, по команде «вольно». За проходом дверь небольшая, такая обыкновеннейшая. А в Кремле двери так уж действительно двери — в два человеческих роста, дубовые — ну, так и несет дубом, хо-

* Эдвард Клайн, нью-йоркский бизнесмен, член редколлегии издательства «Хроника», друг семьи Сахаровых. — *Ред*

тя я лично в сортах строительно-мебельного дерева и не разбираюсь. А ширина, а тяжесть! И двигаются так беззвучно! По сравнению с кремлевскими здешняя дверь — совсем провинциалочка. Дверь эта действительно в белой стене — так что дом белый.

Но зачем сравнивать с Кремлем; Кремль — это так далеко. Можно найти и ближе, взять хоть Конгресс США: все просторно, всего много — холлов, окон, дверей, залов, коридоров, лестниц. В Конгрессе лестницы, как символ чего-то уводящего вширь и ввысь, — лестница, как в эйзенштейновском «Потемкине». А здесь за дверью лестничка узенькая, как в светелку, а за ней комнатки небольшие, потолочки невысокие. С этого входа Белый Дом звучит камерно.

Нас тоже ввели в такую же небольшую комнату. Притом, что нас было четверо и двое знакомых еще по Москве, да там было еще три человека, в ней стало сразу как-то тесно. В голове промелькнуло и мгновенно растаяло наше московское «в тесноте, да не в обиде», не пришлось к настроению. Нас принимал адмирал Пойндекстер*. Он говорил о глубоко уважении, которое питает к моему знаменитому мужу. Сказал, что американская администрация глубоко озабочена судьбой моего мужа и многих других, но в настоящее время она считает, что лучшим способом им помочь являются тихие, не публичные действия. Поэтому меня пригласили в Вашингтон, чтобы он мог принять меня вместо президента.

У меня сложилось впечатление, что советник по национальной безопасности, кроме общих слов «права человека», не осведомлен о конкретной деятельности Сахарова по предотвращению ядерных испытаний, о его роли в заключении Московского договора, о его научных работах и, в частности, пионерских трудах по использованию термоядерной энергии в мирных целях. Из всего сложного комплекса проблем, которыми Андрей Сахаров занят много лет и которые нашли отражение в названии Нобелевской лекции «Мир, прогресс, права человека», иногда вычленяется только одна, и тогда не понимается исключительность личности Сахарова, значения его свободного голоса в современном мире. Должна сказать, что такой ошибочный взгляд на Сахарова просто как на наиболее крупного — потому что он академик — советского диссидента все еще нередко встречается и в научных, и в политических кругах и говорит только об узости исторических представлений.

Я не просила приема ни у президента, ни у господина Пойндекстера. Но, узнав о его приглашении, я попросила доктора Манкура отложить операцию ангиопластики и отпустить меня на три дня из больницы Масс-Дженерал, где я тогда находилась. Я думала, что адмирал собирается сказать мне нечто серьезное или, по крайней мере, новое. Но «тихая дипломатия» при защите прав человека — это такая старая песня. Неужели было так необходимо принимать меня именно в эти дни «вместо президента» и тем самым включать в какую-то политическую игру, явно вредную защите моего мужа. И других правозащитников.

* Советник по национальной безопасности (1985-1986). -- Ред.

Мне не показались новыми и те доводы, которые привел адмирал. О «тихой дипломатии» и в прошлом иногда говорили как о наилучшем пути защиты прав человека. Я никогда не могла с этим согласиться, не согласна и сейчас. В этом смысле я верная и последовательная ученица своего мужа! Академик Сахаров считает гласность главным оружием борьбы за права человека. Кажется, ни господин адмирал, ни я так и не приняла доводы другой стороны. Прощаясь, советник президента по национальной безопасности просил передать свое уважение моему мужу. Конечно — я передам. Наша встреча продолжалась недолго. Нас вновь провели по узким лесенкам. Внизу, в маленьком вестибюле, мимо нас стремительно, почти бегом прошла небольшая группа людей. Потом Алеша мне сказал, что это был вице-президент Буш со своей охраной. Уже не возвращаясь в административное здание, мы по проходу мимо часовых вышли в город. Мне жаль, что я не видела знаменитой белой овальной залы (мне нравится писать «зала» — кажется, что это соответствует стилю всего дома — Белого Дома) и лужайки, где президент подписывал закон о Дне Сахарова, так что я не смогу рассказать Андрею, как они выглядят, но как выглядит непарадная сторона — я обязательно расскажу.

Права человека. Об этом говорят и этим занимаются самые различные люди и самые разные организации. Но отношение к ним бывает разное, иногда чисто теоретическое, так сказать, абстрактное, иногда живое и человеческое. Я всегда с горечью вспоминаю президента Картера. Однажды он сказал: мы будем заниматься проблемой прав человека, но мы не будем заниматься отдельными случаями. Сказав это, он сам разрушил то глубокое уважение, которое вызывала его позиция, начиная с инаугурационной речи и до этого неудачного выступления. Не может быть защиты прав человека без защиты каждого человека, который нуждается в защите. И сейчас есть политики или общественные деятели, которые заняты проблемой, но не заняты каждым отдельным случаем: на самом деле они и проблемой не заняты, только о ней говорят. И есть такие, что заняты человеком, его судьбой.

Часто дела в защиту Сахарова у первых и вторых сливаются вместе — это обычно на подъеме, вокруг какой-нибудь даты, события, когда празднуют день рождения или объявляют День Сахарова, на престижном приеме, перед выборами и т.д. Часто они расходятся совсем. Одни говорят: не надо раздражать, сделаем, но тихо; другие говорят: всё надо вслух — мы же не вореем. Эти первые едут в Москву, чтобы встретиться с научным истеблишментом и поговорить о разоружении, контактах, обменах и, конечно, о Сахарове. Почему нет? Если в кабинете и тихо, чтобы никто не узнал, то советских это даже не бу-

дет раздражать, а западным представится отчет: разговор был. Советские давно поняли эту игру и приняли ее. Западные делают вид, что не знают, что это игра.

Но они знают. И это особый вид двоемыслия. Всегда говорят, что двоемыслие характерно для советского общества. К сожалению, не только. Я для себя открыла двоемыслие «западное». Один такой ученый на днях мне сказал — мне лично, — что Белый Дом его не любит больше, чем Кремль Сахарова. На мой вопрос, чего же он здесь (дело было в Вашингтоне, на роскошном приеме) и чего это ему так часто разрешается ездить в Москву (не говорю — занимать все его посты), он мне не ответил. Наверно, ответить нечего.

Очень странно с отношением к Андрею. Похоже, многие не хотят и не могут понять (другая ментальность), что оставлять Сахарова дальше в Горьком нельзя, что это гибель — не сегодня, так завтра, — смерть. Зато они будут интересоваться, все ли препринты до него доходят. Иногда доходят, иногда нет (временами с тараканами). И в тот миг, когда надо будет сделать, чтобы не доходили, доходить перестанут. Их волнует, как часто ездят коллеги, — не волнуйтесь, так часто, как надо, чтобы замутить вам мозги, дорогие друзья, чтобы вы думали, что обстановка у Сахарова для научной работы самая благоприятная. Даже теперь, после публикации письма Александрову, они ведут разговор об организации медицинской помощи Сахарову в Горьком. Помощи? От кого? От тех самых врачей, которых Сахаров называл «Менгеле нашего времени». Оставить Сахарова в Горьком нельзя — и, пока этого не поймут для начала хотя бы те, кто занят проблемой прав человека, в Горьком можно сделать все, что угодно, и никто не будет знать. Весь мир будет продолжать смотреть фильмы, за которые через Виктора Луи гонорар получают сотрудники Комитета госбезопасности... Все будут обсуждать, как выглядит Сахаров в очередном фильме и что же он сказал на самом деле. А такие фильмы можно стряпать и выпускать в свет после того, как одного из нас или обоих уже не будет на свете.

Добавление от 2 мая 1986. Фотография в «Бостон глоб» — первая демонстрация в Киеве — фото ТАСС. Эти радостные лица в дни, когда все люди на Земле с тревогой подходят к телевизору с одним вопросом: «Что там?» Обман для всего мира и обман своих людей — всё вместе. И страшно от того и от другого.

И снова вопрос. А что, коллеги моего мужа и дальше будут вести всякие неправительственные переговоры о разоружении, Пагуошские конференции и прочее без его участия, таким об-

разом пренебрегая единственным голосом, независимым и компетентным вместе?

27 апреля я была гостем Национальной Академии. Мне представили физика, занимающегося проблемой мирного использования термоядерной энергии. Он за сотрудничество в этой области. Я спросила:

— Без Сахарова — он ведь автор самых первых работ и еще жив — вроде как незтично и аморально действовать?

— Зато рационально. Но мы помним вашего мужа.

— Такая память — это как мертвого помнят, так, что ли?

— Возможно.

Он не страдает двоемыслием, этот ученый, — он реалист. Но и те, у кого двоемыслие, по крайней мере, не морочат голову. Гитлеровская Германия, может, потому существовала только 12 лет, что не украшала красивыми словами все свои стремления. Ее идеологи говорили откровенно — они не страдали двоемыслием и двоесловием (простите за новый термин).

Нет, не буду ругаться. Буду надеяться. Ведь я знаю, что есть и такие, которые все понимают и у которых сердце не заросло равнодушием. Лучше кого-то недоругать, чем ругнуть кого-то напрасно.

Вторые — имя Сахарова им обычно не приносит выгоды, успеха, популярности, иногда в своей честности и бескомпромиссности они что-то реально теряют: их куда-то не выберут, куда-то не пригласят, не дадут въездную визу, где-то не посадят на почетное место, — но живы мы ими, и это им я говорю: «Дорогие, родные, хорошие, спасите Андрея Дмитриевича!» Это им говорил Андрей: «Помогите нам, мы надеемся на вашу мощь».

Прошение о помиловании. — Андрей начинает новую голодовку. — Подделки и фальшивки. — Повторная голодовка. — «Горбачев дал указания разобратся...» — Десятилетие Нобелевской премии. — Горьковский ОВИР.

И вот мы переходим к заключительному этапу Андрюшиной борьбы за мою поездку. Он долгий, он такой же мучительный, как предыдущий, или по-другому мучительный. Начался он, надо считать, с осени 84-го, когда Андрей писал надзорную жалобу и письмо Александрову. Первый вариант надзорной жалобы он показывал Резниковой в начале ноября и закончил ее в конце месяца. Тогда же написал вариант очередного обращения и письма Александрову и сделал попытку переслать их на Запад. Это было в конце 84-го года. Вторую попытку он сделал в начале весны 1985-го. Я написала прошение о помиловании. Вначале я вообще не хотела его писать. У меня силен диссидентский рефлекс или трафарет, по которому прошение о помиловании — все равно что раскаяние. Андрей же так не думал никогда и сумел убедить меня. К приезду Резниковой в марте прошение было у меня готово. Я хотела, чтобы она сдала его в Москве в отдел писем Верховного Совета. Нам казалось, что это лучший путь. Но она отказалась. О самом прошении Резникова сказала, что так помилования не просят, что я должна осудить свою деятельность. Я сказала, что я знаю, как пишут прошения о помиловании, но свое переделывать не буду. Я послала свое прошение о помиловании по почте в конце марта или в начале апреля.

В Президиум Верховного Совета СССР
От Боннэр Елены Георгиевны, проживающей
603137, Горький, проспект Гагарина, 214, кв. 3.

ПРОШЕНИЕ О ПОМИЛОВАНИИ

10 августа 1984 г. Горьковским Областным судом я осуждена на 5 лет ссылки по ст. 190-1 УК РСФСР.

В приговоре мне инкриминированы восемь эпизодов: четыре относятся к 1975 г., когда моему мужу академику Сахарову Андрею Дмитриевичу была присуждена Нобелевская премия мира и я по его поручению и доверенности в соответствии со своими убеждениями принимала за него премию и участвовала в нобелевской церемонии; два следующих эпизода — это (согласно приговору) изготовление, подписание и распространение двух документов Московской Хельсинкской группы (1977 и 1981 г.); седьмой — устный рассказ о жизни Сахарова в Горьком; восьмой — интервью французскому корреспонденту на третий день после того, как у меня был диагностирован крупноочаговый инфаркт. Все вышеперечисленное было сочтено судом уголовным преступлением, за которое я и была осуждена.

Я родилась в 1922 г. Мой отец арестован в 1937 г. как изменник Родины. Вскоре как член семьи изменника родины была арестована мать. С 15 лет я работала и училась. Жила с бабушкой, младшим братом и сестрой. Я никогда не верила в виновность родителей. В 1941 г. я добровольно пошла в армию, оставив семью в Ленинграде, вскоре ставшем блокадным. Дети выжили, бабушка умерла. В октябре 1941 г. я была тяжело ранена и контужена. В конце декабря после госпиталя направлена на сан. поезд в должности медсестры, а затем ст. медсестры. В 1943 г. вторично ранена, с поезда не уходила. В 1945 г. назначена зам. нач. медчасти отд. саперного батальона. Демобилизована в августе 1945 г. в звании лейтенанта мед. службы и инвалидом Великой Отечественной войны второй группы. Два года лечилась в различных госпиталях. В 1947 г. поступила в Медицинский институт, во время учебы работала медсестрой в детской больнице. По окончании института работала как врач-лечебник и преподаватель. Имею более 32 лет безупречного трудового стажа, несмотря на то, что всю жизнь с 22-х лет являюсь инвалидом Великой Отечественной войны. В настоящее время — пенсионер.

В 1977 г. мои дети — сын и дочь с семьями — были вынуждены эмигрировать и живут в США. Я хочу увидеть своих детей,

четырех внуков, младшую из которых я никогда не видела, и мать, которая в настоящее время находится у них. Она советская гражданка и может вернуться в СССР, но ей придется жить совсем одной в Москве в ее 84 года (мой брат, штурман дальнего плавания Морфлота СССР, погиб в плавании в Бомбее в 1976 г.) или жить вместе со мной в ссылке, в полной изоляции. Реально для нее это будет означать, что я предложу ей вновь пройти ссыльно-лагерный срок, 17 лет которого окончились для нее после XX съезда КПСС посмертной — за отсутствием состава преступления — реабилитацией мужа, собственной реабилитацией и восстановлением в партии, стаж ее в которой более 60 лет.

В сентябре 1982 г. я подала заявление на поездку для лечения глаз (в прошлом я трижды лечила и оперировала глаза в Италии) и для встречи с детьми, внуками и матерью. Ответа я не получила до сих пор.

Я прошу о помиловании и разрешении мне на поездку к детям и матери. Полтора года назад я перенесла крупноочаговый инфаркт, и эта моя просьба — просьба человека, который не может надеяться на долгую жизнь. Если Вы не сочтете возможным применить ко мне акт помилования, то разрешите мне в порядке приостановления действия приговора съездить увидеть в последний раз мать, детей и внуков; и если мне будет разрешено, то получить необходимое для сохранения жизни лечение.

Я пишу свое прошение о помиловании или о приостановке действия приговора в год, когда СССР и весь мир по решению Организации Объединенных Наций будут отмечать 40-летие победы над фашизмом — победы, в которую вложены и крупницы моих сил и здоровья. Я заверяю Вас, что моя поездка не будет иметь никаких других целей, кроме встречи с близкими; наша разлука продолжается гораздо дольше, чем шла Вторая мировая война. Я заверяю Вас, что вернусь в СССР, чтобы, сколько хватит сил, отбыть срок, назначенный мне судом.

Глубокоуважаемый Председатель Президиума Верховного Совета! Глубокоуважаемые члены Президиума Верховного Совета! Я обращаюсь к вам как к высшей государственной власти и как к людям, в надежде на вашу доброту и гуманность! Считите возможным проявить милосердие к тяжело больной женщине; дочери, матери и бабушке; ветерану Второй мировой войны и инвалиду Великой Отечественной войны второй группы. Ваш отказ обречет меня на смерть, так и не увидев мать, детей и внуков.

Елена Боннэр

12 февраля 1985 г.

У нас не было никаких доказательств того, что документы, которые Андрей пересылал, попали на свободу, попали на Запад. Андрей думал, что даже если документы не дойдут, то физики, дважды приезжавшие, расскажут западным коллегам все, что им сказал Андрей, Резникова расскажет (она была у нас 25 марта) о его планах Софье Васильевне* и хоть устно, но все это будет известно, и на Западе поймут, что с нами происходит в Горьком. Он просил Резникову передать Софье Васильевне, что просит Иру Кристи 16 апреля устроить в Москве пресс-конференцию и сообщить, что Андрей вновь начал голодовку за мою поездку. Почему Ира Кристи? Андрей считал, что ей меньше всех грозит лагерь или Сибирь, потому что у нее маленький ребенок и потому что она подала документы на выезд и, скорее всего, проблему решат тем, что выпустят ее. Поэтому Андрюша считал, что ей даже выгодно получить от него такое поручение. Мы не знали, что Ира Кристи после поездки 84-го года была несколько месяцев в осаде и что Сережа** очень тяжело переносил это. Мы ничего не знали. Но, когда Андрюша уже начал голодовку, мы получили от Маши телеграмму, что Ира Кристи вызвана в ОВИР и начинает собирать документы, чтобы по-быстрому выезжать, что ей дают разрешение. К этому времени Андрей считал, что его документы попали в КГБ и Бог с ними, с документами, но ведь Ире Кристи устно передали его поручение и она выполнит его. То, что ее вызвали в ОВИР, казалось подтверждением этого. Однако здесь все оказалось не так. Здесь КГБ переиграло и нас, и Иру Кристи, и всех наших друзей.

16-го числа Андрей начал голодовку. Меня часто спрашивают, каким образом была выбрана дата голодовки. А никаким серьезным. То Андрей думал, что 40 лет победы, и меня обязательно помилуют, и голодать он будет недолго; то, что весной голодовка легче переносится, чем в холод; то я все время уговаривала подождать. Он вначале хотел в марте, но я ему говорила: «Представляешь, каково им там будет в Бостоне? День рождения Тани, а ты будешь голодать». Потом я просила подождать до Пасхи: мне хотелось испечь куличи — не так есть, как именно испечь. Вот и сошлись, что на Пасху он ест куличи и пасху, а потом начинает голодовку.

* С.В.Калистратова, адвокат, член Московской Хельсинкской группы. — *Ред.*

** Сергей Генкин, математик, муж Ирины Кристи. — *Ред.*

В церковь в Горьком Андрей не ходил ни разу. О его отношениях с верой и с религией (религиями) я писать не буду, это слишком серьезно и слишком интимно. Он сам пишет об этом в своей книге. В Москве в пасхальную ночь (а иногда в Страстной Четверг или Пятницу) мы ходили к церкви, иногда с ребятами, иногда вдвоем, часто даже не внутрь, а просто постоять поблизости.

Я пошла однажды в Горьком в 1980 году в Страстную Пятницу, в конце дня, одна. У нас там недалеко за мостом очень милая церковь. Уже собираясь уйти, я присела на лавочке внутри церковной ограды. Рядом сидели несколько женщин моего возраста и стояли два мужика. Разговор у них был спокойный и вполне мирный. Один из мужчин сказал женщине, сидящей рядом со мной: «Пойдем, а то скоро темно будет, а хулиганья развелось». Женщина поднялась, а кто-то из сидевших сказал: «Да стрелять их надо побольше». Мужчина поддержал: «Это правильно, стрелять надо, всех». — «Ну уж и всех, — не выдержала я. — Всех, может, все-таки не стоит». — «Нет, стрелять, — убежденно продолжил второй мужик, — а то пораспустились, никакого порядку». И третья женщина сказала: «Круче надо, круче». — «Да было уже круче, куда еще?» — снова влезла я и, чувствуя, что могу попасть в ненужную мне перебранку, встала и пошла от скамейки, но спиной еще слышала их неодобрительные теперь уже мне замечания — будто это именно я всех распустила. Больше я в церковь не ходила. Я эту историю рассказала как-то Верочке Лашковой, и она сказала: «Ну, что вы удивляетесь, это везде так». Да, вот и Верочки теперь в Москве нет. Пока я еще была связана с Москвой, мне ее так не хватало.

Вот из-за куличей и пасхи и дата была выбрана после Пасхи, 16 апреля. Я сделала Андрею клизму, он выпил слабительное. Сам, один. Я чувствовала себя препаршиво, оттого что он снова делает это один. Мне казалось всё совсем безнадежным, а физически я не находила в себе сил делать то же, что Андрей. Поэтому, уже перестав сопротивляться его плану голодать, вяло соглашалась с ним, что мне не надо это делать, что я все только осложню. Трусил я, наверно, но не голодовки, а всего с ней связанного. Я очень поняла в эти дни, как болезнь меняет человека.

21 апреля около часа дня к нам в дверь позвонили, и пришел Обухов, а с ним человек шесть мужчин и две женщины. Обухов сказал, что он пришел, чтобы отвезти Андрея Дмитриевича в больницу. Андрей стал отказываться. Женщины стояли в коридоре. Одна из них сделала мне знак рукой — я так по-

няла, что она просит меня выйти в коридор. Я не поняла, зачем, и вышла по ее знаку. Потом — я не поняла, как, но они меня оттеснили из коридора в маленькую комнату. Обе эти женщины сели по правую и по левую сторону от меня, и, хотя они меня не держали, я уже знала, что ни пошевелиться, ни вырваться не смогу. Дверь в коридор они закрыли.

В это время из большой комнаты я услышала крик: «Люсенька! Мне делают укол!» Потом Андрей закричал: «Мерзавцы! Убийцы! Береги себя!» И снова: «Люся, мне делают укол!»

Я пыталась ему что-то кричать, но не знала, слышит он меня или нет. Когда он уже вернулся домой, выяснилось, что он меня слышал. Потом шум какой-то в комнате за стеной, потом все смолкло. Я услышала, как стукнула дверь на лестницу и шаги. Открылась дверь ко мне в комнату, и эти женщины мгновенно исчезли. И какой-то мужчина, который, видимо, командовал всем этим, стоял в коридоре один. Я бросилась к нему и говорю: «Где и что я могу узнать о своем муже?» Он мне сказал: «Вам сообщат». Потом сказал: «Всех благ», — и закрыл за собой дверь.

Я вошла в большую комнату. Стол был отодвинут к окну. Один из стульев валялся на полу, и на диване, там, где лежат разные подушки, были видны следы борьбы — все было разбросано и смято.

На следующий день, когда я вышла к машине, одна из пожилых женщин, живущих в нашем доме, проходя мимо меня (я вытирала стекла), шепотом сказала мне: «Деда вчера вынесли на носилках».

И началось время, когда я ничего о нем не знала. В отличие от предыдущего года, когда следователь Колесников мне что-то, правду или неправду, сообщал о нем, брал передачи, передавал записки, в этом году ничего такого не было. Но я стала получать письма из Москвы. Много писем от Маши* — о том, как Ира собирается, о том, что Сережа болен, потом Сережа вышел из больницы, о том, как Ира уезжает. И вообще полный ажиотаж в связи с Ириным отъездом, причем они явно не понимали, почему Ира уезжает, в отличие от меня, которая понимала, просто знала, почему.

Я стала посылать им телеграммы. Я знаю совершенно точно, что с 21 февраля по 23 октября никогда не писала «целуем»,

* Мария Гавриловна Петренко-Подъяпольская (см. стр. 11). — Ред.

«мы», «Люся, Андрей» или что-либо во множественном числе. Никогда. Ни разу. Все, что в этот период звучит во множественном числе, — поддельно. А вот открытка от 17 апреля, которая сбита с толку (правда, временно) моих детей, не была поддельной. Но она написана 17 апреля, т.е. до того, как Андрея увезли.

Я просила в телеграммах и Иру, и Машу связаться с адвокатом. Я уже начала понимать, что Резникова ничего не сказала Софье Васильевне, может, Софья Васильевна больна, или еще что — я ведь не знала. И я все время писала им: «Встретьтесь с моим адвокатом», «Встретьтесь с моим адвокатом». Адвокату я послала телеграмму о том, чтобы она не занималась продажей дачи, пока не увидится со своим доверителем. И от нее я получила ответ — я думала: значит, она поняла что-то.

Но вместо моих телеграмм и Маша, и Галя, и Ира, и все получали совершенно другого содержания телеграммы. С Машей я дошла до того, что послала ей телеграмму в стихах, вот такую: «Не образумлюсь и не пойму, я как на тризне, вы — на пиру, прямо от злости скоро помру». Потому что Маша писала, у кого день рождения, у кого проводы, у кого еще что и вообще рассказы про интересную московскую жизнь. И никакой реакции на мои телеграммы.

В день рождения Андрея я получила на удивление много поздравительных телеграмм. Одновременно я получила разные подарки для Андрея: конфеты от Флоры*, чай от Лидии Корнеевны, от кого-то торт, шоколад, еще что-то такое. Книги от Иры и какие-то там письма или телеграммы от Иры же, что она уезжает, что она целует, поздравляет и прочее Андрея.

Я собрала все подарки и, указав, кому что принадлежит, отправила их в Москву на адрес Лены** с просьбой раздать. Когда я была на почте, посылала посылку, пришла телеграмма от Маши, и мне ее сразу вручили — телеграмма, что Ира улетила, была отправлена с аэродрома. И в этот же день вечером в моем доме звучало по радио «Свобода» без глушения выступление Иры Кристи прямо у трапа самолета, где она сказала, что может уверенно заявить, что если Сахаров и голодал, то в настоящее время он не голодает. Звучало так чисто, будто ГБ говорило мне: «На, слушай, и можешь делать что угодно: хоть головой бейся — никто ничего не узнает, хоть вешайся — пожалуйста».

* Флора Павловна Литвинова. — Ред

** Елена Львовна Копелева-Грабарь. — Ред.

Зла я была на Иру неимоверно. Эта злость продолжалась дня два или три. За эти дни, путешествуя на кладбище, я услышала, что дети, оказывается, уже получили поддельную открытку и понимают, что и телеграммы поддельные. Я поняла, что что-то начало раскручиваться, и перестала злиться на Ирку — даже испугалась, как бы ее не приняли за рупор КГБ. Там, на Западе, это любят, но я-то знаю, что она скорее умрет, чем сознательно сделает что-то нужное КГБ.

Это было 24 мая. А спустя пять месяцев в Ньютоне я смотрела поддельные открытки моим детям, поддельные телеграммы. Ни одной полностью с моим текстом. Нигде не было, что я прошу повидаться с адвокатом. Везде подписи такие, что действительно похоже, что мы вдвоем. Интересная деталь. Я увидела тут извещение о вручении почтового отправления — Ира нам что-то послала и получила извещение. Там есть моя подпись и мои слова: «Только желаю счастливого пути», — я полагала, что слово «только» как-то всех насторожит, ну, и единственное число «желаю». Извещение пришло со словом «желаем». Исправление видно отчетливо, но его увидели только здесь. Те, кто занимаются этой работой, сочли это исправление недостаточным и добавили еще подпись Сахарова. Две подделки — не так уж много, чтобы множество людей во всем мире думали, что с Сахаровыми все хорошо.

Я стала часто вспоминать, глядя на поддельные подписи — то мою, то Андрея, — что когда-то приятельствовала с одним милым человеком, у которого было хобби — подписи знаменитых и великих людей. Он так лихо на чистом листе бумаги сверху вниз писал «А. Пушкин», «Федор Достоевский», «Лев Толстой», «Максим Горький», «В. Ульянов-Ленин» и заканчивал «ИСталин», что многие просили такой листок на память. У меня на Чкалова тоже где-то в захоронках валяется такой лист.

Другую историю я узнала в Москве. В августе пришло письмо от Марины — внучки Андрея. Она писала деду, что поступила в университет. Я хотела ее поздравить и послала в подарок магнитофон. На бланке посылки я написала: «Дорогая Марина, поздравляю и рада за тебя. Уверена, что, когда дедушка сможет узнать, он тоже будет очень счастлив». Казалось бы, ясно: Андрея дома нет. Но, когда приехала сюда, я узнала:

* 27 мая семья в Ньютоне сообщила прессе об открытке от Е.Г.Боннэр, полученной 25 мая, и о подделках, обнаруженных в ее тексте и подтвержденных графоаналитической экспертизой. В частности, дата написания — 1 апреля — была исправлена на 21 апреля, не рукой автора. (См. фотографию.) — *Ред.*

вся Москва говорила, что дед прислал подарок и, кроме того, телеграмму — значит, он дома. Все это я пишу подробно не только для летописи, но и как предупреждение на будущее -- не верьте, друзья, ничему, кроме непосредственного контакта. Да вот, кажется, современная техника не дошла еще до подделки телефонных разговоров. А может, я не знаю последних достижений в этой области?

Как только я поняла, почему уезжает Ира, приблизительно со середины мая я стала «вывозить» Лесика Гальперина, может быть, даже раньше, где-то около 10 мая. Я стала писать письма, зная прекрасно, что все мои открытки и письма, когда я их опускаю, идут в КГБ: ведь все гебешники видят, когда я опускаю почту, где бы я ни опускала. Но все равно я куда-то ездила на другой конец города и делала вид, что тайком опускаю. Писала Н.И.И., писала на другие адреса в Ленинграде, которые помнила, назначала Лесику тайное свидание на кладбище с тем, что я ему там передам что-то, что я оставляю ему записку в тайнике у какой-то могилы.

И каждый день стала ездить на кладбище. На кладбище я стала ездить, потому что во время этих бдений, с Лесиком связанных, я обнаружила, что там довольно хорошо слышно радио. Я слушала радио обычно долго, часов с 4 дня и до 9-10 вечера. Так как дни были длинные и было светло, я пренебрегла своей обязанностью ссыльной в 8 вечера быть дома. Я вообще считала, что на отметку я хожу, а вот 8 вечера — это дополнительные выдумки, и выполнять это я не обязана. Я очень надеялась, что раз Ира Кристи выехала благодаря тому, что Андрей поручил ей передать какие-то сведения о нас, то, может быть, я помогу Лесику выехать, прося его приехать и взять у меня какие-то поручения.

30 мая мне принесли повестку — 31 мая в 11 часов утра явиться в райисполком Приокского района к заместителю председателя райисполкома. Я думала, что меня вызывают в связи с нарушением режима: что я к восьми не бываю дома. А стала я возвращаться то в 9, то в 10: когда стемнеет или комары начнут кусать, тогда и еду домой. Мне было совершенно нестерпимо быть дома, я с утра уезжала, где-нибудь куплю себе какую-нибудь булку, иногда термос с кофе брала с собой, иногда баночку сока. Весь день на стороне была.

Но оказалось, что это ответ на мое прошение о помиловании, которое я послала в конце марта или в начале апреля и, честно говоря, после 9 мая о нем забыла. До 9 мая еще казалось: «А вдруг? Все ж таки 40 лет победы».

Зампредрайисполкома, фамилию я его забыла, сообщил мне, что мое прошение о помиловании рассмотрено Верховным Советом РСФСР — я посылая в Верховный Совет СССР — и отклонено. Когда я его спросила о дате этого решения, кем это подписано и номер документа, он сказал, что ему этого не сообщили. Я ему сказала: «А что, если я соберусь снова подавать заявление, мне ж надо на что-то сослаться, на документ, который будет иметь номер и то, другое, третье». — «Мне этого ничего не сообщали. Меня уполномочили вам только сообщить, что ваше прошение отклонено». Я говорю: «Слушайте, вы работаете в учреждении, да еще в государственном, советском. А я достаточно грамотна, чтобы знать, что на каждый ответ или на каждую бумагу имеется номер, входящий или исходящий, имеется чья-то подпись и уж, конечно, имеется дата. Если вам это неизвестно и вы мне этого не сообщаете, то считайте, что вы мне ничего не сообщили, я вас в глаза не видела и знать не знаю. Да и вы меня не видели». Повернулась и ушла. И действительно, я настолько не восприняла этот ответ всерьез, что позже, когда увидела Андрея, забыла ему об этом рассказать.

На следующий или в тот же день со мной был такой случай. Пожалуй, это было 1 июня, 31 мая мне объявили об отклонении прошения о помиловании. Я на дороге подобрала чурбачок, чтобы сидеть на нем вместо табуреточки, и положила его в машину. Когда я положила его в машину, ко мне подбежали гебешники из сопровождающих машин и потребовали показать этот чурбачок. Я очень удивленно достала и показала им. Я даже и не поняла, когда они сказали: «Покажите», — что показать. Они его осмотрели со всех сторон, обстучали, я поняла, что они ищут тайник. По этому чурбачку я поняла, что что-то сработало, уж очень они стали внимательны ко всему, даже к чурбачку. Раньше я доски часто подбирала, и никогда они их не осматривали.

1 июня вечером меня вызвали в КГБ. Пришел молодой, красивый, элегантно одетый гебешный порученец и сказал, чтобы в полдесятого утра я была готова и что меня повезут в КГБ. И он очень вежливо говорит: «Вы не возражаете?» На что я ему ответила: «Какой мне смысл возражать? Если я буду возражать, вы меня не повезете? Все равно повезете, раз вам надо». С этим он ушел.

И вдруг ни с того, ни с сего, через полчаса или через час после его ухода я подумала, что меня вызывают в КГБ, потому

что Андрей умер. Это было ни на чем не основано, просто так. Вот я подумала, и всё. И думала так уже до самого приезда в КГБ. Я не плакала, я просто была в некоем ступоре.

Привезли меня в КГБ. Надо было подняться на третий этаж, довольно трудно мне было, я задыхалась и с нитроглицерином шла. Вошла в большой и явно начальственный кабинет, где меня, улыбаясь, чуть не с распростертыми объятиями встретил некто со знакомым лицом, в элегантном сером костюме, приблизительно моего возраста, ухоженный, плотный мужчина, который сказал: «Елена Георгиевна, мы с вами уже встречались, помните, во время следствия по дневникам Кузнецова? Моя фамилия Соколов*».

Я совершенно его не помнила в лицо, не узнала бы, но фамилию помнила, помнила о беседе, которая была до того, как я стала общаться со следователем. В первый вызов в Лефортово со мной довольно долго беседовал Соколов. В этот раз Соколов тоже долго беседовал, часа два. Но прежде, чем он начал беседу, я начала реветь, по выражению его лица я поняла, что Андрей Дмитриевич жив, что с ним ничего не случилось такого, о чем я думала целую ночь. Я стала плакать. Я плакала и плакала, а он меня спрашивал: «Что с вами?» И, в общем, не очень понимал. Я ему сказала, что я думала, что Андрей умер. Он, этак радушно улыбаясь, сказал:

— Да что вы! С Андреем Дмитриевичем все в порядке, все в порядке. Все очень хорошо.

Я говорю: «Чего ж хорошего, — сквозь слезы, — он голодает».

— Какая голодовка? Никакой голодовки нет. — Я продолжаю плакать, но уже понимаю, что... — И вообще никаких голодовок не было. И в прошлом году, вы напрасно думали, никакой голодовки тоже не было. Так, три дня каких-то.

Я начала понимать, что они, он в частности, считают, что если есть насильственное кормление, то никакой голодовки нет. И так им удобно представлять и всему миру, и начальству своему, Горбачеву или еще кому-нибудь. Никакой голодовки нет, все это выдумки западной пропаганды — есть насильственное кормление, но об этом можно и не говорить.

* Я постепенно пришла в себя; «успокоилась» — этого я не могу сказать. Разговор пошел таким образом: он, с одной сторо-

* Сергей Иванович (?) Соколов. По-видимому, с ним же встречалась Е.К.Алексеева, невестка Е.Г.Боннэр, во время голодовки Сахаровых в 1981 году. — Ред.

ны, пугал меня, что со мной будет хуже, что он знает, будто я предпринимаю попытки передать информацию, и за это мне попадет — я даже не могу представить себе, как сильно они меня накажут. А с другой стороны, он мне говорил, что я никогда никуда не поеду и никогда не увижу детей. А мама, что мама, она может приехать в любой момент, хоть сегодня, с мамой все в порядке. Никто вашу маму задерживать не будет. А вот дети, ваши дети очень плохие. И очень ругал детей. И так повторял несколько раз, что, во-первых, мне попадет за то, что я пытаюсь передать информацию, во-вторых, что мои дети очень плохие, в-третьих, что моя мама может в любой момент приехать и, в-четвертых, что никакой голодовки нет и никогда не было, и в прошлом году тоже. На этом мы с ним расстались. Причем в какие-то моменты в беседе звучало такое, что я, конечно, никогда не увижу детей, но, с другой стороны, если бы я была получше, то, может быть, и увижу. А потом снова пугание. Я стала огрызаться, и тогда он, мило улыбаясь, сказал: «Елена Георгиевна, ну, сколько вам инфарктов надо?» — «Для чего? Чтобы измениться, нисколько не помогут». Когда мы уже прощались, он мне сказал, что сегодня же увидит Андрея Дмитриевича. Тогда я его попросила, можно ли я с ним встречу снова после того, как он увидит Андрея Дмитриевича, хоть на несколько минут. На что он мне сказал: «Нет, этого я вам не обещаю. Но если вам что-то понадобится, пожалуйста, обращайтесь ко мне».

Такова была встреча с Соколовым 2 июня. Теперь я думаю, что, когда приезжал Соколов, и встречался со мной, и пугал меня, и встречался с Андреем, Горбачев уже дал указание КГБ разобраться с нашим делом. Но ГБ говорило: «Никакой голодовки нет, и ничего нет», — и вело свою политику. Так что у них шла своя борьба, в которой было не ясно, кто сильнее — Горбачев или КГБ.

После всех этих событий: отнятого у меня чурбачка, отклонения моего прошения о помиловании и разговора с Соколовым — я поняла, что моя игра с вызовами Лесика на свидания на кладбище, в общем, выиграна. И, похоже, главное содержание беседы с Соколовым: что я пытаюсь передать информацию, — связано именно с этим. 2 июня я послала телеграмму Лесику. Я писала: «Поздравляю с свершением, поцелуй маму и детей».

Лесик получил эту телеграмму 5-го, как было мною и помечено, в свой день рождения, но еще до того, как он мне сообщил, что его вызывали в ОВИР. И, конечно, поняв ее содержание, справедливо удивился, откуда я знала о его вызове уже 2-го числа. Сразу после вызова в ОВИР он написал мне пись-

мо, в котором, в частности, говорил, что хочет встретиться со мной перед отъездом и проститься, но не знает, куда обратиться за разрешением, и просит меня предпринять соответствующие шаги. Я получила это письмо 13 или 14 июня.

15 июня я отвезла в КГБ Горьковской области заявление на имя Соколова, в котором просила разрешения Гальперину приехать в Горький проститься со мной перед выездом из страны. Ответа на это заявление я не получила. Но числа 25 или 26-го я получила письмо от Лесика. Это письмо он написал в ночь перед отъездом. Он писал: «Ты получишь мое письмо, когда я уже буду за пределами СССР. Я понимаю, что наш выезд как-то связан с тобой и Андреем Дмитриевичем, как, мне непонятно. Я не хотел бы быть фигурой в игре КГБ против вас с Андреем Дмитриевичем. Я благодарен судьбе за то, что встретился с тобой, а потом — с Андреем Дмитриевичем. Надеюсь на встречу». Такое хорошее письмо о расставании, и в конце Лесик пишет: «Отъезд — это так трудно, это на пределе человеческих сил». Письмо, конечно, грустное, но, в общем, для меня это большая радость, что Лешка выехал и что хоть в чем-то удалось переиграть КГБ.

Вот такие события были после госпитализации Андрея 21 апреля 1985 года. Отъезд Иры, ее непонимание, что происходит, отправка мною подарков, присланных Андрею ко дню рождения, моя открытка с подделками, в которых разобрались дети на Западе, отказ на мое прошение о помиловании, беседа с Соколовым и отъезд Лешки.

Я продолжаю жить дальше. Радио я слушаю и понимаю, что весь мир очень волнуется о Сахарове. И наряду с реальными признаками нашей жизни, которые известны там: подделка открытки или еще что-то такое, — много неточного, неправильно-го, но все это вместе создает очень активное беспокойство, и ясно, что нас не забыли. В этом плане у меня даже было хорошее настроение, но ужасно было, что я ничего не знала об Андрее. Я ничего не знала, что с ним делают, — никаких известий.

Как же я вообще жила это время? Это трудно рассказывать, потому что, с одной стороны, время как будто остановилось, а с другой — шло, в общем, быстро. Постараюсь восстановить свой «распорядок дня». Вставала я довольно поздно. Заставляла себя завтракать, как обычно: две чашки кофе и творог. Творог покупала регулярно, тем паче, что есть не хотелось, а его я ем всегда, и есть себя надо было заставлять. Завтрак мой обычно кончался часов в 11. Потом какие-то повседневные, не много берущие времени дела по дому, и, если погода хорошая, я уезжа-

ла, чаще всего на кладбище, на дорогу к кладбищу. Брала с собой термос с кофе, когда пошли ягоды — ягоды или яблоки, какой-нибудь бутерброд. Проводила вне дома практически весь день, возвращалась после 9-ти, а иногда и к 10 часам вечера.

Надо сказать, что за все это время мне не было ни разу сделано официального замечания, что я нарушаю установленный мне режим, по которому в 8 вечера как ссыльная должна быть дома. Это мне было объявлено в Приокском ОВД еще в сентябре 84-го года. В ноябре я получила замечание — ходили в кино, смотрели «Чучело». Всю зиму у меня не было поводов нарушать это, так как мы вообще мало куда выходили: я очень плохо себя чувствовала, а уж вечером тем паче. Но с тех пор, как Андрея силой вывезли из дома, а я осталась с радиоприемником, я уходила из дома слушать радио. Во время этих своих отлучек из дома в районе кладбища мне удавалось слушать «Голос Америки», Би-Би-Си, «Немецкую волну», иногда — «Свободу», почти всегда Канаду и Швецию.

Мой радиодень обычно начинался в три часа передачей «Голоса Америки», слышимой редко, а в 4 часа — Би-Би-Си, получасовая программа слышна была в районе кладбища почти всегда. В полпятого — Швеция, слышно всегда, но, к сожалению, в субботу и в воскресенье они не дают даже последних известий. В полшестого по летнему московскому времени — Канада, слышна практически всегда. В 6 часов вечера начинается непрерывная восьмичасовая передача «Голоса Америки» на русском языке. В 6 часов вечера в районе кладбища мне удавалось ее слушать регулярно. В 7 часов Би-Би-Си слышно редко, «Голос Америки», «Свободу» в более поздние часы тоже слышно редко.

В общем, слушая различные радиостанции, я получала какое-то ощущение причастности к миру, понимала, что наше положение вызывает большое беспокойство, знала, что ребята ездят, много выступают. Я слышала передачу из Оттавы, когда там проходило совещание по правам человека в рамках Хельсинкского соглашения. Я знала, что над Оттавой летал самолет с плакатом: «Путь к миру лежит через Горький». Слышала, правда, очень забиваемые глушилкой голоса Алешки и Таньки. Слышала выступление Ремы в Лондоне. Сделала совершенно четкий вывод для себя, что когда идут передачи о Сахарове, то в Горьком и Горьковской области глушение усиливается, не знаю, как в других местах.

Однако, во всяком случае, то, что я летом 85-го года имела возможность слушать радио, создавало некий фон моего суще-

ствования, не совсем безнадежный. В 84-м году думалось, что память, может, о нас и жива, а больше, наверно, ничего нет. Я понимала, что дети беспокоятся и что-то делают, но конкретно ничего, в отличие от 85-го, у меня тогда не было.

В плохие дождливые дни — а лето в том году было не очень ясное, и много дождей было — я старалась находить себе работу по дому. Я сделала стеллажи в кладовке, при кухне, разобрала все наши хозяйственные принадлежности, там размещенные, всякую химию, стиральные порошки, мыло и т.п. На производство этих стеллажей и разного прочего хозяйства у меня ушло около двух недель. Потом я сделала большую, во всю длину комнатки, полку под потолком в самой маленькой, шестиметровой комнате. Полка для журналов с подпорками, упирающимися в шкаф, занимает в длину почти два с половиной метра. Там разместила все «Успехи физнаук», «Сайентифик американ», «Физикс леттерс» — таким образом, я отчасти разгрузила Андрееву рабочую комнату. Раньше там эти журналы лежали стопками на полу и на шкафу.

Пилила и строгала доски я обычно на балконе. Отношение горьковских жителей к этой моей работе было весьма отрицательным — во всяком случае, однажды бабы, проходящие мимо, довольно громко, специально, чтобы я услышала, сказали: «Жена Сахарова гроб себе мастерит».

Доски для этих работ я собирала вдоль дорог, благо у нас разбрасывают деревянные отходы, пиломатериалы в таком количестве, что, мне кажется, можно собрать на дом. Сбор этих материалов почему-то вызывал озлобление у сопровождавших меня гебешников. Я потом эти доски отмывала в ванной, сушила на балконе, и дальше они поступали у меня в работу.

Много занималась цветами. Перед балконом цветы, которые я сажала, и сеянцы растут у меня плохо. Частично потому, что их вытаптывают, частично потому, что я не могу как следует вскопать и обработать землю, да и земля там — не земля, а нечто несусветное; на самом деле, чтобы там сажать, надо землю привезти. Но на балконе цветы растут очень хорошо. Было очень много табака, левкоев, росли всех цветов и оттенков петунии, много календулы, незабудки. Была маттиола, по вечерам очень пахла. Табак, левкои, маттиола пахли так, что уже на подходе к дому слышен был аромат цветов. Через открытое окно запах цветов проникал во все комнаты квартиры, вечером — просто как будто в саду.

Сообщение о том, что в нашей квартире якобы никто не живет и окна не освещены*, было, наверно, основано на том, что кто-то ходил мимо и видел задернутые шторы, неосвещенные окна в той стороне квартиры, которая выходит на проспект Гагарина. Я действительно до вечера там не бывала, а вечером, обычно возвращаясь к 10 часам, готовила себе наскоро какую-нибудь еду в кухне и выходила на балкон. На балконе сидела иногда до часу ночи, ложилась поздно и еще долго читала. Прочла много научно-популярных книг по физике. Эта же тема была у меня основной при чтении летом 84-го года. Английских книг не читала — не было, прочла много интересных вещей в советских толстых журналах. Прочла поразившую какими-то параллелями с нашим тогдашним положением книгу Эйдельмана «Герцен против самодержавия». Прочла книгу «Императорский безумец», которая вообще столько ассоциаций вызывала, что было ощущение, как будто она написана специально про нас и автор думал о нас, когда писал эту книгу.

В общем, я не могу сказать, что мое время было пустым. Особенное удовольствие доставлял уход за цветами, потому что это было общение с чем-то живым. Кроме того, я купила книжный шкаф, круглый стол, сделала перестановку мебели, потихоньку, сама. И, купив книжный шкаф, сделала попытку (до конца это никогда не удастся) разобраться с книгами, которыми мы опять обросли неимоверно за шесть горьковских лет. Потихоньку мыла стены и потолок в кухне, стены в коридоре, в ванной. Потихоньку, потому что долго и в темпе физически работать я в это лето не могла. К врачам же обращаться, когда возникали приступы стенокардии, не хотела.

Летом 84-го года обращение к врачам не казалось опасным — я чувствовала, что меня хотят, во что бы то ни стало хотят довести до суда и кассации если не здоровой, то, во всяком случае, ходячей. Но в этом году мне казалось, что у них могут быть другие намерения и лучше к ним не обращаться. Несколько раз у меня были довольно тяжелые приступы стенокардии, трижды такие, что предписывала себе по несколько дней лежать, не выходить. Да и заставлять себя особенно не приходилось — была такая слабость, что выходить не могла, даже читать не хотелось или сил не было.

* Об этом сообщала западная пресса (напр., «Вашингтон пост», 1985, 10 июня) со ссылкой на неназванного человека, посетившего Горький. — *Ред*

Еще я хочу про это лето сказать. Я не держала голодовку, но у меня, видимо, произошел какой-то стресс, какое-то нервное потрясение. С момента насильственной госпитализации Андрея появилось отвращение к еде, мне приходилось заставлять себя есть, и я регулярно, три раза в день, ела. Утром обычно творог и кофе, днем я что-нибудь делала: яичницу с жареной картошкой, овощи какие-то вроде салата и еще что-нибудь, вечером — чаще всего бутерброды. В общем, я немало ела и ягоды себе покупала, покупала сметану, я люблю ягоды со сметаной, но при этом я все время худела, за период от 27 апреля до конца июня я похудела с 67 килограмм до 49-ти. У меня буквально стали торчать все кости, и на копчике появилось раздражение, похожее на предвестники пролежней. Лежать, сидеть мне было больно, пришлось купить подкладной круг и камфарный спирт, чтобы протирать кожу в этой области. Я просто стала бояться, что у меня появятся настоящие пролежни.

11 июля я была днем дома. С утра была не очень хорошая погода, и я не очень хорошо себя чувствовала. Около трех погода разъяснилась, но мне не хотелось никуда ехать, и я сидела и что-то шила. Раздался звонок в дверь, и появились доктор Толченев и какая-то женщина, которая представилась врачом районной поликлиники. А доктор Толченев — это заместитель Обухова, главного врача больницы, того самого, который увозил Андрея из дома, в присутствии которого Андрею делали укол и волокли тогда, 21 апреля, на носилках. Они мне сказали, что Андрей через два часа будет дома, что его выписывают. Представил мне Толченев эту женщину, сказал, что она врач районной поликлиники, что при нужде Андрей может к ней обращаться и получит всяческую помощь. Еще Толченев сказал, что Андрей плохо себя чувствует, что у него есть экстрасистолия, но врачи решили, что его надо выписать, что ему дома будет лучше. Они приехали меня об этом предупредить. Ни слова о голодовке — как будто ее не было.

Мне было очень странно, что приехали с таким разговором. Это была какая-то новая позиция — раньше они говорили, что дома ему вредно. Я как-то очень резко, как всегда с этими врачами, сказала: «Зачем же вы приехали? Андрей придет, он сам мне все объяснит». — «Нет, мы хотели, чтобы вы знали, чтобы вы могли его встретить». И я не поняла, что мне надо поступить как раз наоборот. Они ушли, сказав, что через час Андрей будет дома. И это их «встретить» так запало мне, что я вышла на улицу и почти целый час простояла на улице, ожидая Андрея.

Приехала черная «волга». Мне помнится, что черная «волга», но, может быть, это была санитарная машина. Вышел Андрей (нет, из «волги»), за ним Валя, которая несла что-то из вещей, или Вали не было в этот раз, Валя была в другой раз, — и мы поцеловались и вошли в дом. И только потом, уже здесь, на Западе, я поняла, зачем им было нужно, чтобы я вышла Андрея встречать, и что я сделала глупость, выйдя на улицу. Эту встречу сняли на пленку и показывали всему миру, как Андрея привозят из больницы как обычного больного человека, а жена спокойно его встречает дома. Надо сказать, что для советского человека и в этом была бы некоторая ложь. Ни одного родственника у нас никогда не предупреждают, что члена его семьи сегодня выпишут из больницы и привезут домой. В крайнем случае, этот человек сам звонит из больницы, а родственники приезжают за ним в больницу. В общем, это нужно было для очередного киновранья.

Придя домой, Андрей рассказал мне многое, что было с ним за это время. Он мне сказал, что регулярно предпринимал попытки передать какую-то информацию о себе через различных людей, с которыми сталкивался, несмотря на постоянную охрану КГБ. Первое, что он мне сказал, — это почему он выписан: он прекратил голодовку утром 11 июля. Он прекратил голодовку, потому что после визита Соколова написал письмо Горбачеву. Он написал это письмо 10 июля, а 11-го утром ему пришло в голову, что письмо будет более положительно рассматриваться, если он прекратит голодовку. Но уже по тому, как быстро и срочно его решили выписывать, ему показалось, что он делает глупость, выписываясь. И в день выписки, то есть вот сейчас же, 11-го, через несколько часов после того, как он подал заявление о прекращении голодовки, он подал Обухову второе заявление, что хотя он прекращает голодовку, но если не получит ответа на свое письмо Горбачеву в разумный срок, которым он считает две недели, то оставляет за собой право возобновить ее. Домой он пришел, уже убежденный, что через две недели вновь начнет голодовку.

Он был очень истощен. Но он был спокойней и как-то внутренне сильнее, чем в сентябре 84-го года, когда его выпустили из больницы. Он говорил, что ему кажется, что во время насильственных кормлений ему дают какие-то психотропные вещества и что под их влиянием у него вдруг возникло желание написать заявление о прекращении голодовки. Но главным, конечно, было бесконечное беспокойство за меня и неведение, что со мной происходит.

Он рассказал, что у него тоже был Соколов — 31 мая. Соколов провел с ним длительную беседу, в которой, с одной стороны, говорил, что никогда просьба Андрея Дмитриевича не будет удовлетворена, а с другой — что Андрею Дмитриевичу необходимо отмежеваться от своих прежних общественных выступлений и особенно от письма Дреллу «Опасность термоядерной войны»; говорил о том, как я плохо влияю на него. И абсолютно никаких обещаний о положительном решении Андрюшиного вопроса не давал.

Кроме того, Андрей сказал, что насильственное кормление в этот раз для него проходило легче, чем в 84-м году, потому что он научился не так резко сопротивляться, в общем, стал более опытным — настоящим эзком. По-прежнему, как и в тот год, в палате с ним находился еще один человек, якобы больной, но, видимо, из КГБ. В соседней палате — два кагебешника, постоянно в коридоре дежурят два кагебешника, на лестнице дежурит кагебешник и у выхода из отделения. В отличие от 84-го года, его за все три месяца ни разу не выпустили гулять в сад и даже на балкон. Забили дверь на балкон, заявив, что балкон находится в аварийном состоянии. Это означало, что он три месяца был без воздуха и только каждый день ходил по коридору. В советском исправительно-трудовом законодательстве сказано, что даже в тюрьме заключенного должны ежедневно выводить на получасовую прогулку. Вначале его выпускали в коридор смотреть телевизор. Но в последнее время телевизор из коридора убрали, и телевизора были лишены все больные в отделении — им сказали, что телевизор сломался.

11-го вечером Андрюша был какой-то беспокойный. Мы легли спать не поздно, может, часов в 12, но оба были возбуждены и продолжали разговаривать. Говорил больше Андрюша — он убеждал меня в том, что ему обязательно надо снова начать голодовку через две недели. Потом вдруг начинал говорить, что на что-то надеется, что, может, все обойдется без возобновления голодовки. Мне кажется, ему было страшно и так хотелось избежать повторения. Потом он как-то сразу уснул. Я лежала не шевелясь и рукой ощущала все его экстрасистолы, считать я не могла — не было часов и темно, но по характеру это было нечто невообразимое. То подряд несколько ударов были разновеликие, то выпадало два-три удара, и была такая долгая пауза, что казалось... Господи, чего только не казалось. И чего только не вспоминалось. Как я, так же ладошкой впервые наткнулась на его экстрасистолы — подумаешь, дело, одна-две в минуту — совсем как у подростка, и я засмеялась этому, а Ан-

дрей спросил, что я. И потом я впервые послушала ухом. Меня никогда, пока в Горьком не сделали из этих экстрасистол Бог знает что, они не волновали. Но теперь это были другие нарушения, и я в них уже ничего не понимала — какой уж там подросток. Андрей плохо спал в первую ночь дома, он плакал во сне, и я его дважды будила. Во сне ему казалось, что он все еще (или снова) в больнице.

12-го был плохой день — серый, дождливый, ветреный. Мы были дома. 13-го мы ездили только на кладбище слушать радио, было много об Андрее, и он был взбодрен тем, что слышит свое имя, почувствовал, что на свете существует забота о нем.

14-го был хороший день. Мы решили поехать в город, на рынок за продуктами. Андрей за два дня со мной уже отошел, у него выражение лица стало другим, мягче, и вообще он весь был такой хороший, добрый. После первой его ночи дома мы как-то перестали думать, что через две недели он снова собирается начинать голодовку, — мы жили. Андрей так и называл это время — «время жить».

Мы поехали в город на рынок, покупали там фрукты. Помню, купили первые персики, которые ему не понравились. Купили очень хорошие абрикосы, еще что-то. На обратном пути с рынка к стоянке, а она там довольно далеко, мы купили какие-то пирожки или булочки и ели их на улице, а проходя мимо входа в кино, увидели афишу о французском фильме, который называется «Мужские дела»; там что-то о велосипедных гонках, о гонщиках и об убийстве, такой типичный и не очень хороший детектив, содержание которого я практически забыла. И мы решили пойти в кино, купили билеты и пошли. Это было 14 июля. У нас еще было время до кино. Мы съездили на набережную Волги, слегка позавтракали там фруктами и булочками, которые купили, и вернулись смотреть фильм.

Этот-то день и был снят в фильме, показывавшем якобы нормальную жизнь Сахарова. Надо сказать, что фильмы, которые показывали «нормальную» жизнь Сахарова в 84-м и 85-м году (это я увидела уже на Западе), содержат кадры, снятые в 80-м, 81-м году и в разное другое время, и все это смонтировано под одно, чтобы создать впечатление нормальной жизни, нормального состояния здоровья. На самом деле это один большой обман. Одна большая ложь, очень опасная. Эта документированная ложь может создать впечатление правды, ее труднее опровергнуть, чем прямую ложь. Вообще это чистая случайность, что, начав с поддельной открытки, ребята сумели распутать весь сложный узел дезинформации, который был вокруг нас.

В другой раз может не удастся, и весь мир будет смотреть фильмы о нашем благополучии, когда нас уже не станет.

Так мы жили до 25-го. Это было очень светлое время. Каждый день мы ездили слушать радио. Мы много услышали за это время. Мы купили маленький приемник «Россия» и решили, что Андрей попытается взять его с собой, когда его будут вновь госпитализировать.

У нас были длинные-длинные утренние часы. Мы завтракали буквально часами, потому что это было время, когда мы больше всего рассказывали друг другу, как жили один без другого. Андрей рассказал мне о своих попытках передать какую-то информацию. Я ему — о своих, о выезде Лесика.

Днем мы много были на улице. Уезжали на машине в какие-нибудь перелесочки, где была тень и какой-нибудь намек на природу, и даже собирали грибы в одной из узких полосок лесопосадок. Кстати, кинокадры, где Андрей стоит спиной, и те, где мы собираем грибы или грибы на капоте лежат, — сделаны именно в эти дни.

Погода была, в общем, хорошая — даже если и не чересчур теплая, то почти все дни были ясные. Гебешники ездили за нами вплотную, на двух машинах, ходили между деревьями. На самом деле, наедине мы не были ни минуты, и это тоже доказывают те кадры, которые вошли в фильмы, показанные на Западе.

25-го прошло две недели с тех пор, как Андрей вышел из больницы. Вечером он снова начал голодовку, то есть снова принял слабительное, сделал клизму, послал телеграмму Горбачеву. 27-го был день рождения Алеши. Андрей еще раньше, когда вышел, спросил, послала ли я поздравительную телеграмму ко дню рождения Ремки 25 июня. Я сказала, что не послала, что с тех пор, как я поняла, что телеграммы подделываются, я перестала их посылать в Москву и детям. Но Андрей считал, что Алеше все-таки надо послать. Я сказала что-то вроде «перебьется», и Андрей пытался меня уговорить, что это уже чрезмерная жестокость — не послать поздравления ему в день рождения.

Утро 27-го началось, как всегда: Андрей вышел на балкон, я, плотно закрыв дверь в кухню, чтобы ему не было слышно запаха, выпила кофе. Потом мы стали собираться поехать куда-нибудь на машине. Но собирались не очень быстро, а у меня оставалась небольшая стирка и еще какие-то дела. Пока я все это сделала, было уже полпервого. Кстати, уже с 25-го числа у меня была в коридоре собранная целлофановая сумка,

где лежало Андреево белье, принадлежности для бритья и умывания, новый маленький приемник, который мы купили, бумага, очки и другие нужные мелочи. Мы понимали, что за ним могут прийти в любой день и час. Но, когда приходят, это все-таки всегда оказывается неожиданным. Чувствовал себя Андрей хорошо, шел третий день голодовки. Был он вполне бодрый, даже делал утром зарядку.

Около часу дня мы собирались выходить из дома, в это время раздался звонок в дверь, и вновь появился доктор Обухов со всей своей мужской и женской командой, опять вместе с ним было человек восемь. И был этакий полуигривый тон, когда Обухов сказал: «Ну, что ж, Андрей Дмитриевич, мы за вами». И тут я не выдержала — когда я представила, что они снова будут валить Андрея на диван, делать ему силой укол и тащить, я подошла к Андрею и сказала: «Андрюшенька, иди так, не надо». Они его взяли под руки и полуволоком повели. Он не очень сопротивлялся. Я кому-то из них всунула этот целлофановый пакет, который у меня был собран Андрею, и так они ушли.

Опять я осталась одна, опять неизвестно, на сколько времени. Опять с чувством, что он полностью в их руках и они могут сделать всё что угодно: бить, колоть, убивать, миловать — всё!

Я собралась и поехала слушать радио, хотя Андрей, даже уходя, сказал: «День рождения Алешки, ты помнишь?» Я сказала: «Помню». Но ехать давать телеграмму не захотела, считая, что она только собьет всех с толку, поехала слушать радио. Вот тут — я не помню, в этот день или на следующий — я услышала о фильме: как мы ходили в кино, как мы благополучно и хорошо существуем. Боже мой! Какой ужас вызвала у меня эта передача! Ужас, оттого что этой лжи совершенно невозможно противостоять. Совершенно невозможно знать, где, когда еще они будут фальсифицировать нашу жизнь.

И опять пошли пустые дни, быстрые и медленные. Чтение, штопка никому не нужных вещей или почти ненужных, мытье стен, иногда нужное, а иногда тоже ненужное, возня с цветами. Все это через силу, все сжав себя, как в кулак, и заставляя. Я не худела — того чувства отвращения к пище и ежедневного похудения, ежедневной потери веса, которая была в первые три месяца отсутствия Андрея, больше не было. Я не прибавляла в весе, но как остановилась. А по вечерам, как маятник, меряя шагами балкон, сама себе вслух читала стихи, чтобы не разучиться говорить. И чтобы ответить себе на вопрос: «Кому и зачем нужна поэзия?»

Я все время пытался передать информацию о нас. Тут был один эпизод, о котором до сих пор еще не время рассказывать. Я так и не знаю, что произошло, хотя было сделано все для того, чтобы полная информация о нашем лете 85-го вышла за пределы Горького, — где-то на каком-то этапе что-то сорвалось. А иногда я думаю, что не сорвалось, а было сорвано теми, кому я это доверила, и поэтому вся почта пришла в Ньютон спустя 10 месяцев, уже когда я сама была здесь. Однако рассказывать я все еще об этом не могу.

Андрей тоже делал подобные попытки. Я знаю об одном случае, когда еще в апреле информация его дошла до Москвы. К сожалению, те, к кому она пришла, побоялись опубликовать собственноручный текст Сахарова. Они сделали купюры и позже даже перевели на английский*. Наверно, это была большая работа. Но она привела к тому, что ребята в Штатах не приняли эту информацию за подлинную. Да и трудно было. Я бы тоже, наверно, засомневалась.

А дни шли, шел август. День рождения мамы. Телеграмма от Лени Литинского с просьбой сообщить, когда ее день рождения. Я ему не ответила. Маме телеграмму я не послала. По радио все больше и больше слышала о нас и понимала, что моя тактика не посылать телеграмм даже в такие дни, как день рождения мамы, правильная. Раз все подделывается, значит, мы должны молчать.

Очень медленно шло время. Очень медленные были дни, и очень быстро пришла осень. В августе уже стало холодно.

5 сентября днем я была дома, по радио я уже слышала о голодовке Алеши. О ней говорили каждый день, и передач этих становилось все больше; о нас говорили много. Я сидела дома, это было около 3-х часов, я хотела выехать слушать радио к четырем часам, вдруг вошел Андрей. Я бросилась к нему, а он как-то сразу очень настороженно сказал мне: «Не радуйся, я только на три часа». Видимо, у меня было такое недоуменное выражение лица, что он сразу же объяснил: «Ко мне вновь приезжал Соколов, он просит написать некоторые бумаги». Я, не слушая дальше, сразу взвилась и закричала: «КГБ — на три буквы!» Андрей очень спокойно и как-то очень тихо сказал: «Да ты послушай». И я смолкла.

* Впервые о письме А.Д. Сахарова сообщило 16 мая 1985 г. Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на неназванного друга Сахаровых. Перепечатанный отрывок из письма, в котором Сахаров сообщал о голодовке, появился на Западе в конце лета. — *Ред.*

Он сказал: «От тебя просят написать, что если тебе будет разрешена поездка для встречи с матерью и детьми и для лечения, то ты не будешь устраивать пресс-конференций, общаться с корреспондентами, то, другое, третье». Когда я поняла, что от меня только требуется закрыть рот от прессы, я сказала: «Да ради Бога!» Спросила: «А что от тебя?» — «А от меня — тоже». И я как-то отвлеклась от содержания того, что от него требуется, — мы стали друг другу рассказывать, что с нами происходило. И я опять забыла сказать Андрею, что мое прошение о помиловании отклонено.

Андрей сказал, что к нему сегодня утром приехал Соколов. Он-то и потребовал такую бумажку, сказал, что Горбачев дал указание разобраться в ситуации с Сахаровым. Когда я села за машинку, я спросила, кому должна быть адресована моя бумажка. А потом сказала: «Нет, я никому не буду адресовать». И в том углу, где полагается писать, кому и от кого, я ничего не написала, никак не озаглавила эту бумажку. Оставив несколько строчек пустого места наверху, я с красной строки написала: «В случае, если мне будет разрешена поездка за рубеж для встречи с матерью, детьми и внуками, а также для лечения, я не буду устраивать пресс-конференций, давать интервью. Елена Боннэр. 5 сентября 1985 года», — и отдала эту бумажку Андрею. И снова вернулась к вопросу, а что же требуется от него.

Тут он мне показал проект своей бумаги, в которой было написано: «Я признаю обоснованным отказ мне в выезде за границу, так как считаю, что обладаю знанием военных тайн (не помню, как у него дословно). Однако это не значит, что я признаю законной мою высылку и изоляцию в Горьком. В дальнейшем, если моей жене будет разрешена поездка за границу для лечения и встречи с близкими, я собираюсь сосредоточиться на научной работе и частной жизни, однако оставляю за собой право выступать по общественным проблемам в экстремальных ситуациях».

Вот приблизительно то, что написал Андрей. Более точно я не помню. (См. Приложение № 7. — *Ред.*) Он как-то очень торопился назад. После того, как мы написали с ним бумажки, мы вышли на балкон. Я похвасталась цветущими моими уже остатками балконного сада. Постояли там обнявшись. Андрюша сказал, что я вроде как немножко прибавила в весе — наверно, так и было. И заторопился, как бы ему не опоздать к 6 часам выйти на улицу, потому что за ним приедет машина. Он боялся, что они его обманут, не приедут за ним и таким образом посчитают, что он прекратил голодовку.

Пожалуй, он верил, что эти бумаги помогут мне выехать, что проблема почти решена. Пожалуй, несмотря на то, что... я думаю, что его бумага была написана и согласие на нее было получено под давлением. Да и сама разлука со мной, к тому времени четырех с половиной месячная, за исключением двух недель, и изоляция тоже есть давление, и насильственное кормление, и всё — всё это есть давление. Когда я пыталась об этом говорить, он отвечал, что ничего не видит худого в своей бумаге; он действительно думает, что обладает секретами, он действительно не хочет больше заниматься общественными делами, у него на них нет сил. Он чувствует себя больным, усталым, ему хочется заниматься наукой и быть со мной.

В дневнике, который я читала потом, он написал: «Мне так хочется быть с Люсей. Мне никогда в жизни ничего так не хотелось».

Сентябрь — это у нас уже осень. Мне кажется, что я впервые увидела и физически ощутила ее приход, стоя с Андреем на балконе, чувствуя ладонью даже через курточку, которая была на нем, его ребра. Милый, бедный, худой ты мой! Увезли. Сам спешил назад в мучения свои, голодовки и разлуки. И у меня осень, листья настурций стали светло- и густо-желтыми, астры уже отцветают, и пора собирать семена. Я собирала семена на кладбище и там же слушала радио. Алешка голодал в Вашингтоне у советского посольства, диктор-женщина говорила, что там жарко. А у нас быстро холодало и стремительно убывал день. Андрюша, пока был три часа дома, говорил об Алешкиной голодовке приподнято и даже радостно. Он о ней знал, так же, как и о многом другом, что делалось в мире. Тот маленький приемник, что я вместе с другими вещами сунула кому-то из увозивших Андрея 27 июля, работал, и Андрей все знал. Про Алешину голодовку Андрей сказал, что это нужное дело, в нужное время и в нужном месте. Потом, когда я уже буду в Москве, мне расскажут, что один физик, не одобряющий голодовки Андрея и наш образ жизни, сказал: «Вот до чего она (это я) жестокая, теперь заставила голодать еще и сына», — и на встречную реплику: «Ну, как она сына может заставить, у них же связи нет», — «На это она найдет». А вообще про ребят Андрюша сказал: «Похоже, твои дети вытащат нас из черной дыры». И, как подтверждение его слов, я услышала резолюцию Сената и Конгресса США, после которой Алешка кончил голодовку*.

* Сноску см. на стр. 143.

А у меня шла осень. Я вдруг ощутила такую усталость, что, уже казалось, больше не выдержу. Но каждый день я говорила себе: «Ну, еще день-два, и все решится», — и с этим жила. Я все дни разлуки и 1984 года, и 1985-го отмечала в календаре и на перекидных его листиках записывала, что было: ведь хоть казалось, что время стоит, — оно шло, и случались события — в мире и в моей одиночке. Перекидной календарь — «умираю от воспоминаний над перекидным календарем» (А.Межиров), — кому-нибудь из моих читателей эти строчки что-то, может, скажут. Уезжая сюда, в Штаты, я купила Андрею календарь — перекидной. Когда он пришел из больницы — он читал мои записи. Возвратясь с моих американских каникул, я буду читать его.

В первые дни после этого трехчасового нашего общения, после того, как ему Соколов сказал, что Горбачев велел разобраться, мне казалось, что Андрей скоро будет дома, что скоро все решится и все будет хорошо, но дни шли.

Предоктябрьские дни были отмечены интервью Горбачева «Тайму», поездкой во Францию и его и Миттерана пресс-конференцией в Париже. Это все на советском телеэкране. Интересно, хотя бы потому, что нас много лет не баловали даже таким общением с руководством страны. Страшно — мне, потому что везде про Сахарова и везде так бесперспективно плохо, что прямо мороз по коже. По западным радиостанциям тоже интересно и тоже про Сахарова — много про него, и беспокойство, и забота о нем, и всеобщее недоумение вследствие дезинформации и отсутствия реальной информации. Октябрь. Осло. Присуждение Нобелевской премии врачам. Десятилетие Нобелевской премии Сахарова.

Я слушала эту передачу (см. приложение № 14 — речь Татьяны Янкелевич в Осло) дважды. Первый раз ночью почти ничего нельзя было разобрать. Второй раз днем — верней, октябрьскими сумерками, в машине. Танин голос был слышен очень ясно, чисто. У меня на ветровое стекло падали первые в этом году снежинки, потом снег пошел хлопьями. Когда первый снег, надо загадать желание. Господи, сколько на свете примет! Как хочется хоть чем-то облегчить душу. Я вышла из машины, со-

* (Сноска к стр. 142.) Алексей Семенов начал голодовку 29 августа 1985 года вблизи советского посольства в Вашингтоне, требуя разрешения посетить Сахаровых, и закончил ее 12 сентября. Совместная резолюция Сената и Палаты представителей № 186 от 10 сентября выражала «солидарность с семьей Сахаровых в их усилиях осуществить свои права» и призывала президента «протестовать сильнейшим образом и на самом высоком уровне против вопиющих и систематических нарушений прав Сахаровых советскими властями». — *Ред.*

брала горсть снега с капота, положила в рот. Холодно. Почему это в детстве снег был сладкий? Мне кажется, никогда в предыдущие наши разлуки я не считала так дни.

Кончилась осень. Снова пошел снег. Стаял. В доме было очень холодно. Еще не топили, а ветер выдувал тепло. В большой комнате было 12° по Цельсию, а там, где я спала, бывало и меньше. Я уже не шила, не штопала, не мыла окна и двери. Сидела, накрутив на себя все теплое, иногда даже и одеяло, и ждала. Чего? Сердце болело то ли от спазмов, то ли от тоски, то ли от холода. Утро 21 октября такое темное, что не поймешь, рассвело уже или нет, — опять идет мокрый снег. Вставать в такую холодину очень не хотелось. Вдруг звонок. Натянула халат, открыла. Один из самых хамских наших охранников. Они, между прочим, различаются между собой по степени хамства. «Вам велено в управление МВД явиться к 11 часам дня». — «Я к 11-ти не успею, сейчас уже 10». — «Ничего не знаю, этаж 2, комната 212 (или другая, сейчас забыла), к Гусевой Евгении Павловне, и чтоб обязательно к 11-ти». — «Сказала, не успею», — и я закрыла дверь. Так у меня получилось, что я не могла быстро собраться и хоть специально не волюнила, но только в одиннадцать смогла выйти из дома. На машине лежит мокрый снег — надо счистить. Не работает обогреватель заднего стекла, вообще я еще к зимнему времени не приспособилась. Наконец, выехала и около 12-ти приехала. Там везде стоянки запрещены, разрешено только для служебных машин, но я поставила свою. Я была зла и на свои ноги, и на свое сердце за то, что они болят; и на мокрый снег, и на этот пронзительный ветер; и на этот город, про который мне так и хотелось крикнуть: «В гробу я тебя видала, в белых тапочках». И на этот вызов.

Я думала, что вызывают меня или на беседу, или для какого-нибудь наказания за то, что я нарушаю режим и не нахожусь дома после восьми вечера, как мне было предписано. Собственно, в октябре я уже находилась. Это летом и в сентябре, пока не стало холодно, я подолгу слушала радио. И то, что меня вызывали к женщине, только подтверждало мои предположения. Я уже нагляделась на то, что в Горьком (а может, и в других городах) в управлениях внутренних дел именно женщины ведают осужденными. Это те осужденные, которые отбывают наказание без лишения свободы и на своем обычном месте жительства: так называемые «химики» — в Горьком их много, алиментщики и те, кто осужден к принудительным вычетам из заработной платы. Ну, и на моем примере — ссыльные, но кажется, что ссыльных на весь город Горький — я одна на

1,5 млн. жителей (в статистических сборниках показывают меньше — 1,3). Я думала, что теперь меня вызывают к женщине-инспектору по этим делам, но только выше рангом.

Наконец я нашла нужный подъезд и на таблице в вестибюле увидела, что это ОВИР. Я очень удивилась, но мысли о том, что меня собираются пустить в поездку, не появилось. Прошла в бюро пропусков и вдруг вижу объявление: «Сегодня в связи с собранием (не помню, каким) приема в ОВИРе не будет». — «А, значит, меня ждут». Я привыкла, что власти так не хотят моих контактов с кем-либо даже в случайной очереди, что в учреждениях могут отменить прием, как это было в райисполкоме или в том коридорном отсеке прокуратуры, где находится кабинет моего следователя. Я обратилась к девице в окошке бюро пропусков, сказала, что меня вызвали в ОВИР. «Вы что, слепая, что ли, или неграмотная? — привычно рывкнула она на меня. — Вот объявление висит — приема нет». — «Но меня вызывали», — повысила голос и я и уже собиралась начать привычно и громко, чтобы все, кто есть в помещении бюро пропусков, слышали: «Я жена академика Сахарова...» Но тут подбежал какой-то тип и вежливенько просюсюкал: «Елена Георгиевна, пройдемте, к вам сейчас спустятся», — и вытолкнул меня из многолюдия бюро пропусков к лестнице, около которой стоял только один часовой, а людей не было.

Буквально через несколько минут по лестнице спустилась женщина в форме офицера МВД (на погонах просвет широкий — майор) и тоже вежливенько сюсюкает: «Елена Георгиевна, пройдемте». Мы поднялись на второй этаж. Она приняла меня в кабинете, посередине которого стоял стол, у стола по обе стороны стулья. Вдоль всех стен тоже стулья — это помещение скорее походило на комнату типа холла. Ее как будто нарочно переоборудовали в нечто вроде кабинета. И этот стол казался только что принесенным.

Когда потом я увижу себя и ее около этого стола в фильме — я пойму, что это так и было. Справа и слева в комнате были двери в соседние помещения. Я описываю это так подробно, потому что теперь, после просмотра фильма, где заснята я в этой комнате, беседующая с этой самой Евгенией Павловной Гусевой, я все время думаю, где же находилась камера и почему я не слышала звука съемки. Или, возможно, теперь есть беззвучные камеры.

Гусева сказала: «Вы подавали заявление на выезд, вас просят снова заполнить анкеты». — «Я никогда не подавала заявлений на выезд. Только на поездку», — сразу сказала я. — «Нет,

нет, что вы, это я просто так выразилась. Садитесь удобно и заполняйте анкеты». — «Как, прямо здесь и от руки? Всегда же вы требуете, чтобы было напечатано и в двух экземплярах». — «Ничего, можно один и от руки».

Я заполнила графы — имя, фамилия, место жительства. Далее идет графа, куда. Она мне диктует: «В Италию». Я стала доказывать, что это я раньше просилась в Италию, а теперь я прошу в США и Италию, в частности, я хочу привезти маму. Она сейчас у детей, но она хочет вернуться, она не эмигрантка, а в гостях, — именно это место заснято в фильме. Я написала «в США и Италию». Дальше я все заполняла, почти не думая. Иногда она мне что-то диктовала, и я так и писала, не думая. Так, на вопрос: «Когда собираетесь выехать?» — она продиктовала: «Сразу по получении визы», — и я так и написала. И на вопрос: «Через какой пограничный пункт?» — она сказала: «Через Шереметьево», — я тоже написала.

Кончила анкету, отдала ей и заспешила домой. Конечно, я понимала, что, видимо, принято решение в отношении нас и, возможно, положительное, но уверенности у меня в этом не было. И вообще уже с середины анкеты (вся эта писанина заняла больше часа) я стремилась домой — я полагала, что Андрюша уже дома. Именно его возвращение было той единственной реальностью, к которой я стремилась. А поездка все еще была из категории нереальных. Но Гусева меня задержала: «Вы сейчас поедете, сделаете фотографии и завтра в 10 утра привезете мне». — «Кто же это сделает мне так быстро фотографии?» — «С вами поедут и вам сделают, это близко, на Звездинке» (улица в центре Горького).

Я вышла и поехала на Звездинку. Меня сфотографировали без очереди, сказали: «Завтра полдесятого можно получить готовые», — и я помчалась домой. Мне повезло, что на пути не было ни одного гаишника, а то прокол был бы обеспечен.

Андрея дома не было. Я так ждала его, что боялась выйти на балкон, хотя мне совсем не надо слушать дверной звонок. Уже давно — может, года два — мы не вынимаем ключ из замочной скважины, он так и торчит. Вначале милиционеры требовали, чтобы я его вынула, но я отказывалась, а самим им вроде не положено. Сделали мы это потому, что без нас постоянно ходят в квартиру, видимо, у них плохие ключи, и замок без конца ломался, мне просто надоела эта история.

Андрей не пришел, и всю ночь вместо того, чтобы спать, я думала и процеживала сквозь себя снова и снова свой визит в ОВИР. И я поняла, что, во-первых, они хотят, чтобы я уехала

скоро, а во-вторых — не увидев Андрея. Я уже поняла, что решение, конечно, принято и что фактически я имею разрешение на поездку, а все остальное, что сейчас происходит, — это уже вне тех инстанций, которые приняли разрешение отпустить меня, а зависит только от КГБ. Утром я еще надеялась, что Андрей придет, но до 9-ти не было никаких известий, и я поехала за фотографиями и в ОВИР. Получив фотографии, почему-то решила в ОВИР не спешить и зашла в парикмахерскую. Мои сопровождающие на двух машинах были этим озабочены больше, чем при обычных моих поездках. Видимо, они ожидали, что я должна стремглав лететь в ОВИР, а парикмахерская может оказаться местом тайного свидания.

Вообще поведение нашей наружной охраны во все последующее, до моего отъезда из Горького, время было, на мой взгляд, странным. Ведь я получила право на выезд, тем самым право на общение и на контакты. А они усилили свою бдительность и шныряли вокруг меня — а потом, когда Андрея выпустили, вокруг нас — кажется, даже больше, чем всегда. Придя в ОВИР с фотографиями 22 октября (дама-майор меня встречала внизу, гебешники оставались на улице, потом она меня к ним выводила), я сразу сказала, что прошу отдать мне анкеты, я должна сделать добавления: во-первых, я не поеду сразу по получении визы, я поеду только после того, как увижу мужа, которого не видела шесть месяцев, исключая небольшой перерыв. Во-вторых, я не обязательно поеду через Шереметьево. Тут я вспомнила, что, когда я получила разрешение в 1975 году, я ехала поездом, так как окулист считал, что при таком давлении лететь опасно — у меня было давление за 60. Она сначала возражала, говорила, что мне еще не дано разрешение, а я уже скандалю. И что она вообще не может решать, давать ли мне анкеты.

Потом она ушла звонить. Я одна, ни души в этом горьковском ОВИРе — а может, так у них всегда? Нет, не может быть, ведь я точно знаю, что в городе есть и подаванты, и отказники. Теперь-то мне ясно, что всех сотрудников отпускали, так как из соседних комнат шла съемка, а люди не должны знать про это. Этому майору КГБ доверяет, а уж другим сотрудникам нет. Я вспомнила сейчас, что всегда, когда я хожу на отметку в районный ОВД, мой кагебешник входит в комнату вместе со мной. Видимо, КГБ не доверяет той женщине-лейтенанту (ее фамилия Рыжова), у которой я отмечаюсь.

Гусевой не было больше часа. Вернувшись, она дала мне анкеты. В графе «Что еще хотите сообщить о себе» я написа-

ла, что поеду в США и Италию для встречи с родными и лечения, выеду в срок обычный, то есть в течение трех месяцев после получения разрешения, и там, где было написано «Шереметьево», кажется, написала «любой пограничный пункт», но сейчас точно не помню. Она взяла мои анкеты и сказала: «Вас вызовут».

И я опять помчалась домой. Андрея не было. Я опять почти не спала ночь. Утром еле встала и ходила в халате (а больше лежала), не собираясь ни одеваться, ни куда-либо выходить. Около трех часов звонок в дверь. Медсестра Валя. Просит одежду для Андрея Дмитриевича. Он ведь как был в тренировочном костюме, так в нем и есть, а на дворе зима уже. Я собрала куртку, ушанку, ботинки, брюки, свитер, все отдала, спросила: «А когда они думают его выписать?» — «Я его сейчас привезу, вот только вещи отвезу, он оденется, и привезу». Она ушла. И тут я поверила, что, может, мужа мне отдадут и что детей и маму я, может, увижу. Ну, а что еще и сердце снова станет работать, про это я не думала. Мне кажется, я одновременно делала не два, а все сто дел: хватала нитроглицерин, накрывала на стол, пекла яблочный пирог и варила курицу, мылась и натягивала розовое платье. Все сделала и даже свечи на столе зажгла.

Еще не было пяти часов, когда в дверях появился Андрей. В меховой шапке и куртке — все это казалось большим, ему не по росту. Очень похудевшее маленькое лицо, какого-то серого цвета. Он даже не поцеловал меня, а... «Что происходит?» — «Ты ничего не знаешь? Меня вызывали в ОВИР», — и вдруг его лицо преобразилось, собственно, лица не стало, одни глаза живые и сияющие (я и сейчас, спустя пять месяцев, когда пишу это, не могу удержаться от улыбки, вспоминая это лицо и эту сцену целиком). И вдруг он так вильнул попочкой, как будто танцует, — никогда не видала, чтобы Андрюша делал такое движение. «Ну что, мы опять победили?» — «Победили!» И в нарушение всех норм — сразу из больницы за стол. И начались наши разговоры.

Врачи, подсадные пациенты, женская бригада. — Снова ОВИР. — Снимают, снимают... — Квартира на улице Чкалова. — Долгий путь. — Америка перед Рождеством. — Операция. — Вопросы и ответы.

Андрей ничего не знал, ему просто сказали час назад, что он может ехать домой. Никакой голодовки он не снимал, и никто с ним об этом не говорил. Он не видел никого, кроме медсестры, принесшей одежду, — ни лечащего врача, ни Обухова. И что ждет его дома, он, пока ехал, не знал. Он рассказал о своем последнем пребывании немного. Сказал, что среди каждую неделю меняющихся его соседей был один, знавший английский, — кажется, он даже представился переводчиком каких-то специальных технических текстов. Этот человек предложил Андрею почитать английские журналы. Андрей взял. И эти кадры, когда Сахаров в больнице читает западную прессу (даже те журналы, которые в СССР не продаются) — а у нас все иностранные журналы забрали на обыске, — потом были в фильмах показаны всему миру. Кроме того, Андрей был удивлен, что ему в больнице вдруг принесли препринты — несколько пакетов с научными препринтами из США — и дали расписаться на бланках уведомления о вручении. Никогда этого раньше не было: если пакеты приходили, то домой. И далеко не всегда нам давали расписываться. Андрей ничего не подозревал и расписался. И эти кадры как доказательство того, что почта с Запада идет нормально и что подписи не поддельны, тоже фигурируют в фильме.

Еще Андрюша рассказал мне, что один из меняющихся его соседей по палате все время вел с ним разговоры обо мне. Сколько Андрей ни пытался прекратить это, тот все равно продолжал. Это были долгие монологи совсем в стиле Яковлева. Андрей думает, что человека этого специально готовили, так как в его речах проскальзывало то, чего не было в советской прессе, а было только в газете «Русский голос» (издается в США) и в «Сетте джорни» (Италия, Сицилия). Наконец Андрей решил это раз и навсегда пресечь. Он потребовал, чтобы этого человека убрали. Этого не сделали. Тогда он взорвался. Он мне сказал, что способ доводить себя нарочито до истерики иногда помогает. Он стал кричать, схватил подушку и одеяло, силой вырвался в коридор и лег там, сдвинув три кресла. Был вечер, почти ночь — то ли боялись криков, то ли не было высшего начальства, во всяком случае, Андрея оставили в коридоре. Спустя три дня и три ночи, которые Андрей провел в коридоре, этого «яковлевада» убрали прочь.

Перед последним приездом Соколова 5 сентября (он забыл мне рассказать об этом в тот короткий трехчасовой приезд) у него три дня не было насильственных кормлений. Ему сказали, что женщина-врач, возглавлявшая женскую бригаду его мучителей, заболела (или у нее в семье кто-то заболел). Таким образом, он вновь проходил три первых, самых мучительных дня полной голодовки. Так его готовили к встрече с начальством из КГБ. То же самое было и перед приездом Соколова в июне.

О женской бригаде я должна рассказать подробнее — все, что Андрей мне говорил о них. Это несколько крупных, больших женщин, очень здоровых и сильных. Они приходили насильственно кормить его и в прошлом году. Ими всегда командует такая же крупная женщина-врач. Они валили его, связывали и привязывали к кровати. Все неприятные и неэстетичные моменты, которые могли быть при этом насилии, становились еще труднее переносимыми психологически, когда это происходило при женщинах. Андрей считал, что это нарочно были женщины — чтобы было мучительней. Об этом, в общем, не стеснясь, говорил и Обухов, когда летом 1984 года страшал Андрея, уже снявшего голодовку, но требующего, чтоб его вызвали в суд как свидетеля и наконец выпустили из больницы, которую для него специально превратили в тюрьму. Чуть что — Обухов говорил: «Смотрите, Андрей Дмитриевич, опять женскую бригаду пришлю».

Точно так же в 1984 году Обухов, совсем забыв, что хотя бы по образованию он врач, пугал Андрея болезнью Паркинсона,

специально давал книги, где описаны самые тяжелые исходы этой болезни, и говорил: «Умереть мы вам не дадим, а инвалидом сделаем. Вы будете в таком состоянии, что сами штанов расстегнуть не сможете». Все это я сейчас цитирую по письмам Андрея.

Кроме того, Андрей думает, хотя подтвердить этого не может, что были периоды — не все время его пребывания в руках этих лжеврачей, — когда к нему применяли какие-то психотропные препараты, вызывающие сонливость, некую душевную опустошенность, явное снижение волевых возможностей, желание умереть. Рассказ о своих врачах Андрей закончил фразой: «Мои врачи — это Менгеле нашего времени».

Я не могу отделаться от постоянно преследующей меня мысли: а нет ли среди тех, кто мучил моего мужа, активистов движения «Врачи за предотвращение ядерной войны»? Во всяком случае, доктор Чазов* — кардиолог, и мне известно, что к нему пытались обращаться по поводу возможностей настоящего серьезного лечения болезни сердца моего мужа и по поводу моего сердца — безрезультатно. Кто знает, не он ли как кардиолог давал разрешение на насильственное кормление Сахарова летом 1984 года, приведшее к таким страшным последствиям? (В одном из фильмов говорится, что к Сахарову приезжали консультанты из Института кардиологии, которым руководит проф. Чазов.) В Москве и на Западе упорно говорят, что Сахарова «лечили» (я не случайно беру это слово в кавычки) и психиатры. В этой связи называют фамилию Рожнов — не знаю, кто это. Но знаю, что среди врачей, борющихся за мир, не последнюю роль играет Марат Вартанян**, один из главных деятелей в применении психиатрии в политических целях.

В феврале я была в гостях у друзей мужа в Пало-Альто. На приеме в мою честь ректор Стэнфорда д-р Кеннеди передал мне приглашение для Андрея приехать в их университет. Когда меня представляли ректору, я поняла, что этот милый человек, сейчас передающий приглашение для Андрюши, совсем недавно принимал здесь Марата Вартаняна.

* Евгений Иванович Чазов, академик АМН СССР, директор Всесоюзного кардиологического центра АМН, личный врач нескольких советских вождей. Сопредседатель организации «Врачи мира за предотвращение ядерной войны» (IPPNW). В 1973 году подписал письмо в «Известия» с нападками на Сахарова — это обстоятельство часто упоминалось западной прессой, критиковавшей присуждение IPPNW Нобелевской премии мира за 1985 год. С 1987 года — министр здравоохранения СССР.

Ред

** Марат Вартанян, заместитель директора Института психиатрии АМН, осенью 1985 года находился в США по приглашению американского отделения IPPNW — организации «Врачи за социальную ответственность». — Ред.

Я растерялась и не сказала, что не могу быть здесь после «доктора» Вартаняна. Да, я струсила. Всё кругом так прилично, так красиво и так интеллигентно. Все говорят такие теплые слова об Андрее (а заодно и обо мне). Возможно, им искренне кажется, что их слова могут помочь. Поэтому они ездят в Москву, говорят там со взрослыми людьми — академиками, воспитывая в плане «что такое хорошо и что такое плохо», но говорят не вслух, а с глазу на глаз.

Возможно, они искренне думают, что, вручив мне приглашение, они уже спасли Андрея от того, что его в изоляции превращают в живой труп. Возможно, они не знают, что коллеги «врачей за мир» — первое и главное оружие в этом преступлении. Я ничего не сказала этого вслух. В общем, я уподобилась им, моим хозяевам, и стала вежливой и безгласной — кругом такие милые люди, прекрасные закуски, цветы, высокие слова, Джоан Базз поет о свободе. А я стала несвободна и проглотила язык. Я уже потеряла, переживая свое молчание, время на слова.

Тут еще была одна накладка. Я все думала, что хозяин скажет, что гости хотят послушать меня. Но гости, видимо, этого не хотели. Пересилив себя, я вновь подошла к ректору и ему одному сказала все, что думаю об их приеме доктора Вартаняна. Сказала и поняла, что, в общем, мое поведение оказалось калькой их поведения. Я тоже воспитываю с глазу на глаз взрослого дядю-академика, объясняя ему, «что такое хорошо и что такое плохо». Господи, а ведь мне до сих пор стыдно! И, может, если бы я все это тогда сказала вслух, то стал бы возможен и честный серьезный разговор. После этого нечто подобное произошло у меня с доктором Пановским — с той разницей, что я нашла в себе силы сказать все, что думаю, — наверно, именно поэтому ни у него (надеюсь), ни у меня нет чувства горечи от нашего общения, а у меня это общение даже заронило надежду, что, может, друзья Андрея со временем поймут, как они могут помочь моему мужу и другим. И что это «со временем» придет до того, как станет поздно.

Было у меня и неприятное объяснение с доктором Голдбергером — президентом Калифорнийского технологического института. Я не хотела его обидеть, но, думаю, должна была сказать, что ошибки в поведении западных коллег при их общении с советскими научными и государственными авторитетами сказываются прямо и трагически на наших судьбах. Это, во всяком случае, коллеги Сахарова должны знать. Я сожалею, что в Калтехе нашлось так мало людей, которые пришли на встречу со мной. Неужели там так мало интересуются судьбой Сахарова?

Теперь три слова о хорошем. Если откинуть (на самом деле — никогда!) главное в нашей с Андреем жизни: «Ты — это я», то его, «хорошего», так мало в этой книге. 23 октября вечером, а может, это уже была ночь с 23 на 24-е, я вышла во двор вынести мусор. Было ясно и морозно. Снег, который шел в этот день с утра, кончил валить. Эта первая белизна засыпала всё вокруг и даже прекрасно прикрыла лужу — совершенно гого-

левскую, которая царствует над всем нашим пейзажем этого конца проспекта Гагарина. Засыпало и стоящие у дома машины. И на ветровом стекле нашей крупно по снегу было написано: «БИС! Поздравляем!» Еще ничего не говорилось по радио, еще, кроме нас, милиционеров и кагебешников, никто не знал, что меня вызывали в ОВИР. Никто, кроме одного из них, не мог подойти к машине и написать это. Я теперь всегда буду глядеть в их лица и думать: «Этот? Нет, этот».

25 октября меня вызывали в ОВИР к часу дня. Мы поехали вместе. Дамы-майора внизу не было. От постового у лестницы, спросив его разрешения, я стала звонить ей по внутреннему телефону. Один из сопровождающих — видимо, он последние дни был не в наряде и чего-то не знал — как дикая кошка, бросился к аппарату и нажал рычаг. Он сделал это так быстро и резко, что, видимо, нечаянно толкнул меня. У меня сразу схватило сердце. Я схватилась за нитроглицерин. А другой гебешник вежливо сказал: «Звоните, Елена Георгиевна, — он не знал», — и начал что-то тихо выговаривать тому, кто бросался на телефон. Я позвонила, дама спустилась за нами, мы вместе с ней вошли. В ее кабинете сидел рядом с ее креслом мужчина в форме МВД с погонами полковника или подполковника (я забыла). Он сразу, не представляясь, стал говорить. Его речь приблизительно сводилась к следующему. Разрешение получено, с мужем вы повидались, сейчас вам надо заплатить 200 рублей и принести сюда квитанцию, завтра вы едете в Москву, вам будет принесен билет, и завтра вечером вы летите, билет на самолет вам заказан. В Москве вам надо иметь деньги на обмен и на билет (мне кажется, что он назвал 400 с чем-то рублей и 300 с чем-то, но, может, я путаю). Итак, завтра вечером вы едете.

И тут я взвилась: «Я никуда не поеду, пока я не поживу с мужем, и столько, сколько мне надо. Он голодал, он истощен, я должна привести его в такое состояние, чтобы мне не было страшно его одного оставить... Если вы меня выпихиваете или высылаете, так вы мне и скажите. Я никуда не поеду». Я очень сильно кричала и про многое, про больницу, про изоляцию Андрея... Андрей сидел, молчал, поглядывая на меня, и даже иногда улыбался, как будто его мой крик не касался. Вот так мы и сидим: с одной стороны — мы с Андрюшей на двух стульях, с другой, на двух креслах, — один начальник и одна начальница. И он стал на меня кричать, этот начальник, что он этого решить не может, что мое поведение возмутительно, что мне пошли навстречу и что я вообще рискую никуда не поехать. А

я ему: «Ну и рискую, я вообще только и делаю, что рискую, — значит, не поеду...» И вдруг мы оба устали кричать. Я только напоследок сказала, что хочу ехать после встречи Горбачева с Рейганом и после нобелевского вручения доблестным врачам* — я не хочу, чтобы корреспонденты меня об этом спрашивали. И он сказал: «Хорошо, подождите», — и ушел.

Мы ждали очень долго, может, час с лишним. Он вернулся злой. Ему явно попало от (как у них говорят) руководства, что не смог заставить меня уехать сразу. Он вошел и, не глядя ни на нас, ни на начальницу, которая нас стерегла все это время, сказал: «Пишите заявление. Сколько времени вам надо?» Я сказала: «Два месяца». И тут Андрюша улыбнулся снова и так спокойно промолвил: «Хватит с тебя и одного». Ну, не спорить же мне еще и с ним, и я написала «один месяц».

Мы вышли от начальников и поехали в фотографию. Эти фотографии от 25.10.85 я привезла с собой в Штаты. Этой или следующей ночью мы слышали по радио, что, по словам Виктора Луи, завтра я прибываю в Вену и могу далее ехать, куда захочу**. Потом было сообщение, что возможность моего приезда в Вену подтвердили послы СССР в Вене и в Бонне. Нас вызвали в ОВИР. Начальника не было, была одна дама, она сказала, что моя просьба удовлетворена, что мы должны принести ей квитанцию об уплате 200 рублей за паспорт. Что я могу купить себе билет сама как свободный гражданин (нет, это потом она сказала Андрею по телефону).

Главным же в этот день было наше требование телефонного разговора с детьми. Мы доказывали, что они никогда не поверят сообщениям Виктора Луи и что будет только лишний шум. Она сказала, что не может решить этот вопрос и что мы должны ей позвонить. Больше я с ней не общалась. Андрей еще раз ходил к ней, отвез квитанцию. Потом несколько раз звонил в связи с разрешением телефонного разговора и билетом до Москвы. Потом еще возник вопрос — с каким же документом я поеду. И Андрей вновь ей звонил, что ссылным полагается маршрутный лист, ведь могут и задержать. «Никто не задержит», — сказала она ему таким тоном, как если б говорила: «А пошли вы...»

* Двухдневная встреча Рейгана и Горбачева в Женеве закончилась 21 ноября. Нобелевская премия мира за 1985 год была вручена организации «Врачи мира за предотвращение ядерной войны» 10 декабря. — *Ред.*

** Первое сообщение о том, что Е.Г.Боннэр дано разрешение на заграничную поездку, было передано немецкой газетой «Бильд» со ссылкой на «надежные источники» в Москве. Очевидно, под «надежными источниками» подразумевался Виктор Луи: на другой день он сам подтвердил это сообщение. — *Ред.*

Овировские конфликты повторились и в Москве, но несколько под другим углом. Вначале мне было сказано явиться в городской ОВИР, там сказали, что они не знают, где мой паспорт, и сообщат. Сообщили через день, что явиться надо к Кузнецову (большой начальник) во всесоюзный ОВИР. Я явилась — меня привезли Эмиль и Нелля: ходить я практически тогда не могла. Кузнецов мне сказал:

— Давайте ваш паспорт и получите заграничный.

— Паспорт? Да у меня его нет, я ссыльная. — Он растерялся. — Хотите удостоверение ссыльной? — предложила я. Он сказал: «Подождите», — и вышел. Вернулся скоро. Брезгливо, двумя пальчиками, взял мое удостоверение — тоненькая карточка небольшого формата, какая-то стыдливая (если судить по размерам), правда, с фотографией. И протянул мне паспорт, говоря:

— Вот итальянскую визу мы вам проставили, а визу в США проставите в Риме, мы дадим указание нашим товарищам.

Тут я — паспорт-то был у меня на руках — увидела, что в графе, где должно быть указано, куда я еду, написано было только «Италия».

— Я не возьму вообще у вас такой паспорт.

— Ну, почему, ведь в Риме вам всё проставят, ведь мы дадим указание нашим товарищам в Риме.

— Нет, всё должно быть проставлено здесь, а ваших товарищей в Риме я видеть вообще не хочу, в гробу я видела ваших товарищей в Риме.

Я стала уже кричать, бросила ему паспорт и выбежала в приемную. Эмиль и Нелля стояли бледные, там был слышен мой крик. Начальник Кузнецов догнал нас у лестницы и сказал:

— Приезжайте в три часа.

— Ну, это другое дело.

Мы вышли. Нелля сказала: «Ну, уж это ты чересчур. Я боюсь, что теперь ты вообще никуда не уедешь». В три часа я получила паспорт. Там было проставлено: «В Италию — США», а на предыдущей странице во всю длину штамп: «Аннулировано». И как противовес этой истории в одном из фильмов несколько раз прямо-таки назойливо показывают кадры с моим выездным паспортом. Ну, конечно, без этой страницы.

Но это я забежала на месяц вперед. «Твои дети вытащили нас из черной дыры», — снова сказал Андрей после первого телефонного разговора с мамой и ребятами. Ну, вот и кончилась борьба. Начались сборы. И откармливание. Мы ели пять раз в день. Это санаторное питание нужно было обоим. И у меня

ни на что не стало хватать времени, потому что пять кормлений — это трудоемко. А потом наши долгие-долгие разговоры, лежание по утрам, сидение по вечерам. И все время вместе, вместе. Мы были очень счастливы. Но через две недели я стала чувствовать, как убывает время, дней стало впереди меньше, чем уже прошедших. Скоро расставаться. Точно так же я чувствую сейчас, как календарь сужается. Укорачивается шагреньевая кожа моей свободы, возможность видеть детей, внуков, маму. Мама... Нет, этот разговор еще потом.

Мне надо было что-то срочно сделать с зубами. Без Андрея у меня сломалась коронка, и я ее острый край подпилила пилкой для ногтей прямо во рту. Это была мучительная операция. Кроме того, все зубы под коронками шатались — их, видимо, надо было срочно удалить. Я не могла без этого ни толком есть, ни говорить: было больно, и, помимо всего, во рту была папилома — кто знает, каков был ее характер, мне она не очень нравилась. Что делать? Мы пошли к Обухову. Ведь больше некуда — нам нельзя.

А нас снимали, снимали без счета. Видимо, КГБ уже раз и навсегда понравилось манипулировать камерой. Нас снимали в ОВИРе, есть сцена, где я говорю, что не хочу сразу ехать, но снято это как-то так, что большого начальника не видно. Снят мой паспорт, но я его получала не у этой дамы, а в Москве. Когда мы пришли к Обухову, мне было организовано спешное и по высшему классу лечение зубов и изготовление временного протеза. Я об этом говорю Андрею и Обухову — просто потому, что Андрей у него в кабинете. И это снято в кино, так же как я в кресле дантиста. Опять я не слышала никакого жужжания камеры. Нас снимают на рынке и в магазине. Андрея, говорящего из кабинета Обухова по телефону о билете для меня, Андрея, пьющего с Обуховым чай и говорящего о разоружении. А мы удивлялись, почему Обухов не работает, а по два-три часа держит Андрея и в частных беседах подымает такие нечастные вопросы, как разоружение. Где уж тут больничная работа, когда Обухов стал киногороем. 20 или 21 ноября, когда мы были, кажется, на последнем сеансе объединенной работы советских киношников с зубопротезистом, появилось сообщение, что Обухову присвоено звание «народного врача СССР». Мы увидели объявление об этом в вестибюле гостиницы. Интересно — все мучения, которые перенес Сахаров в стенах Горьковской областной больницы имени Семашко, были в перечне заслуг этого человека, когда ему присваивали высшее для врача СССР звание?

И вот последний вечер с Андреем — и он тоже прошел. В этот вечер было очень скользко, и мне не хотелось, чтобы Андрей ехал один ночью домой на своей машине. Мы поехали на такси. Когда подъехали к вокзалу — мы не были там два года, — вся площадь вдруг оказалась перерытой: в Горьком заканчивают строительство первой очереди метро. Такси остановилось очень далеко. Вещи довольно тяжелые. Андрей тащил их, часто останавливаясь, мне он тащить не давал, но я и без вещей еле двигалась — чувствовала себя плохо. За нами шло пять или шесть гебешников. Когда мы остановились передохнуть, я сказала одному: «Хоть бы помогли». — «Нет, что вы, нам не положено, да вы справитесь, вы люди здоровые!» — с издевкой сказал один из них. Мы дошли до вагона, Андрей внес вещи, в моем купе сидела мелкая женщина с противно знакомым лицом, в заднем тамбуре виднелось столь же противное лицо знакомого гебешника. Потом я их увидела в очередном фильме. Нас опять снимали. И Андрей один на снежном перроне — и в моей памяти, и в фильме.

Мне кажется, нам обоим страшно опять. «Кто может знать при слове — расставанье, какая нам разлука предстоит». Опять надо выдержать — обоим разлуку, ему одиночество, мне мои болячки и их лечение. Но это все под знаком победы, в ауре победы. Два дня назад в телефонном разговоре Горький—Ньютон на мой вопрос: «Как ты?» — Андрей ответил: «Живу настроением победы». И я вспоминала осень 1984 года. Тогда я говорила: «Андрей, надо учиться проигрывать». А он мне на это: «Я не хочу этому учиться, лучше я буду учиться достойно умирать».

Утром (в ноябре семь утра — это еще ночь) я приехала в Москву. Я не была здесь двадцать месяцев. Много? Мало? Встретили меня Боря Альтшулер* и Эмиль. Дома ждала Маша с горячими капустными пирогами. И милиция. Три человека у двери в квартиру на седьмом этаже и целая машина внизу у подъезда. Ну, ладно — они меня ждали, и это понятно, хотя зачем на одну меня так много? Но оказалось, что они были здесь, на этаже, все 20 месяцев — и днем и ночью, — у них тут даже раскладушка стояла, чтобы по очереди отдыхать.

А что было в квартире! В первую осень ветром там распахнуло окно. Квартира так и стояла открытая всем ветрам (и пыли, и грязи, и дождю, и снегу) все это время. Друзей пустили

* Борис Львович Альтшулер — физик, отказник, работает дворником. В 1989 г. А.Д. Сахаров был оппонентом на защите его диссертации. — *Ред.*

туда убраться (хоть поверхностную грязь смахнуть) за два дня до моего приезда. Сколько они вытащили оттуда сгнившего и погибшего, не описать. Там ведь даже в холодильнике оставалась еда. Он сломался, и все это сгнило. Страшно представить. И, по описанию, очень похоже на войну, на то, что заставляли выжившие — вернувшиеся из эвакуации или из армии. Мне этот рассказ напомнил, что я застала в нашей квартире и комнате в послеблокадном Ленинграде, когда вошла туда в августе 1946 года. Интересно — друзья хотели пригласить для уборки кого-нибудь из фирмы «Заря» (там есть такой вид обслуживания), но им не разрешили, и из друзей поработать в этой «клоаке» пустили только Машу, Галю и Лену. Они очень просили, чтобы пустили хоть одного мужчину: надо было что-то двигать и, главное, много выбрасывать — выносить во двор, на помойку, но... «мужчинам нельзя». И вот я в доме.

Мама получила эту квартиру в самом начале реабилитационных выдач квартир в конце 1954 года. Она вошла туда с зонтиком. Потом Цилия* принесла на новоселье, хотя не было стола, скатерть, чудесно вышитую. Кто-то принес раскладушку. У мамы появился дом — его не было с 1937-го.

Прошло время, и мы потихоньку стали ее теснить в этом доме — брат, его жена и маленькая дочь. Потом они ушли в свое жилье. Приехала я со своей семьей. Потом мы много лет жили вчетвером: мама, я, Таня и Алешка. Дети оба кончили школу. Пошли учиться. Таня привела сюда моего зятя. Я привела академика Сахарова. Мы отпраздновали в этом доме три свадьбы — Танину, мою с Андреем, Алешину. Сюда из роддома принесли моего первого внука Мотеньку. Как много счастья видели эти стены. Наша работа, наша теснота, у всех нет места, наши друзья. Дом! Мамин дом! Улица Чкалова, 48-б, квартира 68. Таня с Ремой и маленькими детьми уехали отсюда 5 сентября 1977 года. До этого были исключение Тани из университета, приход палестинцев, угрозы Мотеньке, его странная болезнь, угрозы Ремке, следственное дело против Тани.

Почти сразу после их отъезда нашего отличника Алешку якобы за неуспеваемость выгнали из института. Хмурым утром 1 марта мы ехали на аэродром в Шереметьево. Лиза была черная, как ее волосы. У Алешки в руках были три гвоздики. Я думала, это ей. Он попросил водителя остановить машину про-

*Цецилия Ефимовна Дмитриева (р. 1899 — ум. в нач. 1980-х) — близкий друг семьи Боннэр. — *Ред.*

тив памятника Пушкину. Смежив веки, я и сейчас вижу алость этих гвоздик на мокром граните пьедестала.

Утром 22 января 1980 года Андрюша, как всегда, долго смотрел в окно. У нас там далеко просторно, все небо видно и еще пол-Москвы. Потом он уехал на семинар. Потом позвонил, и вечером этого дня самолет, в котором были мы и человек восемь охраны, доставил нас в Горький. В самолете нестандартно хорошо кормили и сюсюкали по поводу нашего самочувствия какие-то люди, выдававшие себя за врачей. В мае 1980 года из этого дома снова ехали в Шереметьево — мама летела в гости к внукам в США. Когда я с ней стояла около паспортного контроля (до чего все предупредительны — ведь я вместо нее разбиралась с вещами на таможне и смогла довести ее до этой будки), обняв и прижав ее к себе, я слышала, как по-воробыиному колотится ее сердце. Алешка оставил нам Лизу, и хоть один человек — это еще не семья, но дом как-то держался. Мы голодали за Лизу в ноябре и декабре 1981-го. 19 декабря на аэродроме, улетаая в США, она мне сказала: «Елена Георгиевна, я хочу домой, я боюсь». И вот я вхожу в дом и даже пять дней живу. Странно, это не дом — это стены. В них друзья устроили мне проводы. Было много людей, но что я их увижу, что они придут и что в этот вечер стены снова станут домом — на это я не рассчитывала.

Я сижу на веранде. Со всех сторон небо, а я в центре чаши (тарелка). Края ее полого поднимаются. Они курчаво-зеленые. Это заросли низких раскидистых сосен. Совсем какие-то другие сосны. Воздух как наш карельский, а вот сосны вверх не идут, живут широко. Может, это соседство океана так их воспитало. А что воспитало меня, если, глядя на это плывущее надо мной в облаках небо, я ловлю себя на том, что во мне все время свербят строчки: «Облака плывут, облака, и не нужен им...» — подумайте, забыла и именно от этого не могу стряхнуть с себя эти строчки... Только вот дальше помню: «им амнистия ни к чему» (А. Галич). Почему в таком месте, за тридевять земель (и географически, и по-другому) от тех мест, о которых в песне этой, свербит без конца «им амнистия ни к чему». Я жду, чтобы вернулась из лесу Таня с ребятишками и сказала мне, наконец: «И не нужен им... им амнистия ни к чему». Ну, вот вернулись из лесу ребята. Таня сразу на мой вопрос: «И не нужен им адвокат, им амнистия ни к чему».

Сегодня утром (22 апреля 1986 года) я разговаривала по телефону с Андреем. Это только так говорится: разговаривала, а на самом деле или кричала, или ничего не слышала, нас только разъединяли. Получается, деньги мы платим за разъединения. Но все же в дополнение к рассказу о нашей машине Андрей сказал, что попытался посадить в какой-то своей поездке

по городу проголосовавших по дороге цыганок. И ему было сделано официальное предупреждение, что у него будут отобраны права за использование частного автотранспорта в целях обогащения. Наконец-то официально, а не тем эзоповым языком, о котором я писала, — не тараканами, сыплющимися на стол, и не проколами сразу двух, а то и четырех шин. И еще Андрей меня спрашивал, что ему делать с посадкой цветов на балконе, а я пыталась прокричать ему (видимо, эта тема разговора тоже под запретом), что пусть ждет июня и моего приезда, я в этом году буду сажать рассаду, а не сеять семена, а для рассады июнь не поздно. Но не знаю, понял ли он меня, услышал ли? Они, видимо, почему-то не хотят, чтобы Андрей знал, когда я приезжаю. Какую еще липу они планируют?

Но возвращаюсь в декабрь 1985 года. Я так боялась дороги — этого долгого пути от Горького до Ньютона и до врачей. Физически боялась. Ни на секунду не расставаясь с нитроглицерином, под светом юпитеров и под взглядами друзей и недругов, я прошла таможню. Я очень жалела, что забрала с собой мало книг — все пропустили. Прошла паспортный контроль и оказалась здесь, во всяком случае по эту сторону границы. Меня стали узнавать в зале, где накапливались те, кто полетит тем же рейсом. Были там и знакомые журналисты, и, странно, здесь меня никто не боялся — к этому надо было заново привыкать, и я привыкла очень быстро. Ничего не помню про то, как я летела, и как-то вообще не очень понимала — куда, пока самолет не приземлился. Мотор стих, подъехала маленькая машина аэродромной службы — я на все это смотрела чуть отстраненно, через иллюминатор, у которого притулилась с момента взлета. Но, может, в самолете окно зовут по-другому? Я все еще была внутренне в Горьком, по крайности — в Москве. И тут я увидела, что из машинки этой вылезает Алешка, а за ним Ремка. Похоже, это и был момент, когда я поняла, что моя поездка действительно свершилась.

А вот Италии я не видела. Не видела, а тепло ощутила такое, как нигде: и от людей — знакомых и незнакомых, и от цветов и приветов — такая у меня взаимная любовь с Италией, я даже не могу объяснить. Но все было на этот раз в спешке, все под полицейской сиреной, так мы торопились и во Флоренцию, и в Сиену, что я их просто не разглядела. (Даже странно, что мы четверо — в Риме к нам присоединилась Ирина*

* Ирина Алексеевна Иловайская-Альберти — главный редактор «Русской мысли».
— Ред

— выдержали эту спешку.) Кажется, только два места были, где я смогла не торопиться, отдышаться и подумать: Ватикан и гостиная премьер-министра, — и я в обоих случаях уходила успокоенная, зная, что здесь уважают и любят моего мужа и серьезно, а не на словах думают о его благополучии. (Да еще в трех дружеских домах посидела: у Нины, Маши и Лии*, — вытянув ноги, которые тоже болели не меньше сердца.)

Седьмого вылетела из Европы — было 10 утра, седьмого же прилетела в шесть вечера. Ах, век XX, ни к чему нельзя приготовить свою душу. Всё на таких скоростях. В самолете очень жалела, что нет тут Андруши. Господи, всегда жалею, но тут был особый случай. Меня как почетного гостя командир пригласил к ним в кабину. Сколько же там неба — невообразимо; наверно, как в космосе. Вот это зрелище для современного человека. И так хочется лететь. Не в самолете — самому, прямо Наташа Ростова какая-то (только что со своим нитроглицерином). Я тут вспомнила грустное и мне чем-то близкое. Однажды Виктор Борисович Шкловский сказал вполне банальное (этого он обычно не делал): «Старость мало отличается от юности — того же хочется, только не может».

Прилетела к детям и за своим лечением. Как встречали, приветствовали, фотографировали — ничего не помню. Помню только маму да маленьких — увидела я их всех и эту новенькую, смешную, крепенькую и совсем чужую. Девятого началось лечение. Андрей наказывал про все болячки — чтобы ничего не забыла, от врачей не укрыла. Первая операция — мелочь, которую надо было удалить и поглядеть, что она такое. Удалил доктор Натансон, сделал это столь мгновенно, что я не успела не только почувствовать, но и заранее испугаться. Папилома оказалась вполне безобидной, так что зря Андрей волновался. Главное ведь — тот страх, который заранее.

Еще во Флоренции была у своего верного доктора Фреззотти. Он сказал: не горит, и, пока не справитесь с сердцем, за глаза братья не надо. Это же сказал д-р Скеппенс**. И про ноги то же говорят. Ну, и самый страшный доктор — зубной — сказал то же. Значит, все сходится на сердце. (И что сердце болело невыносимо.) Я бы его ругнула, но, говорят, ругать сердце нельзя — дурная примета. Ведь приехала не ругать его, а лечить. Девятого декабря пришла к кардиологу. Похоже, произвела впечатление не чересчур больной. Может, опять меня подвел характер.

В одном фильме про нас диктор говорит, что я веду подвижный образ жизни. А что прикажете мне делать? Можно лечь и умирать, можно заранее сказать: я больна, и всё. Точка. Можно попытаться. Знаменитая история про двух лягушек, попавших в кувшин со сметаной. Одна сказала: «Всё, тону», — и потонула. Другая разозлилась и со злости ста-

* Лия Вайнштейн — итальянская журналистка. О Марии Олсуфьевой и Нине Харкевич говорится на стр. 21. — Ред.

** Бостонский офтальмолог. — Ред.

ла бить лапками по сметане. Била, била и сбила ком масла, а по нему хоть и скользко, но выбралась из кувшина.

Меня пообследовали легонько и назначили консервативное лечение. (Американская пресса поняла это так, что я не очень больна. А до моего мужа довели в таком виде, что я вообще сознательно аггравую. Просто захотелось «в заграницу прокатиться».) Медикаменты в основном не отличались от того, что я использовала дома, не советского производства, но бывающие в советских аптеках. Правда, добавили кое-что, но я про себя с самого начала знала, что на этом далеко не уехать, а уж чуда, которого так жаждет Андрей, не произойдет точно.

Между прочим, доктор (я пишу это по-дружески и надеюсь, что он не обидится — во всяком случае, я уж никак не хочу обидеть) обо мне и Андрее осведомлен был весьма относительно; конечно, слышал — говорили; даже знает, что в Горьком климат не чересчур желателен для моего сердца; но, например, спецвыпуск «Ю.С. ньюс энд уорлд рипорт», где собраны документы о Сахарове, не читал и фильм с Глендой Джексон не смотрел. Я его осведомленность расцениваю как среднюю, полагая, что середина — это как раз те, кто слышал, но не знает.

Я к таким отношусь хорошо — или, во всяком случае, лучше, чем к тем, кто обо всем осведомлен, но по каким-то принципиальным соображениям понять всё по-человечески не хочет. Средние, если им рассказать, способны и понять, и по возможности помочь.

Мой доктор Хаттер хоть и не торопился отправить меня под нож, но катетеризацию сердца сделал и даже нарисовал мне все, что они увидели. Посмотрев на его рисунок, я вполне представила, где и что у меня закупорилось. Представил и Андрей, так как я ему копию этого рисунка в письме послала. Выглядело это не страшно, а вот сердце болело после катетеризации, пожалуй, даже несколько больше, чем до нее. А сама катетеризация залсуживает, чтобы о ней чуточку рассказать. Кладут в больницу ненадолго. Вечером ты туда приходишь, утром рано все происходит, и к вечеру, если все благополучно, можно ехать домой. Затраты времени — ровно сутки. Сама процедура — около двух часов. Страшно больше от предварительных разговоров, которые ведут с тобой врачи обо всех возможных осложнениях, и от подписания бумаг, что ты, несмотря на все предупреждения, согласен. Утомительно лежать в неловкой позе на спине во все время процедуры и после нее, но, в конце концов, и это терпимо. Труден только один краткий период, почти миг, когда тебе вводят краску. Уже ты привыкла к тошнотному ощущению внутри, уже это долгое лежание воспринимаешь не как нечто страшное, а как что-то плохое, но имеющее конец, думаешь: вот скоро все кончится. И вдруг... Помните сказу про Иванушку, которому надо в кипятке свариться и оттуда красивым возвратиться, тогда царевна полюбит... Так вот — считайте, что попали не в клинику, а в эту сказку. Я про себя после этой процедуры твердо знаю: в кипятке варилась, и если красивой не вернулась, то тут какая-то ошибка медицины — ладно хоть любимой осталась. Надеюсь.

Незадолго до Рождества доктор мой стал сомневаться, что консервативное лечение даст положительные результаты, и сказал, что после Нового года покажет меня хирургу.

А пока мы готовимся к празднику.

В России спокон веку существовал жанр — святочный рассказ, рождественский. Существует он и в пору, когда литература старается пореже употреблять слово «Рождество», а главным праздником года стал Новый год. Все равно жанр остается — рождественский рассказ. У нас, воспитанных больше на литературе, чем на вещах, навсегда, наверно, остается какая-то снисходительно-нежная привязанность к этому жанру. Но вещи, если мы попадаем в мир, где они доступны, становятся тоже притягательны. Мы перестаем стесняться любви к вещам и уже не становимся на цирлы перед литературой. Неравновесная наша тамошняя приверженность литературе здесь, когда проходит необходимость ее компенсаторного влияния, постепенно выравнивается — мы становимся (во всяком случае, в этом отношении) более гармоничными.

Я приехала (прилетела — кто же едет за море-океан) в Штаты в декабре, как раз в ту пору, когда начинается всеамериканская покупательная страда. Если там, откуда я, перевес имела литература, то здесь наоборот: надо всем в предпраздничные дни стояла вещь — рождественский подарок (тоже жанр). Она определяла праздник, а может, и весь грядущий год. Покупка подарков занимала всех, о них говорили в семьях, в кафе, в больницах (больница в любой стране — это мир, который дает массу новых познаний). И покупали, похоже, все: и бедные, и богатые, и всякие разные. Это была своего рода разрядка. Действительно, надо же человеку когда-то, когда-нибудь, хоть раз, хоть считанные разы испытать чувство сытости (я говорю не о пресыщении). Нельзя всегда «жаждать». Нельзя в плане личном — это со временем обязательно меняет мироощущение: цвет, вкус и запах живого мира — вся жизнь начинает горчить. У одних меньше, и они справляются с этим, у других больше, у третьих — опасно много. То же самое происходит и в плане общественном. Это, кажется, хорошо понимают те, кто занимается проблемами Третьего мира, Латинской Америки, Азии, Африки. Хотя у некоторых из этих народов вещей, между прочим, побольше, чем у нас. И надо бы, чтобы это знали наши самые главные руководители. Никогда не знаешь, что, и сколько, и как им докладывают и что они сами успели увидеть и понять на своем веку до того, как стали самыми главными.

Я вполне понимаю, что эмигрант стремится больше купить: он неоптит, и его вера обязательно горячее. Это я понимала и раньше. Но меня удивило, что и американцы так же живо и радостно заняты «шопингом», как вновь приобщившиеся. Мне нравилась покупающая публика Америки в предрождественские недели и дни — живая, занятая, активная и сосредоточенная.

Большой, большущий американский универмаг — не для богатых, а просто для людей; кстати, американцы, в общем, довольно бережли-

вы и свою трудовую копейку предпочитают потратить не там, где дерут втридорога. Не эмигранты, немолодая пара (я больше часа следила за ними, может, даже несколько нарушая их privacy). Как внимательно они выбирают, смотрят, щупают и обсуждают и берут — много вещей берут, две большие каталки, — наверно, у них дети, внуки, их много, и много друзей. Это все понятно. Но внимательность и серьезность их при этом, особенно мужчин, для меня была непривычной. В общем, у нас мало найдешь мужиков, которым покупка подарков была бы столь уж важна, даже приверженные к внешнему и престижному такое больше доверяют женам. Или, может, здесь еще и близость какая-то семейная, сказывающаяся в общей озабоченности покупками, даже тогда, когда покупай — не хочу, всего море разлитое.

Все предрождество люди сновали по магазинам. Я ездила со своими и удивлялась, как много покупателей и как много времени они отдают магазинам. И видела удивительное: 23 и 24 декабря, полупустые, почти совсем пустые магазины. Молодец, Америка! И никаких тебе торговых завалов — во всяком случае, на виду. Все накупались, все благодатны, и во всех магазинах, кафе, на улице, везде, на всю Америку: «Have a nice Holyday».

Я не видела и не общалась здесь с теми, кто против потребления, кто кроет потребительский дух Америки — не американцы, а прибывшие и не создавшие «общество потребления». Но мне было бы очень любопытно посмотреть, как они проводят в жизнь свою программу и покупают ли они что-нибудь к Рождеству, дарят ли женам, детям, матерям, друзьям подарки. Или стойко «не потребляют». Я не знаю, для других ли только их лозунг «потребление — это плохо» или для себя тоже. Если так, то я боюсь их дисгармоничности (от недопотребления она может развиться куда быстрее, чем от потребления). У меня иногда закрадывается мысль, что не так страшно общество потребления и его пороки, как нам объясняют. Но мы начинаем страдать бессонницей и даже можем (сомнительно, но все же) перестать потреблять. А те, кто пугает, — они и спят, и потребляют. И обманывают нас.

Прошло Рождество с его разгулом подарочной стихии. Новый год — совсем тамошний, московско-ленинградский: в доме были только те, кто не может стать президентом; исключение — Саша: она родилась здесь.

6 января я пришла к хирургу — встречу назначил мой доктор еще до праздников. Доктор Остин из тех, кто создан решать. После одного собеседования с ним я уже ощущала себя под ножом и понимала, что никакие объяснения о проценте осложнений и совсем не тех исходов ничего не изменят. Он и доктор Эйкинс уже мысленно взрезали меня, а у них где мысль, там и дело. Я почему-то вспоминала ощущения, которые мне дала катетеризация сердца, — это как я в кипятке варилась. Но там доктор был чем-то похож на своих из Первого медицинского, и фамилия звучала как-то почти близкой, вроде Блок. И я думала, что та процедура все-таки была божеской, а вот что ждет меня теперь?

12-го меня положили в больницу. А вершить доктора это будут тринадцатого. Все-таки у меня удивительное отношение к приметам. Когда вечером 12-го я подписывала анестезиологу, потом кардиологу, потом хирургу свое «быть или не быть», я вспоминала Севино «бросимся в плавание, мальчики» — если кто-нибудь теперь найдет и прочитает книжку Всеволода Багрицкого (я о ней уже третий раз вспоминаю на страницах этих записок), я буду считать, что чего-то достигла. Доктор Эйкинс сказал: считайте, что одного дня у вас в жизни не будет, — или он сказал это как-то помягче, но поняла я так. Кто переводил — Таня или Алеша? Не помню. И вот ребята ушли. Больничный вечер. Я приняла душ. Пришли две медсестры, бросили на пол голубое, как вода в том океане, который был, когда еще ничего на свете не было, полотенце. Поставили на него, сняв с меня все до самой последней ниточки. Мне вдруг стало страшно. Заныло где-то внутри, засосало, захотелось плакать и сказать: «Прощайте, любимые». «Прощай, лазурь...» (Б.Пастернак). Меня вдруг пробрала дрожь от холода и ужаса. А медсестры, тихо смеясь и что-то говоря друг другу, начали меня брить — не подмышки или грудь, я понимала, что грудь будут резать и что операционное поле надо побрить. Меня брили всю — от кромки волос на голове и дальше: шею, грудь, бока, спину, живот, ноги, верхние поверхности стоп, плечи, предплечья, кисть: я вся становилась одним сплошным операционным полем или жертвой — священной жертвой для заклания. Моя дрожь мешала сестрам, но они справились и стали меня обильно поливать из больших бутылок (не из аптечных пузыречков) иодом или чем-то иодистым и растирать это что-то полотенцем. Наверно, кожу очень саднило, наверно, щипало, они обмахивали меня полотенцем, как веером, но я не очень это чувствовала. Я продолжала быть в ужасе. А меня всунули в стерильно-голубое, уложили, что-то дали выпить. Я спросила, который час. «Без двадцати одиннадцать», — провалилось куда-то в моем сознании. Меня поразил мой голос, когда я задала вопрос. Я уходила в небытие, и голос был, как старая история...

...Я накачивала примус под автоклавом — кто теперь знает, что так стерилизовали перевязочный материал? В узкий просвет двери я видела низкое октябрьское небо. Я услышала, как они летят. Это было странно, что в такую плохую погоду. Их было два. Они летели низко и скрылись из поля зрения. А я увидела ее, она падала, и я видела, что ее чуть сносит ко мне, она была большая. Я уже ничего не слышала — ни ее, ни самолетов, но ощутила влагу на своем лице: шел мокрый снег, его бросило в меня. Больше ничего не было. Долго? Я не знаю.

...Потом прямо надо мной появились звезды и небо. Оно было морозным, цвета синего мороза, и я не знала, жива или уже нет. Потом я почувствовала свои руки, особенно левую,

в ней была боль. А вот ног не чувствовала и подумала: «Как же я буду танцевать?» — и услышала голос: «Пожалуйста, не умирай». Кто это говорил? Я? Разве это был мой голос? Дальше я все знаю по рассказам. Меня слышали, нашли, раскопали. Значит, меня уже когда-то не было. Почти сутки. На полустанке Валя, недалеко от станции Ефимовская. С утра 26-го до рассвета 27 октября 1941 года.

Возвращаться в жизнь было очень трудно. Мне кажется, что я слышала сильно голос Тани, потом Ремы и Лизы. Может, этого не было? может, это их рассказы наслоились? Нет, все-таки было. Но ощущение, что я нахожусь в жизни, а не Там, — пришло позже: Алешкин голос, Алешкино «Мама». Потом опять был провал. Потом снова: «Мама, ты слышишь меня? Мама, пожми мне руку». Я слышала, и мне кажется, что я жала, только у меня не было ощущения его руки. Потом я снова слышала его голос и даже ощутила запах, как будто он только что покурил. Потом опять пустота и чужой женский голос — английский язык. Я понимаю, что операция прошла, что шесть шунтов (почему шесть — говорили про три, самое большее четыре). Я слышу свое дыхание — или это не мое? — машина гонит в меня воздух, дышит за меня. Другая стучит за мое сердце.

Я ощущаю тепло Алешкиной руки и разницу между его и моей температурой. А у меня страх — это он болен, он маленький и больной, и у него горячая ручка, но почему запах табака? — я тогда не курила. Путаница какая. Может, это все сон или небыль. И снова: «Мама, пожми мне руку». Я жму. Алеша говорит по-английски: «Она меня слышит».

— Слышу, слышу. — Я хочу сказать, хочу крикнуть и — не могу. Так я вернулась в жизнь. Опять ранним утром, опять на рассвете — 14 января 1986 года. Станный повтор. Как будто тот возврат в жизнь в 1941 году был только репетицией.

Потом меня отключили от машины, и я произнесла первые слова. Потом отключили от монитора, потом отвозили в палату — это все уже была медицина, хорошая, но медицина, а до этого было нечто другое. Я знаю, что оно было запредельным, это «Существование» или «Несуществование», это между «Здесь» и «Там». Я ушла из него, и пошла послеоперационная рутина, мучительные ночи, мучительные дни, когда после первого улучшения начался перикардит и плеврит, постоянные боли — Господи, ну все кости перерезаны, переломаны — ни лежать, ни сидеть, ни ходить, и нога болит, и рука левая — плечо так, что хоть криком кричи, — и то, и это, и пятое, и десятое. Мне кажется, такой больной, такой бессильной справиться со всем этим я не была никогда.

И не знаешь, надо ли было идти на все это — может, лучше бы остаться без такого крутого лечения. Я ведь до сих пор думаю: а имеем ли мы право так вторгаться в собственную жизнь? И вообще после всего перенесенного возникает мысль-вопрос: «А может, это и не я» (А.Ахматова). Наверно, я так и не разрешила бы свои сомнения — о праве на такую операцию, на такое лечение, несмотря на то, что уже смогла сесть

за работу, смогла настучать на машинке эти страницы, — но меня пустили в операционный блок Масс-Дженерал.

Не видать бы мне этого как своих ушей, не будь я врач, не имея расположения главного анестезиолога, да того, что доктор Хаттер сам меня туда повел. Вход совсем не свободен — прямо как в крепость или в Пентагон, — в книгу записали, спросили, откуда я (написали: Россия), расписаться заставили. Пропустили. Еще пока только в раздевалку. Там переделалась и пошла. От всех моих сомнений многонедельных: «Имеет ли человек право на такую операцию?» — я стала волноваться еще раньше, с утра, а к этому времени меня стала пробирать легонькая дрожь. Я вспомнила, что несколько дней назад, когда я договаривалась об этом посещении, доктор Хаттер спросил: «А в обморок не упадете?» Я тогда даже оскорбилась: «Это я-то?» — до того, как стала врачом, столько лет медсестра, и вдруг такой вопрос. Но сейчас я сама задала себе тот же. И ответила на него тоже сама: «Ну, держись». Чего я ожидала?

Я ожидала чего-то вроде воплощенного в реальной картине своего сомнения, своего вопроса, а пришла в нормальную работу — люди трудились. Конечно, эта работа была, что называется, высшего класса — высший пилотаж, но работа, а не Вопрос, да еще с большой буквы. Мне было очень интересно, и не было никаких волнующих ощущений, кроме: здорово работают. Конечно, здорово! Стоит только поглядеть расписание: 60 операций в один день — четверг 6 мая 1986 года. Работа идет в сорока комнатах. У некоторых врачей две, а то и три операции в день. Доктор Эйкинс — три операции. Сейчас он стоял над раскрытой грудной клеткой: разрез посередине, края раздвинуты и закреплены, сердце, открытое всему — глазу, рукам, ветру. Но до чего же точное название операции — «открытое сердце», — так точно, что ни прибавить, ни отнять. Оно билось ровно — то сердце, на которое я смотрела и на котором вершил свою чудесную и чудовищную работу хирург. От каждого толчка уровень крови в сердечной сумке то поднимался, то падал. Потом к большим сосудам присоединили прозрачные пластиковые трубки: они заполнились кровью, даже по виду стали тяжелей, и через полкомнаты машина стала гнать по этим трубам кровь. Большой круг кровообращения и малый круг вышли из оболочки тела, но функционировали, как им и положено, а сердце посветлело и остановилось.

Я вспомнила, как страшно становилось в операционной, когда падал пульс у оперируемого или не выслушивалось сердцебиение плода. Здесь — ничего подобного. Сердце отключали, чтобы было удобней, легче на нем оперировать. И продолжалась работа, тонкая, как у кружевницы: доктор шил шунты, один, два. Тихо все, спокойно, привычно — им привычно. Один раз спросил, какая температура; «23,9°», — ответил один из тех, кто смотрел за приборами и время от времени что-то вводил в вытянутую, белую, как мрамор, руку. Два шунта — 30 минут. Потом вновь большие сосуды замкнули в те круги, которые им положены. Сердце вздрогнуло, раз, другой, порозовело, и вместе с розовостью стала возвращаться в него жизнь. Пока еще только в сердце — не к

пациенту. Еще пройдут часы, еще от температуры 24° надо подняться хотя бы к 32-33°, чтобы начать возвращаться в наш мир. А у доктора сегодня еще две операции.

В другой операционной маленькое тельце под голубыми простынями — ребенок, два года. Тоже раскрытая грудка, и тоже «открытое сердце». Все, как у взрослого, но меньше, и на сердце нет еще ни жиринокки. Но, чтобы жить, надо пройти через это — тоже раскрытая грудка, и тоже открытое сердце. Мало того: и само сердце раскрыто. Доктор, пока кровь идет по пластиковому малому и большому кругу, а остановленное сердце ждет, просто вырезает из белого дакрона овальную заплатку размером немного больше ногтя на большом пальце, примеривает ее к тому месту, которое надо закрыть — у малыша незаращение межжелудочковой перегородки, — и пришивает — аккуратно, медленно, спокойно. Тоже спросил про температуру — 21,9°. Сосредоточенно продолжает свою работу — творит чудо. А в комнате для родственников мама этого мальчонки мучается, ждет, надеется, сомневается. Сомнение необходимо, оно делает нас ответственной. Но как это хорошо, что у доктора, который шьет сейчас заплатку, такие золотые руки — и сомнение, и ответственность.

После «открытого сердца» любая операция — уже не событие. Так что вторичную ангиографию и ангиопластику на правой ноге я уже воспринимала без лишней эмоций. Правда, я снова в кипятке варилась, и боли в ноге были сильные и стойкие — а я почему-то ожидала, что в этот раз обойдусь без болей. Если честно, я от них устала и все еще не отошла от большой своей операции: грудь еще болит, глубоко вздохнуть все трудно. А не дай Бог к чему-нибудь грудью прикоснуться или кто-то из друзей обнимет — боль пронзает насквозь, хоть кричи. И за машинкой сижу, а грудь болит.

И вот я свободна от ожидания следующих оперативных вмешательств в меня. Это, оказывается, приятно — знать, что тебе не грозит или не предстоит (так мягче) нож. Мне полагается отдых, и надо спокойно посмотреть на своих детей. Но черт меня понес, я села за машинку. Добро бы я могла вместо халатов, нового костюма, кучи кофточек, маек и подарков моим и детским друзьям сложить эти листы в чемодан и отвезти их Андрею. Ему это был бы подарок. Он сидел бы читал. А я бы яблочный или малиновый пирог пекла. Но — пирог, надеюсь будет, а вот листки эти ему не прочесть. Жаль мне очень, прямо нестерпимо. А ведь я из-за них ему писала реже, а в последние дни попала в цейтнот и совсем не пишу, тороплюсь закончить, завершить во времени уже не Горький, а свои американские каникулы.

Прием, обед, ланч и серьезный разговор об Андрее и его судьбе, вопросы разные, иногда такие, что ясно: ничего ты про него не знаешь. И даже, зачем сюда пришел, не знаешь, все идут — и ты пришел. Совсем как у нас дома бывает! на улице очередь — значит, дают что-то. Увидел — стал. «Дают» — у нас

синоним «продают»; и совсем не всегда дешево, вот теперь бывает: шапки меховые модные по цене 350 рублей за штуку, берут, между прочим, иногда и по две. Что дают, не знаю. И передние не знают. Ничего, потом разберемся.

Но есть и такие, что знают про Андрея много, и даже близкие знакомые, а все-таки вопрос: «А кто сейчас за Андреем Дмитриевичем ухаживает, ведет хозяйство, пока вы здесь?»

Никто. Он один. О д и н ! Сам убирает, моет пол в кухне, сам моет посуду.

«А он сам умеет?» Да, умеет, и это умение, и эти дела не раздражают его, он не думает, что они отнимают его время у «вечных» и «бессмертных» дел, он уважает эти дела и готов их делать, не только когда он один, но даже и тогда, когда я с ним, иногда прямо рвет у меня из рук.

Его отношение к этим делам на самом деле очень важно понять. Оно очень похоже на его отношение к людям — нет маленьких людей и маленьких судеб, нет маленьких дел.

Когда говорят: «Андрей Дмитриевич, вы такой большой человек, вы нужны миру и т.д., зачем вам рисковать здоровьем, голодая за Лизу, Люсю, Буковского, Огурцова, Мороза?» — он раздражается, замыкается, не может говорить, потому что те, кто задает подобный вопрос, не понимают самую глубинную сущность стимулов его поступков.

А ему, бывало, говорили: «Зачем вы пишете про какого-то еврея, который захотел уехать?» Эти вопросы его глубоко оскорбляли, но и озадачивали: как люди, знающие его, могут так не понимать? Его отношение к житейским делам, к повседневной жизни такое же простое и такое же уважительное, как к людям. Но ему трудно одному, ему не хватает времени на все эти дела. У нас они все несравнимо более трудоемки, чем здесь, и иногда не хватает на них физических сил.

Вопрос: «А когда вы были без него, то у вас было так же?» Да, так же. «Как же вы всё это делали, если у вас такое сердце, что было необходимо сделать шесть шунтов?» Делала. А чего не могла, того не делала. Я не смогла вымыть окна осенью перед тем, как закрыть на зиму. Летом мыла, а вот осенью стало хуже с сердцем, и не смогла. Они так и остались грязными, потому что пригласить кого-то я не могу: деньги у меня есть, но общение с людьми мне запрещено абсолютно.

Был такой случай — сломался телевизор. Я нашла номер телефона ателье в телефонной книжке и пошла звонить. Я долго искала работающий автомат — только первые два не ра-

ботали, третий был в порядке. Но не успела я набрать номер, как сопровождающий охранник (или гебешник — не знаю, как их называть, чтобы не было клеветы) рванул дверь и нажал на рычаг. Было долгое объяснение с ним, он внушал мне довольно по-хамски, что я прекрасно знаю, что мне нельзя пользоваться телефоном, потом согласился доложить начальству, что мне нужен телевизионный мастер. Прошло два дня, и вдруг милиционер, который дежурит у нашей двери, вполне вежливо сказал: «Завтра к вам придет мастер». Так прекрасно кончилась эта телеистория.

Вопрос: «А почему надо ходить к телефону-автомату, разве нельзя позвонить из дома?» Из дома нельзя, дома нет телефона, все шесть лет в Горьком академик Сахаров живет без телефона. Бывали случаи, когда нужен был не мастер для телевизора, а неотложная медицинская помощь для меня, и Андрей Дмитриевич бегал по морозу, искал работающий автомат — зимой они имеют свойство работать еще реже и хуже, чем летом. А сейчас он один, и, если ему понадобится скорая медицинская помощь, я не знаю, что будет.

В фильмах, демонстрируемых на Западе, Андрей Дмитриевич много говорит по телефону, и это нарочитая демонстрация, будто телефон есть. Сейчас, когда я здесь, нам разрешают такую роскошь, как поговорить, и для этого его вызывают на переговорный пункт, но не на главный, где обычно идут международные разговоры, а в почтовое отделение № 107. Его специально оборудовали, чтобы вести съемку скрытой камерой, демонстрируя всему миру, как просто, совсем не думая о законе, подслушивается и записывается разговор между мужем и женой. Не знаю, кто делал эти фильмы, но кадры с записанными и демонстрируемыми всему миру нашими семейными разговорами — на мой взгляд, явно антисоветские, и в любой демократической стране, где закон и право защищают людей, а не только государство, мы с мужем выиграли бы судебный процесс против неназванных авторов этих фильмов и государственных служащих, которые устраивают эти подслушивания. Вспомните Уотергейт. Президент тогда был вынужден уйти со своего поста за прослушивание телефыонных разговоров. Другие кадры с телефонными разговорами Андрея Дмитриевича — это разрешенный КГБ разговор из кабинета главного врача, когда он заказывал мне билет выезжать из Горького, ехать на Запад, и разговор с сотрудником МВД по поводу моего заграничного паспорта тоже в эти дни.

«Слушаете ли вы радио?» О да! Для этого мы выезжаем на самый край города, на ипподром или кладбище, и там можно услышать некоторые западные радиостанции. Эти поездки нетрудно делать весной и летом, но зимой холодно, очень ветрено, день короткий, а мы зимой, когда город плохо чистят — это видно в одном из фильмов — и очень скользко, предпочитаем не ездить вечерами. Так что зимой мы почти ничего не слушаем.

«Почему вы не слушаете радио дома?» Потому что глушат. В нашем доме — во всяком случае, в нашей квартире (про весь 10-этажный дом я не знаю) — работает какая-то установка, не дающая слушать радио, создающая помехи на телевизоре, мешающая слушать даже музыку с пластинок. Эта установка работает круглые сутки — мы пробовали утром, днем, вечером, ночью.

«Не вредно ли это для здоровья?» Андрей думал об этом. Он не знает. Ну, я, тем паче, ничего не знаю про такие вещи.

«Можете ли вы читать газеты и журналы?» Советские — сколько угодно. Западные, которые у нас накопились за четыре года до обыска 8 мая 1984 года — среди них «Ньюсуик», «Тайм», «Экспресс», «Пари-матч», «Ю.С. ньюс энд уорлд рипорт» и другие, — были все забраны на обыске, и их не вернули, так же, как и вырезки из западных газет. Даже подборку вырезок из советских газет забрали и не вернули.

«А что вы еще читаете?» Андрей Дмитриевич вообще читает не очень много (я говорю о художественной литературе) — обычно то, что я ему подсовываю. Он больше занят научными журналами или препринтами. Я читаю много. В основном, это советские толстые журналы — в них бывает много интересного: и прозы, и публицистики. Читаю книги; раньше, пока была связь с Москвой, еще развлекалась английскими детективами — моего английского не хватает на серьезное чтение, но вполне как раз, чтобы понять моих любимых героев — толстого Неро Вольфа и его обаятельного для женщин всех возрастов помощника Арчи, Агату Кристи, Ле Карре (трудно, но читала) и других. Иногда Андрей тоже читает английские детективы.

«Где вы берете советские книги и журналы — просто покупаете?» Некоторые газеты мы просто покупаем. Большинство толстых журналов и газет мы выписываем на год. Это у нас довольно сложно, так как многие газеты и журналы у нас «лимитные». Это означает, что подписка на них ограничена,

а в свободной продаже их бывает очень мало. Для западного человека такая постановка вопроса может быть удивительна: хотят купить, а им не дают, — но у нас так. Объясняется ли лимит чем-либо, кроме нехватки бумаги, я не знаю, но часто лимит бывает как раз на самые читаемые издания. Точно так же не хватает книг, которые люди хотели бы купить. У нас с Андреем Дмитриевичем нет проблем с подпиской, и мы можем выписывать практически всё, что хотим, кроме журналов «Америка» и «Англия». Это потому, что я инвалид войны, а инвалидам войны предоставлена льгота выписывать что они хотят, без лимитных ограничений. Я должна только предъявить свой документ и заплатить вперед за год. На 1986 год при выписке я заплатила что-то около 500 рублей — по советским масштабам, учитывая, что у нас эти издания относительно дешевы, это очень много. Как говорится, читай — не хочу. С книгами у нас тоже нет проблем. Пока Андрей Дмитриевич — академик, он может выписывать многие из издающихся в СССР книг из магазина «Академическая книга» в Москве. Раньше мы ездили туда каждый месяц, и это было прекрасное занятие — порыться в книгах. Прямо оба были как один Карл Маркс: «Ваше любимое занятие? — Рыться в книгах». Сейчас мы заказываем книги по издающемуся «Академкнигой» бюллетеню и получаем заказ по почте. Это скучней. Кроме того, лучшие книги почему-то не доходят. В среднем мы делаем заказы на 25-30 рублей ежемесячно.

Книги и журналы — главная материальная «роскошь» нашей жизни, так было в моей жизни и до встречи с Сахаровым. Так было и до Горького. Других приобретений, кроме того, чем живешь постоянно, мы практически за годы совместной жизни не делали; мебели, кроме кое-чего на кухню и тахты, на которой мы спали, мы в Москве не покупали. В Горьком я купила письменный стол, книжный шкаф, стол и несколько настольных ламп. За годы нашей семейной жизни мы не купили ни одного ковра или хрустальной вещи (и то, и другое — показатели, хотя бы внешние, уровня жизни в нашем обществе), да и насчет туалетов тоже как-то не очень мы роскошествовали. Вот как далеко меня увел вопрос о книгах и журналах. Но, думаю, читатель, которому многое или все интересно про Андрея Дмитриевича, меня простит.

Однажды меня спросили, как в Горьком с продуктами. Не катастрофично и, наверно, так же, как в других не столичных городах. Я просто перечислю все, что есть в магазинах и да-

же не вообще магазинах, а в том, которым мы пользуемся. Это на расстоянии двух-трех кварталов от нас, может, чуть дальше, но оттуда идти в гору. Мне с продуктами после инфаркта стало это тяжело. Я стала туда ездить. Андрей обычно ходит.

Магазин продуктовый: всегда есть сахар, чай (очень плохой), соль, какое-нибудь печенье, рис, растительное масло, несколько видов конфет, манная крупа, иногда другие крупы и макароны, но гречки не было за шесть лет ни разу. Сливочного масла нет, маргарин есть, иногда бывает сыр, почти всегда бывают яйца, остальные продукты: мясо, куры, колбаса, рыба — если появляются, то стоит большая очередь. Молочный магазин: почти всегда в первую половину дня есть молоко и кефир, часто бывает творог и сметана, иногда бывает сыр. Овощной магазин: картофель, капуста, морковь и свекла бывают почти всегда, кабачки, цветная капуста — очень редко; яблоки, виноград и другие фрукты вызывают очень большие очереди, особенно — бананы или апельсины. Всегда есть какие-то соки. Булочная: хлеб днем есть почти всегда — черный и белый, вечером — чаще в пятницу — иногда может не быть, так как очень много покупают едущие в деревни. Пожалуй, про магазины я сказала почти все. Да, есть еще винно-водочный магазинчик. Водка бывает не всегда, за ней большие очереди.

Все продукты, как инвалид войны, я могу брать без очереди, предъявив удостоверение. Иногда я этим пользуюсь, особенно когда дают (продают) творог и фрукты. Однажды я это право использовала, покупая водку. Летом 1985 года я очень сильно похудела, и у меня начались нарывы под мышкой. Опасаясь, что инфекция может распространиться, я решила, что нужно хорошо дезинфицировать кожу. Салфеток с алкогольной пропиткой у нас не продают, спирта тоже. И я пошла за водкой. Очередь была большая, так как день был неудачный — пятница. Я достала свое удостоверение. Стоявшие впереди и вокруг пропустили меня. Я попросила бутылку водки, потом передумала и сказала «две» — вдруг мои нарывы станут распространяться, так чтобы уж больше не ходить. Когда я вышла из магазина, держа в каждой руке по бутылке водки, то мой сопровождающий гебешник спросил: «Елена Георгиевна, а ведь вы вроде раньше не пили?» — «От вас запьешь».

Не знаю, поверил он, что я запила или нет. Это было в самые беспросветные дни июня 1985 года.

В городе есть несколько рынков. Цены на продукты на рынке в среднем в три раза выше, чем в магазинах, на неко-

торые продукты и больше: например, мясо в магазине стоит 2 руб. кг, а на рынке — от 6-ти до 8-ми. Картофель в магазине стоит 10 коп. кг, а на рынке — от 30 до 50 копеек. Творог в магазине — 1 рубль, а на рынке — 4-5 рублей. Ягоды и многие фрукты и овощи практически есть только на рынке. Зимой рынок очень бедный, и, чтобы что-то купить, надо приехать к 8 часам. Я всегда просыпаю это время. Летом рынок значительно веселей — появляется много цветов, ягод, и, конечно, очень его украшают фрукты, в основном привозные из южных республик, но цены пугают всех. Один наш актер в новогодней телепрограмме перед 1985 годом сказал, что ОБХСС (отдел борьбы с хищениями социалистической собственности) должен сразу арестовывать тех, кто на рынке приценится к дыне и грушам, — и никогда не ошибется, так как на зарплату их купить невозможно. Это, конечно, преувеличение, но что-то тут есть и от реальной жизни, хотя на рынке я вижу много покупателей.

Мы тоже пользуемся рынком, особенно летом и осенью. Еще одна привилегия, которая дает нам возможность не очень думать о продуктах, — это опять-таки моя привилегия инвалида Великой Отечественной войны. Во всех городах есть специальные магазины, которые обслуживают эту категорию людей. Когда меня сделали ссыльной, то я потребовала, чтобы меня прикрепили к такому магазину. До этого я почти все продукты возила из Москвы. Меня прикрепили, и мы ездили два раза в месяц в этот магазин. Там система заказа, можно купить продукты каждому инвалиду только два раза в месяц. В заказ входит 1,5 кг мяса, одна курица, 1 кг рыбы, гречневая крупа, горох, майонез, 600 г сливочного масла, какие-нибудь консервы, полкило сыра. Этот заказ нам очень помогает жить — особенно зимой. Как я сказала, мы ездили в магазин сами, но это было какое-то общение — с другими инвалидами, с продавцами, и нам запретили туда ездить. Теперь этот заказ привозят нам домой. К сожалению, привилегии инвалидов Отечественной войны не распространяются на других инвалидов, что, учитывая повседневные трудности нашей жизни, существенно облегчило бы жизнь этой категории советских людей.

Один из самых частых вопросов: «Раньше Андрей Дмитриевич не высказывал желания эмигрировать. Что он думает об этом теперь?» Этот вопрос задают давно — мне кажется, что с тех пор, как Андрей стал общаться с корреспондентами в 1972

году, родился и этот вопрос. Часто его задавали на Чкалова, когда мы еще не подозревали, что нас ждет Горький. Андрей обычно отвечал на него лаконично, чаще всего одной фразой: «Я не обсуждаю нереальных ситуаций». В 1973 году он впервые получил приглашение поехать на год в Принстон в качестве профессора-гостя и с благодарностью принял это приглашение, но, высказывая эту благодарность по телефону корреспонденту, сообщившему о приглашении, сказал, что, если он с благодарностью принимает приглашение, это не означает, что он готов или собирается эмигрировать. Он тогда даже уточнил ряд причин, по которым в то время не считал эмиграцию возможной для себя. Пресса сообщение об этом разговоре передала неверно — она попросту отсекала вторую часть разговора. На сколько я помню, Андрей не делал никаких официальных шагов, чтобы поехать в Принстон. Когда он получил Нобелевскую премию, он обратился в ОВИР и получил отказ. Через несколько лет Андрей получил приглашение быть гостем на съезде АФТ-КПП и принял его, но до стадии ОВИРа не дошел: ему не дали какой-то бумажки в Академии, без которой невозможно действовать дальше. И наконец — сегодняшние дни: Горький. В начале 1983 года Андрей получил приглашение от норвежского правительства переехать на постоянное жительство в Норвегию. Приглашение было сделано по поручению Стортинга (парламента) Норвегии, за решение голосовали все партии, представленные там, то есть оно было принято единогласно. Андрей ответил на это приглашение письмом, которое я привожу здесь полностью.

ПРАВИТЕЛЬСТВУ НОРВЕГИИ

С благодарностью принимаю приглашение правительства Норвегии о переезде в Норвегию с семьей на постоянное жительство. Возможность моего выезда из СССР зависит от разрешения советских властей. Ранее мне не были разрешены поездки за рубеж (в 1975 и 1977 гг.) со ссылкой на секретный характер моей работы до июля 1968 г. Прошу запросить власти о возможности моего выезда сейчас.

В случае отказа советских властей прошу правительство Норвегии поддержать нижеследующую просьбу, имеющую для нашей семьи большое значение. В сентябре 1982 г. моя жена Елена Боннэр подала заявление о поездке в Италию для лечения и операции глаз. Ее болезнь возникла вследствие контузии на фронте во время Второй мировой войны. В силу особенности нашей

жизни лечение моей жены в СССР невозможно. В 1975 году мы добились разрешения на лечение в Италии, и три раза, последний раз в 1979 году, моя жена выезжала для лечения в Италию. Сейчас налицо опять необходимость поездки. Однако вот уже полгода нет никакого ответа. Ваша поддержка в этом деле могла бы оказаться решающей.

С глубоким уважением

Андрей Сахаров

24 февраля 1983 г.
г. Горький

Р. S. Прошу Вас найти возможным сообщить мне результаты Ваших переговоров как по первому, так и по второму вопросу.

«Как вы относитесь к сообщениям, что скоро ваш муж будет обменен?» Я отношусь плохо — не к обмену, а к этому сообщению, я считаю его провокационным. Думаю, что сообщение об обмене появилось в прессе 18 мая для того, чтобы все забыли, что 21 мая Андрею Дмитриевичу будет 65 лет, чтобы никто гласно и торжественно, как это было в прошлые годы, не отмечал на Западе этот юбилей.

«Собираетесь ли вы возвращаться в СССР и когда?» Собираюсь и даже уже составила список того, что мне надо купить, но покупок еще не делала. Думаю вылететь туда в конце мая.

Фильмы, изготовленные в КГБ. — Люди или нелюди? — Хочу дом. — Мама. — Где же взять счастливый конец?*

Сколько я уже фильмов, проданных через «Бильд», посмотрела — пять, кажется; можно разбирать каждый по отдельности, можно скопом — все равно ложь, скомпонованная в полуправду, выдаваемая за правду. Это так трудно даже самой себе объяснить и разъяснить по эпизодам, а как сделать это для других, не представляю, но надо. Ведь никто, кроме меня, ничего разъяснить не может. Вот если б Андрей... Он умеет без эмоций и как-то очень точно, без моих лишних слов и моего засоренного языка. Вообще-то было бы легче, если б я могла, кроме общей линии — дезинформация с целью создать впечатление полного благополучия, — понять поводы выпуска каждого из фильмов, почему именно в то время и зачем.

Общее представление. Нас снимают всегда и уже давно — до Горького. А с момента поселения в Горьком нас снимают просто всегда, постоянно — мне теперь кажется, что нет ни одного нашего выхода за пределы квартиры, не отснятого ими про запас. Во всяком случае, я видела кадры всех этих лет. Все фильмы озвучивает один и тот же голос — он кажется мне знакомым. Кто это? Актер? Профессиональный чтец-декламатор из КГБ?

Все фильмы начинаются с показа «парадного» Горького — зима ли, лето, весна, осень: город туристский — то Ока, то

* См. также Приложение № 13. — Ред.

[REDACTED]

Кремль, два-три собора (больше не осталось), фонтан, всегда показывают главную улицу — Свердлова, — но никогда наш конец проспекта Гагарина, где как раз у нашего дома осенью и весной лужа по здешним меркам квартала на три. Там летом — засохшая грязь, с поверхности которой ветер (а он у нас как в песне Новеллы Матвеевой: «Какой большой ветер напал на наш остров...») поднимает смерч пыли. Зимой там снежные завалы или ледяные надолбы. Кстати, не там ли в последнем фильме показано, как Андрей толкает машину? И снова: парк с могилой Неизвестного солдата, пляжи, набережные, гуляют люди, играют дети, Волга, Ока, идет пароход, летит на воздушных крыльях прогулочная «ракета». Непредвзятому зрителю кажется, что все это имеет отношение и к нашей жизни. И нет нужды, что мы за шесть лет ни разу не подошли близко к пристани — я один раз попыталась летом 1984 года в день рождения мамы, но мои охранники не допустили такого самовластия, попросили к пристани не подходить. Где уж тут пароходы и прогулки на воде! А вдруг уплывем?..

Первый фильм, доставленный через газету «Бильд», появился в августе 1984 года. Сначала — тот самый парадный город, о котором я говорила. Звучит голос диктора, он говорит о городе автостроителей, соборах и церквях, Кремле, настоящих памятниках русской старины, фонтане, которому сто лет; в городе свыше 1 млн. 300 тыс. жителей; «здесь с 1980 года по решению властей проживает академик Сахаров». В дикторском тексте нет и намека на законность: «решение властей», а по существу — «что моя левая нога захотела». Потом показывается дом, где Сахаров поселен, и квартира внутри — в наше отсутствие: таким образом, снимавшие фильм всему миру показали «неприкосновенность жилища в действии». Далее идут кадры лета 1981 года; весны 1980-го — сажание деревьев. Фраза: «Живут замкнуто, но охотно принимают гостей», — что она означает? По логике надо бы: «живут замкнуто и не принимают гостей». Или она означает «замкнули»? Зимняя прогулка с Димой — осень 1980-го. Таня и Марина — 21 мая 1981-го. Фраза: «Академик из Горького не выезжает, таким правом до последнего времени пользовалась Боннэр», — так построена, что можно подумать, будто право передвигаться по стране — это нечто исключительное, — а может, так оно и есть? И за этой фразой следует известная фотография 1975 года, когда я еду в Италию, — это не Горький, это Москва, Белорусский вокзал. А ведь фильм должен был, как сказано в заявке, доказать, что летом 1984 года Андрей Дмитриевич Сахаров жив, здоров и на свобо-

де. Причем здесь снимок 1975 года? Что это 1975 год, можно убедиться, взяв прессу за август 1975-го. Если мне не изменяет память, я выехала из Москвы 16 августа и прибыла в Париж 18 августа — именно в эти дни появилась эта фотография во многих западных газетах. Дальше кадры действительно лета 1984 года. Я иду в прокуратуру на очередной допрос. С журналом «Огонек», призванным дать зрителю представление о дате, манипулирует один из наших наружных охранников. Кадры, где я свободно гуляю по Горькому в обществе якобы приятельницы, — сняты 25, 26, 27 июля 1984-го. Это дни, когда я с адвокатом Резниковой читала свое дело и в перерывах мы ходили обедать. Я действительно немного показала ей город.

Дальше начинаются кадры с Сахаровым и текст: «Академик прибавил в весе на два с половиной килограмма, он следит за своим здоровьем, он пунктуален в этом отношении, предпочитает обедать в одиночестве», — все вранье и про характер, и про причины. Может, и правда, Андрей прибавил тогда в весе на два с половиной килограмма — ведь это время после голодовки, он снял ее 27 мая 1984 года. Но он никогда не предпочитал обедать в одиночестве. Из открытки в Ньютон от 4 марта: «Я успокоюсь (или не успокоюсь) только, когда увижу тебя напротив себя за кухонным столом (так же было и в больнице)». А в фильме вообще нет слова «больница» — все действующие лица специально без халатов. И дикторский текст: «Академик отдыхает»; «Что может быть приятней прогулки на свежем воздухе?»; «Что может быть приятней хорошей беседы?» «Беседует» во всех фильмах или главный врач Обухов, или некто (из КГБ?) за кадром. Обухов при «беседе» манипулирует журналами. Это он показывает таким способом время действия. Журнал «Огонек» в руках охранника — это для советских зрителей. Для западных — «Пари-матч» в руках человека выше рангом, чем простой охранник, — главного врача областной больницы. Но, может, я и не права. Может, охранник выше рангом — все ж таки из КГБ прямо, а Обухов только косвенно, так сказать, «от имени и по поручению».

Этот фильм был призван показать миру, что Сахаров жив. Он это сделал, тут нет неправды — Сахаров был жив летом 1984 года, — но монтаж и текст мне доказали другое: такой же фильм можно сделать и спокойно показывать миру, когда нас обоих или одного не будет в живых. Все у них готово для этого, и кадров набрано предостаточно. Мне остается только предупредить друзей: фильмы могут так же подделываться, как и письма, и телеграммы, и многое другое, что подделывали до сих пор.

Второй (по срокам демонстрации) фильм, проданный «Бильдом» 29 июня 1985 года. Это фильм, так сказать, врачебный. Его основная часть ведется от лица врача, и больше говорит врач, чем диктор. Он начинается дикторским текстом о том, что Янкевич, которого на Западе выдают за официального представителя Сахарова, и Лига прав человека говорят, что Сахаров пропал. Далее опять парадный Горький, город «с населением свыше миллиона человек». Интересно, почему население в городе у одного и того же диктора так варьируется: в прошлом фильме было «свыше миллиона 300 тысяч», теперь только «свыше миллиона»? Далее текст, в котором уже не «по решению властей», а просто «с 1980 года в Горьком проживает академик Сахаров вместе с женой», то есть, оказывается, я не ссылаясь, а «проживаю». Далее уже все говорит врач:

«Сахаров наблюдается в областной больнице с 1981 года, дисциплинированный пациент, регулярно приезжает на осмотры, аккуратно принимает лекарства... диагноз: гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз сосудов головного мозга».

В этом же фильме, в его второй части, тот же врач говорит:

«Наблюдается с 1980 года... диагноз: атеросклероз сосудов головного мозга с циркуляторной энцефалопатией и явлениями паркинсонизма; атеросклероз аорты, постинфарктный кардиосклероз, ишемическая болезнь сердца с нарушениями ритма...»

Обе даты начала наблюдения (1980 и 1981) в одном фильме — какая верная? Я от себя могу сказать, что впервые Андрей был госпитализирован в эту больницу насильственно 4 декабря 1981 года, один раз дал согласие на госпитализацию (апрель 1984), когда был нарыв на ноге; в 1984 году — 7 мая, в 1985-м — 21 апреля и 27 июля был госпитализирован насильственно. Всего провел в этой больнице при насильственных госпитализациях: в 1981 году с 4 декабря по 25 декабря — 21 день, в 1984 году с 7 мая по 7 сентября — 123 дня, в 1985 году с 21 апреля по 11 июля и с 27 июля по 23 сентября — 171 день. Таким образом, эта больница была местом изоляции Сахарова от всего мира и даже от жены в общей сложности 294 дня. Я не учитываю дней 1981 года — часть из них мы провели вместе. Единственная добровольная госпитализация (это я пишу для сравнения) продолжалась с 12 по 21 апреля 1984 года — всего 10 дней: тоже многовато для госпитализации по поводу вскрытия карбункула, ну, можно было бы это отнести за счет большого беспокойства об «академике» — диктор в фильмах все время гово-

рит «академик любит», «академик отдыхает», «академик предпочитает», — но, к сожалению, именно в эти дни неправильное лечение доктора Евдокимовой (кстати, она нам говорила, что она гематолог, — почему же она лечащий врач Сахарова?) привело к тяжелым расстройствам сердечного ритма. У Сахарова, видимо, всю жизнь были экстрасистолы, одна-две в минуту. Я лично наблюдала их с осени 1971 года. Они все годы с 1971-го стойко появлялись на всех ЭКГ (наверно, и раньше, просто я не знаю более ранних ЭКГ). Андрею Дмитриевичу никакого беспокойства они не причиняли, он их вообще не ощущал. Можно предположить, что они были у него всю жизнь и именно их наличие явилось причиной того, что в 1941 году медицинская комиссия не пропустила его в военную академию. Такие экстрасистолы не подлежат лечению, тем более препаратами дигиталиса и препаратами, нормализующими ритм при различной патологии сердца. В апреле 1984 года доктор Евдокимова назначила Андрею дигиталис и изоптин, и тогда у него число экстрасистол резко увеличилось — в некоторые периоды до bigeminy и trigeminy. Был период, когда Андрея именно это из «практически здорового» (так писала о нем советская пресса) сделало практически больным.

Но, конечно, самым страшным результатом пребывания Сахарова в больнице были последствия спазма или микроинсульта, перенесенного им во время первого насильственного кормления в 1984 году. Как теперь ясно, разрешение на него дали Соколов и неизвестный врач, посетившие Сахарова в больнице вечером (приблизительно после 10 часов вечера) 10 мая 1984 года. Привел их в палату к Андрею и представил как врачей доктор Обухов. Они провели около постели Андрея несколько минут, не осматривали его, задали несколько незначительных вопросов и ушли. По Москве циркулировали слухи, что к Андрею ездил психиатр Рожнов, — может, это был он? Я этого не знаю и этот эпизод рассказываю со слов Андрея. На следующий день после их посещения было первое насильственное кормление. Что при этом произошло, Андрей рассказывает сам в письме Александрову: его повалили, привязали, он потерял сознание, было самопроизвольное мочеиспускание; когда пришел в себя, были изменения зрения, почерка, затруднение речи. Домой Андрей пришел почти через три месяца, и я лично могла наблюдать только некоторое снижение работоспособности, небольшой тремор рук и стойкие, оставшиеся по сей день, но уменьшившиеся непроизвольные движения нижней челюстью. Косвенное указание на все это есть в фильме. В раз-

говоре с доктором Трошиным (невропатологом) на вопрос о треморе Андрей говорит, что тремор был сильный в июне и в июле, но больше всего в мае 1984 года, после 11 мая. И видно, как Трошин сразу же переводит разговор на другое.

Почти половину фильма Сахаров ест. Эти кадры призваны показать, что голодовки не было. Но даже то, как человек ест в кадре, показывает, что это выход из голодовки. Из письма Сахарова мы знаем, что он снял голодовку 27 мая 1984 года, и с этого времени его держали в больнице не потому, что у него были явные последствия тяжелого спазма сосудов головного мозга или даже инсульта, перенесенного во время первого принудительного кормления, а чтобы лишить возможности быть свидетелем на моем суде и присутствовать на нем в качестве ближайшего родственника. Кадры 1984 года выдаются за кадры 1985 года. Я знаю со слов Андрея, что в 1985 году он не принимал в больнице никаких лекарств, категорически от них отказывался, но у него было подозрение, что ему что-то подмешивают в ту еду, которую вводят насильственно. В фильме есть кадры, где Андрей принимает из рук сестры какие-то таблетки — это тоже подтверждает, что кадры эти 1984 года. Врач Евдокимова говорит о консультации горьковских кардиологов Вагралика и Сальцевой. Но со слов Андрея я знаю, что он категорически отказался от их помощи и даже в апреле 1984 года не желал с ними иметь дело и никогда после их не видел. Ничего также Андрей не говорил о консультации кардиологов из московского кардиологического института. Он таких врачей не видел (а жаль — может, среди них оказался бы и Чазов?).

Уже из сегодняшнего дня: в фильме марта 1986 года доктор Обухова (жена Обухова) удовлетворена и довольна улучшением ЭКГ Сахарова — она полагает, что это результат ее лечения. Но из телефонного разговора от 3 апреля известно, что за все время, как Андрей вышел из больницы 23 октября, он не принял ни одной таблетки по ее назначению. И именно отсутствие лечения привело к тому, что его экстрасистолия вернулась к прежнему своему качеству (одна-две в минуту). Для меня это является прямым доказательством того, что все время пребывания Андрея в больнице какие-то медикаменты ему в пищу подмешивали (я в данном случае говорю не о психотропных, а о сердечных), иначе экстрасистолия нормализовалась бы гораздо раньше.

Вторая часть фильма — это почти полностью врачебный осмотр апреля или конца марта 1985 года, до того, как Андрей начнет голодовку 16 апреля. Тут, в общем, мне нечего пояснять.

И поясняет, и показывает доктор Евдокимова. Она говорит, что вот-де на Западе говорят, будто Сахаров не получает нужного лечения и даже голодает, — нам (советским врачам, видимо. — Е. Б.) такое слышать обидно, и мы показываем фильм, который снимаем во время осмотра. Таким образом, эта врач все сама всему миру пояснила: и что советские врачи не знают, что снимать фильмы во время осмотра без согласия пациента врач не имеет права, и что они это делают. А пациент расстегивает штаны, стоит полуголый и подтягивает одной рукой брюки, которые сползают, так как ремень во время осмотра был расстегнут, а подтяжки спущены. Ему щупают железы подмышкой и спрашивают про сон и про стул. Он отвечает: он ведь полагает, что говорит с врачом. Он поправляет носки и ложится на кушетку, и врач становится специально боком, зрителю видно, что это сделано нарочно, чтобы лучше был виден пациент.

Не успела я отдышаться здесь в Ньютоне, как из Москвы вдогонку мне прибыл фильм, в котором говорилось вроде: «ну, вот захотела поехать?» и — «пожалуйста», «захотела увидеть детей?» — «это очень просто», «лечиться» — «а почему нет?».

И ведь вроде все правда: приехала, увидела, лечусь. Но чтобы это «вроде» стало правдой, надо добавить совсем немного: выехала я 2 декабря 1985-го, а заявление подала после 25 сентября 1982-го, это было заявление о поездке на лечение — за три года можно и умереть, к болезни глаз прибавилось много другого, и прежде, чем дать ответ, меня сделали уголовной преступницей, моему мужу пришлось держать две голодовки — в общей сложности 197 дней голодовки и мучений насильственного кормления, десять месяцев заключения в стенах приспособленной для этого больницы. Без этого добавления все, что сказано в фильме, даже близко не соседствовало с правдой. Так как фильм оказался жанром, полюбившимся тем, кто демонстрирует всему миру наше благополучие, я могу прибегнуть к фотодокументу. В фильме много раз показывают мой заграничный паспорт — дескать, вот, поехала, и все как у всех. Нет, не как у всех, и поэтому, даже разрешив мне поездку в США и Италию, мне хотели выдать паспорт без такого разрешения — только на Италию. Нужна была еще одна трепка нервов и настойчивость, и паспорт стал, как у всех.

В этом же фильме кадры и разговор Андрея с главным врачом больницы — важный, серьезный. Реальные обстоятельства были таковы: мне лечили зубы, протезировали. Меня держали в зубном кабинете долго — более двух часов. Андрей, когда мы уже ехали домой, сказал мне удивленно, что все это время Обу-

хов не был занят ничем, кроме него, поил его чаем и вел умные разговоры. «О чем?» — спросила я. «О разоружении и новых предложениях Горбачева». — «Ишь ты, какой заинтересованный». И мы видим в фильме: милая беседа, Андрей пьет чай, он еще сильно исхудавший. Он говорит: «Мы говорим, они окружили нас базами». Не знаю, как это место перевели для телевидения, но в газете «Бильд» это место сделано так: Сахаров говорит: «Они окружили нас базами».

Следующий фильм был в конце марта. Там опять очень важный разговор — опять о разоружении. Тот, кто задает вопрос, не показан (по голосу — это тот же Обухов), вопрос уже о мартовских предложениях Горбачева, а отвечающий Сахаров тот же — истощенный, после голодовки конца октября 1985 года. Пусть эксперты поставят рядом два телевизора и посмотрят кадры рядом. Это не Сахаров марта 1986 года. И так как это старый разговор, а новый — только вопрос, то и нет в кадре того, кто его задает.

И вот я слышу от друзей наших, от друзей Андрея, слова о том, что Андрей, оказывается, говорит нечто для них неожиданное, — я спрашиваю: «Где он это говорит?» И в ответ: «Как где — да в последнем фильме». Но ведь это фильм, представленный Западу и, значит, всем нашим друзьям и недругам Виктором Луём. (Я не хочу кошунствовать с такой несимпатичной фамилией — да и плагиат будет, — но как ее «склонить», как положено мужской, — не знаю. То ли я грамматику забыла, то ли она не мужская?)

Неужели даже наши друзья способны хоть на минуту поверить этим фильмам? Даже они забыли, что уже несколько лет назад, после писаний Яковлева, Андрей просил доверять только тем его текстам и высказываниям, которые подтверждены мной, моими детьми, Ефремом Янкелевичем. Нет, это удивительно — такое доверие. Это страшно.

В этом же фильме Сахаров с цветами входит в какой-то подъезд. Впечатление: нормальная жизнь, и человек идет, наверно, в гости. А на самом деле он входит в дом, где живет один, цветы он купил себе, подъезд снят в необычном ракурсе, и непохоже, что это дом, где живет Сахаров, только потому, что снято с крыши близкого одноэтажного здания почты. Я все это сказала, сидя в Ньютоне у телевизора, и спустя некоторое время получила подтверждения. Открытка от Андрея от 15 февраля: «А я справлял твой день рождения. Еще загодя купил ларчик и традиционные духи „Елена“. Сегодня купил гвоздики — шесть красных и три розовые». Но это все могу понять я. А посто-

ронний? Он скажет: «Что вы мне говорите, что Сахарова никуда не пускают? Да я сам видел, как он шел в гости — с цветами». В фильме кадры: Сахаров на улице свободно говорит с каким-то мужчиной. Я знаю, что это вовсе не приятель Сахарова, это главный инженер станции техобслуживания. В телефонном разговоре Андрей удивленно сказал, что его вдруг вызвали (через милиционера) на станцию — они якобы что-то не так сделали при ремонте машины. Сам главный инженер вышел навстречу Андрею и жал ему руку. И повторный ремонт сделали бесплатно! Но, удивленный этим, мой муж не знает, что его снимают и будут демонстрировать всему миру, — он мне рассказывает об этом по телефону.

А зритель? Он думает, что мы говорим неправду о том, что нам запрещены всякие контакты, даже случайные — в магазине, на улице. Там же кадры: Сахаров гуляет с каким-то мужчиной — я знаю, что это физик из ФИАНа Д.А.Киржниц. И тут же открытка от 28 января, цитирую: «В понед. были Киржниц и Линде (физики зачастили)». И из телефонного разговора от 3 апреля (о другом визите): «...чисто формальный, утомительно». Из открытки 17.12: «Приехала женщина от Обухова, звала к зубному». В фильме кадры: выходит из машины вместе с какой-то женщиной около парадных дверей больницы, но это я знаю, а зритель — нет.

И так вся жизнь, как под микроскопом, как будто лежишь на предметном стекле. И вот в открытке от 18 марта: «Сегодня приехала медсестра от Обухова, просила вернуть газеты, которые он так любезно дал мне неделю назад, они нужны для моей истории болезни. Немного смешно». Андрей ничего не знает ни о каких съемках скрытой камерой, но удивляется, видимо, и тому, что дают какие-то газеты и просят вернуть, — и причем здесь история болезни. И в телефонном разговоре 14 апреля удалось выяснить, что газеты эти были «Обсервер» и что Обухов пытался навязать Сахарову обсуждение напечатанного там письма президенту Академии Александрову, стараясь доказать, что в письме неправда. Вы только вдумайтесь в ситуацию: главный врач — начальник тех, кто мучил Сахарова, доказывает Сахарову, что это неправда.

Я жду — что будет в очередном фильме? В открытке от 11 февраля вдруг, видимо, после очередного вызова к Обухову: «Обухов неожиданно предлагал санаторий, „чтобы закрепить результаты лечения“ (какого? ха, ха)». Значит, можно ждать, что в очередном фильме появится такой разговор. Неважно,

что Обухов прекрасно знает, что в его больнице Сахарова не лечили. Он будет говорить эти слова! В будущем фильме!

В самом последнем фильме: Андрей в телефонной будке, разговор со мной, я задаю вопрос, знает ли он об интервью Горбачева газете «Юманите», где Горбачев говорит и о нем. Андрей мне отвечает. В фильме нет моего вопроса, есть только ответ Сахарова, и получается для зрителя, который не знает, что осталось за кадром, что Сахаров сам себя считает правильно вывезенным в Горький и изолированным от всего мира. Такие кадры можно перечислять без конца. Я не могу, у меня нет на это сил. Я только могу просить не верить будущим фильмам, могу заранее сказать: мне страшно думать, что, вернувшись в Горький, я вместе с Андреем буду подвергнута, как и он, постоянному наблюдению камерой, что это ужасно — жить под всегдашним всевидящим оком телескрин (по Орвеллу).

В целом эти фильмы для меня — все подделка: это то, что выходит в мир из здания, названного Орвеллом «Министерство Правды». Каждый из них призван показать и доказать зрителю что-то конкретное — то, что нужно властям в данный момент: то Сахаров здоров, то он болен, то он не голодает, то он отдыхает, то он свободен, как все, то нет, то он свободно лечится, то катается куда-то, то его жена свободно едет за границу, то она здорова и так далее.

Все эти фильмы вместе — это правда кадра, призванная доказать или подкрепить зрительным образом ту неправду, которая нужна в данный момент. В этом фильмы ничем не отличаются от заявлений ТАСС, Агентства печати Новости и просто специально распускаемых слухов. Пока я нахожусь в США, ТАСС и АПН успели сообщить миру, что я здорова и поехала совсем не лечиться, а так — мир посмотреть и себя показать — и с меня совсем никто не брал никаких обещаний молчать. Прекрасно — значит, никто мне не может ничего сказать на тему о том, почему я пишу эти заметки, — ведь тогда ТАСС и АПН (или это был фильм — забыла) окажутся клеветниками. Потом — после сообщения об операции и необходимости сделать шесть шунтов — уже не писали, что здорова. Но написали, что эти операции в Москве делаются запросто и я вполне могла бы дома сделать, притом бесплатно. Понятно — ведь писать про человека, перенесшего такую операцию, все-таки рискованно: могут подумать, что в больнице Масс-Дженерал под нож кладут здоровых людей, — будет некрасиво. Московский комментатор сказал (это из рассказа Андрюши мне по телефону), что я могу

поехать снова лечиться, когда мне понадобится, и что на самом деле никто меня не держал — захотела и поехала.

А в это время в печати здесь на Западе появилось сообщение, что 18 мая мой муж будет обменен на множество каких-то шпионов, одновременно появились слухи, что я не собираюсь возвращаться. И уже наши друзья стали говорить: «Ну, почему бы и не обменять Сахарова, обменяли же Щаранского» (могу добавить, что раньше и Буковского, и Гинзбурга, и Мороза, и Винса, и Дымшица, и Кузнецова). Действительно — «почему бы и не Сахарова?». Стали говорить и такое: «Ну, не затем же она приехала, чтобы возвращаться?» (это уже обо мне, и шести шунтов как не было). «Не затем же Сахаров голодал, чтобы она возвращалась?» Это же говорилось и в 1977 году, и в 1979-м, теперь снова. Скучно. Но интересно: среди многого, чем меня воспитывал мой следователь Г.П. Колесников, было и такое: «Ну, как вас можно пустить на Запад лечиться, ведь вы там останетесь, а Андрей Дмитриевич будет переживать — это с его-то здоровьем». Что еще будут сообщать до моего отъезда обо мне, о моем муже? А на меня посыпались вопросы, как я отношусь к сообщению о том, что Сахаров будет обменен, и как я отношусь к тому, что говорят, что я не вернусь. Отвечаю: я никак к этому не отношусь — это ко мне отношения не имеет. Ко мне имеет отношение следующее. Я приехала, чтобы увидеть маму, детей, внуков, чтобы получить необходимое мне лечение. Сахаров голодал именно за это. Я возвращаюсь в СССР в конце мая. Сообщение об обмене я считаю провокационным. Думаю, оно сделано в связи с тем, что 21 мая Андрею исполнится 65 лет. Сорвать или как-то скомкать приготовления к этому дню, которые ведутся многими людьми, организациями и правительствами во многих странах, — вот цель этого «сообщения». Поэтому дата в нем выбрана очень близкая — 18 мая: дескать, пусть подождут, а уж потом за два дня никто ничего сделать не успеет.

Я снова возвращаюсь к разговору о фильмах. Я буду говорить о нравственной и этической стороне их. Вернее, об их безнравственности и нарушении этических норм — профессиональной (медицинской) врачебной и общечеловеческой. И тут-то в первую очередь о фильмах «медицинских».

Мы все — я говорю о людях на Западе и на Востоке -- так или иначе общаемся с медициной, может, по сути своей, самой гуманной и нравственной областью человеческой деятельности. Среди зрителей, видевших фильмы, было, наверно, много

врачей, и каждый из нас когда-то бывает пациентом. И я хочу задать всем один вопрос. Кто согласится стать пациентом доктора Евдокимовой и доктора Обухова, если доктор Евдокимова говорит: «Мы снимаем этот фильм во время обследования». Что означает ее «мы»? «Мы — врачи»? «Мы — КГБ»? «Мы — я и журналист Виктор Луи»? Кто согласен, чтобы без его ведома его снимали со спадающими штанами в унизи­тельной позе; подтягивающего брюки, открывающего рот; когда ему щупают железы подмышкой или заставляют подносить палец к носу и когда с ним обсуждают: как спите, каков стул и еще что-то? Уни­зительность этих кадров, этих съемок такова, что хочется во­братъ голову в плечи, закрыть глаза ладонями и не видеть, не слышать. Кто дал в современном мире право все это проделать с пациентом?

В течение 20 минут врач показывает своего пациента (вы­ходящего из голодовки) жующим. Он жует завтрак, и настой­чивый голос бубнит про калории. Он жует обед, и тот же голос опять говорит о калориях; жует ужин — и тот же голос, и сно­ва калории. Меняются даты календаря, опять — завтрак, обед, ужин; снова завтрак, обед, ужин. И ужас: что же это сделали с человеком? Он — жующая машина. Ужас — кто это сделал? Это сделали люди.

Не могу не вспомнить: мой внук, ему четыре года. Он в гале­рее Уффицци, в тех залах, где распятия. «Мама, а кто Ему гвоз­дики в руки и ноги забил?» — «Люди». — «Люди? Это лю д и?» А то делают люди-врачи. Удивительно — но эти люди (по-мое­му, нелюди) ничего сделать не смогли, кроме монтажа кадров, кроме фильма. Андрей остался собой — да, постаревший, да, измученный, но преодолевший все эти мучения, запугивания, что «умереть вам не дадим, но инвалидом сделаем», вновь на­чавший голодовку, и победивший, и назвавший своих врачей «Менгеле нашего времени». Как же те, кому на Западе пока­зывали этот фильм, не увидели всего этого, не увидели пора­зительной безнравственности этого фильма? Как врачи мог­ли обсуждать, какой диагноз у пациента или на какой возраст пациент выглядит (статья в «Бильде»), и не понять главного: то, что делают эти врачи, недопустимо с точки зрения ни общеце­ловеческой, ни медицинской этики.

Я обращаюсь ко всем врачам, которые видели эти фильмы, с просьбой высказать свое отношение к ним именно с профес­сионально-нравственной стороны, ответить на один вопрос: до­пустимо ли для врача так демонстрировать ничего не подо-

зревающего пациента? Я прошу задать этот вопрос советским врачам, ученым, администраторам и политикам, с которыми вам придется общаться. Кто из них готов предстать перед глазами всего мира жующей машиной или со спадающими штанами? А не врачей я прошу ответить на вопрос: «Обратились бы вы к такому врачу, выбрали бы вы себе сами свободно такого врача?» Своими вопросами, своим ответом вы защитите не только моего мужа и меня, но и наше всеобщее доверие к профессии врача. Ни один человек не хочет и не может демонстрироваться миру как подопытный кролик или инфузория, лежащая на предметном стекле микроскопа. И Сахарова тоже нельзя так демонстрировать.

Может, все это и без меня ясно и понятно любому человеку, и всего-то надо — быть человеком? Но знаю, что многим непонятно, а кому-то кажется, что я говорю общие слова. Но это не так. Это все для меня очень личное, интимное — это мы, мой муж и я. Кажется, мы оба здоровые психически люди, но я боюсь жить под телескрином, я ни за что не пойду в Горьком к врачам, я знаю, что они будут подставлять меня под камеру.

Мне заранее страшно при мысли, что я под этими камерами буду выходить на улицу, идти в магазин, на рынок, поправлять чулок, разговаривать с мужем или брать его за руку. Представьте себя на нашем месте. Будет ли вам уютно? Не станет ли вам сразу тяжело жить? Никакая, даже психически сильная натура не защищена в таких обстоятельствах от срыва, депрессии, самоубийства.

Я уверена, что американцы за мир. Тут я совсем как американский турист, который приехал в СССР на неделю, — но только в том плане, что люблю делать выводы почти так же быстро, как он. Однако оснований, думаю, у меня чуть-чуть больше. Я здесь уже не неделю. Здесь живут мои дети и мои внуки, и уже поэтому у меня заинтересованность более глубинная, что ли. Все для такого туриста у нас по цене его долларов чрезвычайно дешево, все неплохо или, во всяком случае, не так плохо, как говорят «правые»: прекрасный городской транспорт, метро прямо как музей Метрополитен (даже начинаешь думать, что название «метро» прямым ходом от музея и произошло или наоборот — музей от подземки). Кормят хорошо, люди одеты хорошо. И у кого ни спросишь, «хотят ли русские войны», — все говорят «нет». Исходя из этого «нет», такой американец строит свою теорию, в которой какой-нибудь российский доктор Спок найдет, чтобы сказать российским парням: «Не ходите, ребятки, на войну». Может, даже доктор Чазов это скажет: он же — «врачи за мир», и парни не пойдут. И любая война обернется для Советов Вьетнамом. Так все просто, и почти каждый неподвзятый ту-

рист, которого хорошо обслужили в гостинице, показали Москву, Ленинград, может, даже Киев, а в крайнем случае, еще Бухару и Самарканд, — вернулся и говорит: «Русские не хотят войны. Все о'кей, а ракеты и прочее нам не нужны».

Тут я не знаю, что сказать: я не специалист — в отличие от школьников младших классов, которые ездят по миру с миссией мира и все могут объяснить и про ракеты, и про «все прочее». Я, как тот турист, некомпетентна, но утверждаю, что американцы не хотят войны. Американцы хотят дом. В зависимости от места на общественной лестнице, от заработка, капитала, наследства, выигрыша в лотерею или на бирже (для меня при моей необразованности это почти одно и то же, хотя я знаю, что на бирже чаще выигрывают — и чаще проигрывают! — чем в лотерею), именно дом; квартира — это паллиатив в любом городе. И только, может, в Нью-Йорке — квартиру. Но Нью-Йорк — это почти другая страна (почти и не США уже). Дорогой мэр Коч, вы прекрасный и добрый человек — и веселый, что для меня признак хороший, — вы не обидитесь, что я ваш город вроде как исключила из состава страны, — но он, и правда, другая страна, сам по себе, и люди нью-йоркцы — это почти как другая нация, другая сообщность людей. «I love New York» написано на шарфе, который мне подарил мэр Коч, и это именно то, что я испытываю. Я, правда, люблю Нью-Йорк. Но мы об американцах и о доме. Они хотят дом и кусочек земли, на котором он стоит, и чтобы земля была вокруг дома. Все! У одних этот дом — крошечка, почти игрушечный коттедж, и земли — только та, что в цветочных ящиках, у других не знаю, сколько чего: спален, ванн, земли.

Желание иметь дом — это в целом у нации, это не амбиция классов, высших, средних, средне-высших или низких по доходам, а одно из выражений сущности нации, ее стремления всегда сохранить свое privacy. Даже нью-йоркский бездомный, сидящий на решетке, закутанный в одеяло, оскорбится, если ты нарушишь его privacy. И дом — символ независимости, не материальной даже, а объединенной какой-то душевно-физической. В американском отношении к дому (тут надо бы «дом» писать с большой буквы) и выражаются главные черты народа — «прайвеси» и «независимость». Но есть и третья черта этого отношения, она создает общность нации, в ней отношение к стране и мироощущение населения страны в целом. Равновесность первых двух, с одной стороны, и третьей, с другой, создает гармоничность человека и народа.

Пожалуйста, не смейтесь надо мной — это я так восприняла, так мне показалось, а на самом деле, может, все и не так. Я буду говорить о третьей черте так, как это увидела я. Англичане говорят: «Мой дом — моя крепость». Крепость — понятие не мирное; правда, и не агрессивное. Я не знаю, что про дом говорят другие европейцы. Слышала у французов (и даже в одной знакомой семье — правда, только в одной — видела) реакцию на неожиданный звонок в дверь: «Мы никого не ждем, мы не открываем дверь». Это тоже своего рода «прайвеси», только при полном отсутствии «сап I help you», которое тоже черта американская — черта, свойственная большому сильному подростку. Он от своего физического здоровья лишен всяких комплексов, что отнюдь не значит, что он

дурак. И он всегда готов помочь, и часто его помощь принимают, но за это его же и не любят.

Так вернемся к третьей черте отношения к дому. У американцев она: «Мой дом — моя радость». И дальше: «Мой город, мой штат, моя страна — моя радость». В таком отношении американцев к дому нет никакой агрессивности и никакой замкнутости, оно открытое, и доброе, и заботливое и к дому, и ко всему, что за этим стоит, и к той земле, что в цветочных ящиках, и к газону, который бережно стригут и поливают, хотя его размер всего три квадратных метра — тоже мне земельное владение, и вообще к Земле, ко всему миру. Только вчера сын мне сказал, что по результатам какого-то опроса 43% американцев среди всех развлечений и упражнений на свежем воздухе на первое место ставят разведение цветов.

Американцы не хотят войны. Они хотят дом. Первая леди говорит (и это знает вся страна), что, когда президент уйдет на покой, они продадут дом, в котором жили до президентства — дети выросли, дом для двоих стал велик, — и купят дом поменьше. Прекрасный план! И прекрасно, что вся страна его знает. Президент не хочет войны — он хочет новый дом.

Я тоже хочу дом. Сегодня я уезжаю с острова, который как венец надо всей моей прошлой жизнью: никогда не была в таком климате, рядом с такими пальмами — кокосы реально падают, — чтобы ступни ощущали такой песок, чтобы в двадцати шагах от меня плескалось такое теплое и такое тихое море. Я бы сказала «рай», но ведь человеку «рай» — это не климат, и не песок, и не море, и даже не райские яблоки (или груши — этот исторический спор до сих пор так и не решен) — это все еще не рай. «Рай» — это быть с дорогими и любимыми, быть спокойной за них. Сюда бы мне Андрюшу. Чтобы здесь, где-то в тени, около тех сладко-дремотно пахнущих олеандров, в качалке сидела мама и чтобы раз в неделю, сняв трубку телефона, услышать спокойные голоса детей. Оказывается, «рай» — это так просто, и, оказывается, «рай» для меня совсем-совсем недостижимо.

Ну, вот он — последний закат у моря. Я провела здесь пять дней. Они были как одно мгновение. И были они длинные, вмещающие работу — каждый день шесть страниц: долгие знойные часы на светлом горячем песке, и море — голубое, синее, бирюзовое. Заливчик маленький — я, с моими больными ногами, и то в один день добрела до его левого мыса, а в другой — до правого, и в памяти так и останется эта дуга, ровная кромка леса, почти нет волн, и море не шумит, а едва-едва шепчет — лепечет — не знаю что и боюсь впасть в сентиментальность (кажется, уже впала). Но такое море в моей жизни в первый раз... такое спокойствие в нем. Может, и я тут стану — стала — чуть спокойнее. Спасибо, что меня сюда пригласили, что это оказалось так просто — дать мне эти пять дней: роздыха, работы и покоя. Может, эти дни помогут мне прийти в себя — не срываться постоянно в общении с близкими; понять, что ничего не могу ни изменить, ни исправить; не терзать ни свое сердце (и шесть шунтов могут не выдержать), ни сердца других — любимые сердца.

Одна старая и, казалось, совсем забытая история. Мы — студенты первого курса. Группа человек десять — сидим вокруг мраморного стола. Занятия идут так, что вначале мы читаем какой-то раздел по учебнику, а потом смотрим и препарируем. Преподаватель (теперь я понимаю — она была молоденькая и хорошенькая, тогда казалась очень строгой) сказала: «Откройте учебник, сегодня — сердце». — Сердце? — переспросила я. — Это орган чувств? — «У вас, Боннэр, это, может быть, орган чувств, а у всех — это орган кровообращения». Так вот я — своим оперированным органом чувств? кровообращения? — кроме всегдашних желаний, чтобы все были вместе, чтобы здоровы, чтобы не было войны, теперь еще хочу дом. Вокруг — земли совсем немного, ровно столько, сколько бы мне хватило сил посадить цветы. Можно ли для ностальгии вырастить обыкновенный василек и обыкновенную ромашку и одну березку? Но, по правде говоря, где бы я ни ездила, везде есть все, и ностальгия — всегда чуточку игра. Мне не надо много спален — только нам, и маме, и одну для гостей (и еще одну я хотела бы — чтобы всегда для внуков), комнату, где можно было бы наконец привольно разместить книги, и чтобы было где Андрею наводить беспорядок.

Бог ты мой, какие глупости я пишу. Я хочу дом! Это я-то, которой уже пора считать не дни, а часы своей свободы во всем, даже в праве вот так вольно, как сейчас, стучать на машинке — выстукивать все те недостижимые для меня глупости, как «я хочу дом».

А знаете, у меня — мне 63 года — никогда не было дома, что дома — просто своего угла. Вначале как у всех: детство, потом странное сиротство — папа и мама арестованы, и никто не знает, живы или нет, мы живем в одной комнате — бабушка, брат, сестра, я. За стеной (все слышно) жил человек по имени Федоров, там его жена и четверо детей, он всегда пьян и бьет их. Когда они успевают убежать от него, то проводят ночь у нас, сидя на сундуке. Этот сундук до сих пор стоит в маминой комнате на Чкалова, и кто бывал у нас (журналисты, ученые, конгрессмены и сенаторы) тоже сживали на нем. Федоров никогда не врвался к нам в комнату — боялся моей бабушки; ее все боялись, кажется, кроме меня. Вообще-то я тоже боялась, но с ареста родителей я на всю жизнь запретила себе бояться чего бы то ни было. Потом армия. Пожалуй, было время, когда был немножко «мой дом» — мое купе в вагоне санпоезда, в котором я была старшей медсестрой. Война кончилась, и в моей комнате вместе со мной жили многие — мои подруги, вернувшиеся в Ленинград из эвакуации. Потом в коммунальной квартире, в одной комнате, жили мы — я, муж, двое детей, мама; часто у нас ночевали еще друзья. А всего в квартире жили 48 человек, уборная была одна, часто в нее стояла очередь. И дети должны были ходить со своим горшком — я боялась заразы,

— а они из-за этого ссорились со мной: я явно нарушала их «прайвеси». Потом в Москве, в двух комнатах маминой квартиры, жили мама, я и дети, потом к нам пришел мой зять, потом пришел Сахаров. Пожалуй, впервые я хозяйка — где бы вы думали? — в ссылке в Горьком. Я не хочу этого. Я хочу дом.

У моей дочери есть дом в Массачусетсе, в Ньютоне. Мне так радостно думать, что у нее есть дом. Ее семью закрутили наши дела, наши горьковские ужасы и наши страдания, дети, заботы. Они забыли про свой дом. Мне очень хочется, чтобы они вернулись к заботам о нем. Он так много уже поработал для нашей семьи — в нем с приезда живет дочь с мужем и двое их детей, в него приехал и жил в нем мой сын, потом его жена, потом родилась их дочь. Совсем не по-американски в доме жили две семьи — почти коммунальная квартира, и почти третья семья тут же: приехала моя мама, и невозможность вернуться: «Куда?» — в Горький, в ссылку, это я сама своими руками тогда должна лишить ее свободы — держит ее тут уже почти шесть лет. А скольким эмигрантам этот дом стал первым домом на этой земле? Я хочу дом. Моя мечта — дом мой, для меня, для моей семьи, то есть для нас с мужем, — неосуществима, как неосуществим рай на земле. Но я хочу дом. Пусть не мне, а сыну, его семье. И реально хотим, собираемся его купить. И вдруг я узнала много нового. Надо, чтобы были хорошие школы, ведь внучке уже три года, и впереди школа. Надо хорошую экспертизу, и надо адвоката — есть друг, уже хорошо. Хочется, чтобы было какое-то подобие загорода: отпуск короткий, и пусть ребенок растет не в городском чаду. Хочется, чтобы было не очень далеко от работы: двое работают, машина одна. Хочется, чтобы был полный фундамент и подвал (я раньше про такую заботу и не слышала). Хочется три спальни, чтобы бабушка, моя мама, могла быть или хотя бы бывать с ними. Хочется в подвале комнату и ванну — для гостей. Хочется кабинет — Алешке-то хочется не только дом, но и место дома заниматься математикой. Хочется, чтобы у дома не было цены или чтобы она была поменьше. А она... ох! Хочется, хочется, хочется.

А вам не хочется под ручку пройтись?

Мой милый, хочется, хочется, хочется...

(Эдуард Багрицкий)

Больше всего даже не детям, а мне. И мне пора складывать чемодан. Еще не завтра, но очень скоро. Дети живут здесь, я — там. Я хочу дом. Я не хочу войны. Но и американцы хотят дом. Американцы не хотят войны.

Я пишу в гостинице, в Нью-Йорке, который сам по себе и город, и страна, и мир. Я на восьмом этаже. Комната угловая. Окно на 61-ю улицу, другое — на парк. В двух ракурсах, сходясь под углом, — панорама, к которой ничего не надо добавлять. На фоне голубизны неба серые (под солнцем светлее, в тени темней) силуэты высоких, прорезающих небо домов, линии, линии, линии. Кто может говорить, что Нью-Йорк некрасив? Когда Нью-Йорк наконец уберет свои черные лестницы с фа-

садов и делает Гарлем не мусорным мешком, а зеленым городом, то объединенная нация черных и белых нью-йоркцев будет гордиться своим городом, может, самым особенным в мире, городом — олицетворением понятия «город».

А мне он — город из городов, уже готовый в наше будущее, только не надо разговоров апокалиптического свойства, у меня от них ощущение оскомины. Будущее будет, и, конечно же, нам, людям, станет мало только автомобилей, и с этих плоских крыш будут взлетать всякие красно-желто-голубые и зеленые вертолетики, дельтапланчики и прочее индивидуально-летательное, и с каждого будет доноситься встречному: «Have a nice day!»

Какая разница, в июне или в другое время года встретятся Горбачев или Рейган, и какая разница, кто из них капризничает. Горбачев ли похож на девушку, которую приглашают поужинать, а она, надув губки, так это протяжно: «Не знаю, может быть, надо подумать, пожалуй, что и нет, — явно давая понять: — А меня и другой может пригласить, может, даже и получше и вообще... Сколько заплатите?» Рейган ли девушка, заявляющая: «Я или она. Сейчас или никогда». А может, все-таки оба они — кавалеры-мужчины, мужи? И тогда встрече, ужину, ланчу, взаимоулыбкам не стоит придавать столько значения. На эти мысли меня навела газета — 1 апреля 1986, — они мне вообще-то совсем лишние все трое: и газета, и два главы государств.

Я, наверно, один из самых необеспокоенных на Земле людей. Не беспокоенных теми проблемами, которые Рейган и Горбачев грозятся обсуждать или не обсуждать, если встретятся или не встретятся. Мне мой муж всего четыре месяца назад (Господи, я его не видела уже четыре месяца, и так хочется быть вместе) сказал: «Мир сейчас так далек от войны, как давно не был». Я ему верю и в этом смысле живу спокойно. Тем паче, мне хватает своих забот, своих волнений и своей беды под завязку. Вот лучше я запомню на все мне отпущенное время, что сегодня я видела невероятное из окна этой комнаты. Я встала рано — едва после шести. Над деревьями парка чуть-чуть клубился дым проклевывающейся листвы, а трава еще даже не была зеленоватой. В ней был оттенок желтизны — оттенок начала травы, ее новорожденности. А сейчас 12 часов, и зеленый дым уже вовсю над деревьями, и трава стала-таки зелененькой, нежно-нежно зелененькой. Так быстро, всего за шесть часов, пришла весна. Господи, как хочется, чтобы все в этом мире было хорошо. Говорят, Нью-Йорк лучше всего весной. Я пошла в город.

Пришла пора принять самое главное, самое трудное за пять месяцев здешней жизни решение. Маме и всем нам. Маме о себе, мне о ней и всем нам вместе — тоже о ней.

Она приехала в гости к внукам. Мы надеялись, что положение моего мужа хоть как-то улучшится и она сможет вернуться. Теперь я понимаю нереальность этого — во всяком случае, в ближайшем будущем. Взять ее с собой сейчас назад в СССР означало бы, что она должна будет жить совсем одна в

Москве без нашей помощи или жить вместе с нами в нашем заключении, в нашей изоляции, в нашем бесправии. Она уже однажды прошла советский лагерь и потом ссылку. Я не могу снова сама отправить ее в ссылку. Но очень трудно уже шесть лет быть в гостях, не имея собственной квартиры, собственного пенсионного обеспечения и возможности медицинской помощи. Статус постоянного жителя США дал бы ей ощущение свободы и самостоятельности.

В ее положении есть некоторая трудность. С 1924 года она была членом КПСС. Это ее членство, конечно, прерывалось, пока она была в тюрьме, лагере и ссылке, но после реабилитации в 1954 году она была вновь восстановлена в рядах партии. Если бы она отказалась от этого, то она лишилась бы возможности получать свою персональную пенсию — 80 рублей. С мая 1980 года она находится в США, и ее членство в КПСС механически прервалось, фактически же она прекратила свою связь с партией с тех пор, как приняла в свой дом академика Сахарова.

Наверно, ей дадут статус постоянного жителя. Эта страна так широко распахивает двери своего дома, и я совсем не боюсь, что маме будет плохо. Но почему так щемит сердце и так трудно далось это решение и все время как-то по-детски кажется, что, может, мы еще не решили? Решили? Решили.

Я не заметила, как моя рукопись стала толстеть и все тоньше становится стопка чистой бумаги. Но я сказала еще не все, что хотела. Мне еще это предстоит — сегодня или завтра, во всяком случае скоро, — надолго откладывать я не могу, ведь все, что я хочу сказать, я должна сказать до 2 июня. Это срок моей свободы говорить. Только ли говорить? Когда я приехала — нет, когда я прилетела, — мне казалось, что «у меня в запасе вечность».

Впереди были четыре месяца. Я сама с самого начала отпустила себе столько, и в этом моем решении ОВИР не имел никакого значения. Еще в Шереметьево я сказала друзьям: «Встречайте меня первого апреля». Это оказалось почти первоапрельской шуткой. И не потому, что я стала продлевать свое пребывание в США сразу не на месяц, а на целых три — уж больно грозна была операция. Но потому, что, я думаю, друзьям просто не придется меня встречать. Меня без них встретят другие, кому это поручат по службе. Если все же встретят друзья, то я буду обрадована, удивлена, поражена и готова просить прощения у тех, кого мое предположение обидело. Я же,

со своей стороны, по возвращении хочу, чтобы передо мной извинился следователь Колесников. Он предполагал, что я не вернусь. Я вполне могу просить его «к барьеру». А всем друзьям и прочим людям прощаю их предположения, что я не вернусь.

Я возвращаюсь. Зачем? Я вовсе не тоскую по березкам — по дереву, магазину, кафе. Кстати, здесь в Бостоне милые киевляне Миша и Валя открыли свою «Березку». Ничего магазин, вкусный. Вполне удовлетворяет и гастрономическим потребностям выходцев из СССР (здесь все говорят «из России»), и их совсем не безумной ностальгии.

Про эмиграцию. Видишь многих, кому трудно: и близкие друзья наши, и чуть знакомые люди, и многие пожилые эмигранты иногда говорят о своих трудностях, жалуются. Но не было ни одного, кто бы хотел туда, назад. Это не значит, что я сомневаюсь в сообщениях советской печати о многих, кому на Западе жить невыносимо трудно и кто просит советское правительство разрешить вернуться. Конечно, такие есть, но мне не попадались. Зато многие говорят, что есть эмигрантский сон из категории самых страшных, когда человек переживает кошмар возвращения и просыпается в холодном поту. Мне такие еще не снились. Но ощущение сжимающейся шагреновой кожи, стука часов, отсчитывающих мое время, я ощущаю внутри себя все резче и резче.

Вечером сын и невестка едут к себе, и моя младшая, здесь родившаяся внучка говорит: «Давай поцелуемся». А я думаю: «Сколько еще таких вечеров?» Утром старшие идут в школу, говорят, что будут делать днем — то баскетбол, то урок русского языка. «Сколько раз утром при мне они уйдут в школу?» — уже колотится вопрос у меня где-то внутри. И как всегда, когда человеку страшно, подымается там, где-то в тебе, этот неопределенный и тревожный холодок. Скоро.

Уже прошло в пять раз больше дней и ночей здесь, чем мне их осталось. Уже мы знаем, что 23 мая мы отвели на прощание со всеми, кто захочет прийти или приехать со мной проститься.

Уже я составляю список, что купить. Уже Андрюша написал мне в своей открытке от 25 марта в шутку и всерьез задание в песенно-стиховом ладе: «Смилуйся, государыня рыбка! Купи мне домашние джинсы, старые-то совсем развалились. И еще просторную куртку, я из красной хожу не вылезая. И еще что Бог на душу положит, Он тебе дурного не подкинет». Уже я думаю, когда будет в последний раз Вашингтон, когда Нью-Йорк. Уже! уже! уже! уже! И почти не остается никаких «еще».

На днях в Нью-Йорке — мы ехали в такси, шофер сказал по-русски: «А я из Минска». Я за него ухватилась, стала расспрашивать, да так активно, что он поначалу спросил: «А вы случайно не из ГБ?» Потом

поверил, что нет, не оттуда, а к концу разговора вдруг: «А вы не жена Сахарова?» Ему понадобился получасовой нью-йоркский путь, чтобы признать меня, но рассказал он о себе много. Уже около пяти лет здесь, купил лицензию, платит за нее проценты в банк, скоро кончит выплачивать долг. Приехал без языка, теперь справляется (а мужику больше пятидесяти). Всю жизнь — там и здесь — за баранкой. Говорит: «Русский народ хороший, ах, какой хороший народ» (он, между прочим, еврей). Но «Америка страна — лучше не бывает. Все неправда, что нет работы, надо только захотеть, и помогут, и работа будет. А изобилие какое, а свобода». И под конец этой речи: «Ну, как я мог, старый еврей из Минска, думать, что побываю и в Канаде, и во Флориде, и в Испании, и в Израиле». Так вот. Свобода.

Мы распрошались. Я приехала на ланч в газету «Нью-Йорк таймс». Ланч давал издатель. Это было очень красиво. Красивая комната, красивый стол, цветы. Теперь каюсь: узрев эту красоту, я забоялась, что ею и кончится дело — красотой и едой. Но, оказалось, я ошиблась: и красота была, и еда прекрасная, но, главное, разговор был серьезный. Это такое редкое явление в моей американской жизни, что меня ничуть не раздражало, что разговор шел за едой. Тут об Андрее знали, и пустых вопросов не было — все со смыслом. Но было чуть смешно — мне внутри. Снаружи я была вполне серьезна.

За столом нас было 12 человек — все кавалеры, дама одна я. Меня все время подмывало сказать, что я как Фурцева в политбюро. В довершение этого сходства (оно, конечно, только для меня) я вспомнила, как однажды видела Фурцеву совсем близко. Она открывала выставку в Доме писателей — выставлялся впервые в СССР Рокуэлл Кент. И была она в серо-голубом костюме. Мне тогда до смерти захотелось такой же, но все эти годы как-то было не до костюмчика. А тут дети, Алешка с Лизой, мне на день рождения подарили — серо-голубой, совсем как у члена политбюро на том вернисаже. Нет, даже лучше.

Только меня все грызло воспоминание о том таксисте. «Свобода». Свобода идти куда хочу. Думать, что хочу, я всегда свободна, но вот идти? Или не идти. Да, совсем как «быть или не быть». Ведь я все знаю, что меня ждет там, — я не о внешнем. Не о том, что надо ходить на отметки и после восьми вечера быть дома, не о том, что, кроме Андрея, ни с кем нельзя ни слова, что меня мутит от этого чужого и чуждого мне города. И две великие русские реки не спасают его для меня. Может, если б не в ссылку и без унижений, без тараканов, выбегающих из писем, то и понравился бы, но — «насильно мил не будешь», и он мне не мил, ох, как не мил.

И вот я имею свободу ехать или не ехать туда — свободу выбора. У меня, между прочим, уникальный для диссидента опыт со свободой выбора: я столько раз была за границей и ни разу не осталась. Каждый раз было так трудно возвращаться. Ведь на самом деле все наоборот: за граница — это там, и оттуда, бывает, не дозовешься, не докричишься и никто не услышит. Все разы, что я возвращалась (это началось с 1960 года), уже при

пересечении границы и сразу за ней на душу падает такой тяжкий туман, такой мрак, что невозможно объяснить. Раньше всегда я возвращалась к полной большой семье: и муж, и мама, и дети, — возвращалась в свой дом, домой, а все равно было тяжело, тяжело неопишимо. Это неизъяснимое чувство, что нет свободы «идти куда захочешь», сковывает, связывает тебя и душевно, и физически. Только неимоверными усилиями воли заставляешь себя снова учиться дышать без воздуха, плыть без воды, ходить без земли. Заставляешь себя жить, делать свое рутинное повседневное дело. Постепенно будни возвращают тебя к жизни, они лечат. Но это трудное лечение. И пережить, перенести это очень трудно. Мне с каждым разом становилось все трудней там за границей, за той границей. Уменьшалась семья, здесь оказалась дочь с детьми, потом сын, его старшая дочка, мама. Росла семья тут — приехала Лиза, родилась младшенькая. Все более пусто становилось там.

Теперь там нет дома — одни стены от некогда всеми нами любимого. Осталось — чужой город, чужая квартира, наполненная чужой казенной мебелью, неисчислимая свора охранников, как собаки на одной сворке. Да камеры, направленные на нас постоянно. И за всем этим Андрей — один, без меня грустящий, со мной счастливый и спокойный. Ладно. Как-нибудь переживем еще одну депрессию, как-нибудь справимся!

Помните, я писала о рождественском рассказе. Все у меня для него подходит. Болела, умирала, Андрюша так мучился, и так его мучили. Все обошлось. Я приехала, меня лечили, трудно было очень, но отошло. Случилось чудо: то ходила с нитроглицерином в ладошке — по 25 в сутки; теперь бывают дни — вообще забываю, что такой есть. Увидела, обняла маму. Внуки прелестные. Дети — ну, за этим стоит тысяча проблем — как у всех: «маленькие детки спать не дают, большие — сам не уснешь». Но это нормально, обыкновенно — свободный выбор: или спокойная жизнь, или дети. В общем, у меня есть все для рождественского рассказа.

Теперь нужен только счастливый конец, а я его не могу придумать. До этого места все писалось легко, просто, как домашний разговор на кухне. Я смотрю, что и американцы потихоньку из своих «ливинг-рум» и гостиных перебираются на кухню. Или еще нет? Тогда зачем же им большие кухни? Книга писалась легко, без какого-либо сопротивления, так просто, что, наверно, не стоит называть эти листки книгой. Сейчас даже жалко

ставить точку, и жаль очень, что нет времени прибрать, достроить как-то. Надо просить за это прощения у читателя. Да еще надо просить прощения, что эта книга никак не диссидентская. Я всегда всем говорила: «Я не диссидент, я просто я». Надеюсь, теперь убедились?

Но где же взять счастливый конец? Может, он в том, что мы с Андрюшей остаемся вместе. И что там, за границей, которая нас отделяет от мира и всех вас, дорогие близкие, наша семья и друзья, мы остаемся свободными быть каждый самим собой.

Благодаренье Богу, ты свободен
В России, в Болдине, в карантине.

(Д.Самойлов)

Да, наверно, это и есть счастливый конец.

Вместо послесловия

«Мы все — современники Андрея Сахарова»

*Выступление Е.Г.Боннэр на чествовании
академика Сахарова в комиссии по иностранным делам
Конгресса США*

Глубокоуважаемые члены Конгресса, дамы и господа!

От имени моего мужа я благодарю всех присутствующих в этом зале, а также тех, кто отмечает его шестидесятипятилетие, где бы они ни находились.

Я благодарю Президента за его теплое письмо, я воспринимаю его как выражение заботы о моем муже и надеюсь, что эта забота не будет напрасной. Отмечая этот день, мы все чествуем юбиляра и думаем о стране, в которой он родился, живет и работает. Это большая честь для истории страны — иметь такого гражданина, как академик Сахаров. У меня сегодня трудное положение. Я выступаю перед вами в двух качествах — как жена и как современник академика Андрея Сахарова.

Как жена, я полна тревоги за его жизнь и судьбу. Последние годы жизни в Горьком доказали мне, что с нами может произойти все что угодно и мир никогда не узнает правды. Вы знаете, что за последние годы были подделки телеграмм и писем, были фальшивые фильмы. Я опасаюсь, что, как только я вернусь в Горький, всякая

связь с внешним миром у нас прекратится — на Запад будет поступать только дезинформация. Сахаров находится в Горьком в нарушение всех законов страны, гражданином которой он является, и, пока ему не будут предоставлены те права, которыми пользуются все граждане СССР, его жизнь в опасности.

Как жена, я могу говорить о его здоровье, его одиночестве, о том, что он лишен нормальных научных и дружеских контактов, что он уже шесть лет ни разу не имел возможности выехать за пределы города Горького, что жить под постоянным наблюдением объектива камеры трудно и психологически просто опасно.

Могла бы я говорить и о том, как мне страшно туда возвращаться, как я боюсь всей той лжи, которая нас там окружает, как это ужасно, когда все лгут — пресса, официальные лица, ученые. Мне кажется, если бы не Андрей Дмитриевич, я никогда не только не вернулась бы туда, я не посмотрела бы в ту сторону. Но я не хочу ни о чем об этом говорить. В мире достаточно людей, способных понять мои чувства. Я сегодня хочу говорить как современник академика Сахарова.

Каждое время имеет своих героев. В сказках они просто рождаются, но в жизни нужно много обстоятельств и сочетание многих качеств, чтобы подняться вровень с судьбой, начиная с того, при каком социальном строе живет человек, и до того, как ведут себя те, кто рядом.

Андрей Дмитриевич Сахаров стал духовным лидером нашего с вами времени в силу целого ряда внешних обстоятельств, счастливо сочетавшихся с его индивидуальными особенностями, характером воспитания и среды, в которой он сформировался. Важнейшая особенность нашего времени, которую нельзя преуменьшать, — то, что мы живем после Второй мировой войны. Это время после Катастрофы и ГУЛага, Катыни и Хатыни, Освенцима и Хиросимы. После Второй мировой войны люди постоянно вырабатывают общественные институты, способные предохранить нас от повторения трагедии. Были приняты Всеобщая Декларация Прав Человека, Пакты о правах человека и Заключительный акт совещания в Хельсинки. Сахаров защищает эти институты, и его мировоззрение тесно связано с ними. Прежде

всего, именно время определило появиться Сахарову. Сахаров — плоть от плоти именно этого времени.

Мы все — современники колоссального скачка в прогрессе нашей цивилизации. Наука второй половины XX века определяет характер нашей жизни. Научный талант Сахарова и вместе с тем его способность глубоко понять, что полезного и что страшного несет прогресс, поставили его на передний край этой особенности нашего времени. Его личные качества — абсолютная честность в сочетании с естественной смелостью — столь естественной, что в повседневной жизни ее никто не замечает; интуитивное, врожденное понятие добра и зла; совершенная естественность его моральных принципов — все это сделало его тем академиком Сахаровым, которого знают и уважают во всем мире.

На этом основании выработалось его мировоззрение — неразделимость мира, прогресса и прав человека, идеология защиты прав человека как защиты жизни на Земле.

Эта идеология способна объединить людей Запада и Востока, различных религий, различных рас. Но она требует от нас ответственности и личной честности в отношении к событиям и людям, принадлежащим к различным системам. Надо иметь абсолютную ответственность перед временем и ни на чем не спекулировать. Время требует от всех серьезности. Несколько примеров.

Прекрасно, что делегации Красного Креста смогли добиться допуска своих представителей в тюрьмы Чили, но надо добиваться, чтобы они были допущены в тюрьмы СССР, Кубы или Китая. Западные корреспонденты при поддержке мировой общественности добились, чтобы их пускали к Нельсону Манделе. Надо добиваться, чтобы их пускали и к узникам совести в СССР. Катастрофа в Чернобыле не должна стать поводом, чтобы противники ядерных испытаний доказывали, что Западу не нужна ядерная энергетика. Пора понять, что не попытки остановить прогресс, а открытое общество и ненарушаемое право граждан контролировать действия правительства есть гарантия сохранения среды. Чернобыль доказал всем, что Земля — планета маленькая, что все успехи и ошибки у человечества общие, как и общая судьба в будущем. Это краеугольный камень мировоззрения Сахарова.

Наконец, совсем близко к теме нашего сегодняшнего праздника — один вопрос: серьезно ли вести неправительственные переговоры о разоружении и прекращении испытаний между учеными Запада и Востока, пренебрегая единственным — одновременно компетентным и независимым — голосом с той, восточной стороны — голосом академика Сахарова?

Я благодарю Конгресс США и в его лице американский народ за возможность сказать с этой трибуны, что, чувствуя в день шестидесятилетия академика Андрея Сахарова, мы все сегодня вновь подтверждаем нашу решимость защитить жизнь на Земле и нашу свободу.

ПРИЛОЖЕНИЯ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О СМЕРТИ ОТЦА Е.Г. БОННЭР



РСФСР

СВИДЕТЕЛЬСТВО О СМЕРТИ

И-А № 803960

Гр. Амиханов
Теворт Саркисович
(фамилия, имя, отчество)

умер (ла) 11/11 1989 тысяча девятьсот
тридцать девятого года
(приняты и)
(цифрами год, месяц и число)

возраст 42 года

Причина смерти Воспаление легких

о чём в книге записей актов гражданского состояния о смерти
19 54 года Декабря месяца 2 числа

произведена соответствующая запись за № 660

Место смерти: город, селение —

район — область, край,

республика —

Место регистрации: Москва

Введенское
(наименование населенного пункта)
7-го Декабря 19 54

Заверенный бюро записей актов
гражданского состояния В. А. Сидоров



Приложение № 2

ОПАСНОСТЬ ТЕРМОЯДЕРНОЙ ВОЙНЫ

Открытое письмо доктору Сиднею Дреллу

Дорогой друг!

Я прочитал Ваши замечательные доклады «Речь о ядерном оружии»; заявление Слушаниям о последствиях ядерной войны для окружающей среды («Speech on Nuclear Weapons» at Grace Cathedral, October 23, 1982; Opening Statement to Hearing on the Consequences of Nuclear War before the Subcommittee on Investigations and Oversight). То, что Вы говорите и пишете о чудовищной опасности ядерной войны, очень близко мне, глубоко волнует уже много лет. Я решил обратиться к Вам с открытым письмом, ощущая необходимость принять участие в дискуссии по этому вопросу — одному из самых важных, стоящих перед человечеством. Будучи полностью согласен с Вашими общими тезисами, я высказываю некоторые соображения более конкретного характера, которые, как мне кажется, необходимо учитывать при принятии решений. Эти соображения частично противоречат некоторым Вашим высказываниям, а частично дополняют и, возможно, усиливают их. Мне кажется, что мое мнение, сообщаемое здесь в дискуссионном порядке, может представить интерес в силу моего научно-технического и психологического опыта, приобретенного в период участия в работе над термоядерным оружием, а также потому, что я являюсь одним из немногих в СССР независимых от властей и политических соображений участников этой дискуссии.

Я полностью согласен с Вашей оценкой опасности ядерной войны. Ввиду критической важности этого тезиса, остановлюсь на нем подробнее, быть может, повторяя и хорошо известное.

Здесь и ниже я употребляю термины «ядерная война», «термоядерная война» как практические синонимы. Ядерное оружие — это атомное и термоядерное оружие; обычное оружие — любое, за исключением трех видов оружия массового уничтожения — ядерного, химического, бактериологического.

Большая термоядерная война — бедствие неопишемого масштаба и совершенно непредсказуемых последствий, причем вся неопределенность в худшую сторону.

По данным экспертов комиссии ООН, к концу 1980 года общий запас ядерного оружия в мире составлял 50 тысяч ядерных зарядов. Суммарная мощность (в основном приходящаяся на термоядерные заряды мощностью от 0,04 мегатонн до 20 мегатонн) составляла, по оценке экспертов, 13 тысяч мегатонн. Приводимые Вами цифры не противоречат этим оценкам. При этом Вы напоминаете, что суммарная мощность всех ВВ, использованных во Второй мировой войне, не превосходила 6-ти мегатонн (по известной мне оценке — 3-х мегатонн). Правда, при этом сравнении нужно учитывать большую относительную эффективность меньших зарядов при той же суммарной мощности, но это не меняет качественного вывода о колоссальной разрушительной силе накопленных ядерных зарядов. Вы приводите также данные, согласно которым СССР в настоящее время (1982 год) имеет в своем стратегическом арсенале 8.000 термоядерных зарядов, США — 9.000 термоядерных зарядов. Значительная часть этих зарядов — в головных частях ракет с разделяющимися боеголовками индивидуального наведения (MIRV — я буду писать РБИН). Необходимо пояснить, что у СССР основу арсенала (70%, по данным одного из заявлений ТАСС) составляют гигантские ракеты наземного базирования (в шахтах, и несколько меньшие, средней дальности, — с подвижным стартом). У США 80% составляют гораздо меньшие, но зато менее уязвимые, чем шахтные, ракетные заряды на подлодках, а также авиабомбы, среди них есть, по-видимому, очень мощные. Массовое проникновение самолетов вглубь территории СССР сомнительно — это последнее замечание должно быть уточнено с учетом возможностей крылатых ракет — они, вероятно, смогут преодолевать ПВО противника.

Крупнейшие ракеты США, существующие сейчас (я не говорю о планируемых МХ), имеют в несколько раз меньшую грузоподъемность, чем основные советские ракеты, т.е. несут меньше разделяющихся боеголовок, или мощность каждого заряда меньше. (Предполагается, что при разделении веса одного заряда между несколькими — скажем, десятью боеголовками РБИН суммарная мощность уменьшается в несколько раз, но тактические возможности при атаке компактных целей резко возрастают; а разрушительная способность при стрельбе

по площадям, т.е. в основном по большим городам, — уменьшается незначительно, в основном за счет фактора теплового излучения; я остановился на этих подробностях, так как они, быть может, окажутся существенными при дальнейшем обсуждении.)

Вы приводите оценку из международного журнала Королевской Шведской Академии наук, согласно которой сброс на основные города северного полушария 5.000 зарядов суммарной мощностью 2.000 мегатонн приведет к гибели 750 миллионов человек только от одного из факторов поражения — ударной волны.

К этой оценке я хочу добавить следующее:

1. Общее количество имеющихся сейчас у пяти ядерных стран термоядерных зарядов примерно в 5 раз больше использованной при оценке цифры, общая мощность больше в 6-7 раз. Принятое среднее число жертв, приходящихся на один заряд — 250 тысяч человек, — нельзя считать завышенным, если сравнить принятую среднюю мощность термоядерного заряда 400 килотонн с мощностью взрыва в Хиросиме 17 килотонн и числом жертв от ударной волны не менее 40 тысяч человек.

2. Чрезвычайно важным фактором поражающего действия ядерных взрывов является тепловое излучение. Пожары в Хиросиме были причиной значительной части (до 50%) смертельных случаев. С увеличением мощности зарядов относительная роль теплового действия возрастает. Поэтому учет этого фактора должен значительно увеличить число непосредственных жертв.

3. При атаке на особо прочные компактные цели противника (такие, как стартовые шахтные позиции ракет противника, командные пункты, центры связи, правительственные учреждения и убежища, другие важнейшие объекты) следует предполагать, что значительная часть взрывов будет наземными или низкими. При этом неизбежно возникновение радиоактивных «следов» — полос выпадения поднятой взрывом с поверхности пыли, «напитавшейся» продуктами деления урана. Поэтому, хотя непосредственное радиоактивное воздействие термоядерного заряда имеет место в зоне, где все живое и так уничтожено ударной волной и огнем, но косвенное — через осадки — оказывается очень существенным. Площадь, зараженная осадками так, что суммарная доза облучения превысит на ней опасный предел 300 рентген, для типичного термоядерного заряда в 1 мегатонну составит тысячи квадратных километров!

При наземных испытаниях советского термоядерного заряда в августе 1953 года десятки тысяч людей были заранее эвакуированы из зоны возможного выпадения осадков. В поселок Кара-аул люди смогли вернуться лишь весной 1954 года! В условиях войны планомер-

ная эвакуация невозможна. Будет происходить паническое бегство сотен миллионов людей, часто из одной зараженной зоны в другую. Сотни миллионов людей неизбежно станут жертвой радиоактивного облучения, массовые миграции людей будут способствовать усилению хаоса, нарушению санитарных условий, голоду. Генетические последствия облучения будут угрожать сохранению биологического вида человека и всех других обитателей Земли — животных и растений.

Я совершенно согласен с Вашей основной мыслью, что человечество **никогда** не сталкивалось ни с чем, даже отдаленно приближающимся к большой термоядерной войне по своему масштабу и ужасу.

Как бы ни были чудовищны непосредственные последствия термоядерных взрывов, мы не можем исключить того, что еще более существенными станут косвенные последствия. Для чрезвычайно сложного, поэтому очень уязвимого, современного общества косвенные последствия могут стать роковыми. Столь же опасны общеэкологические последствия. В силу сложного характера взаимосвязей прогнозы и оценки тут крайне затруднены. Упомяну некоторые из обсуждаемых в литературе (в частности, в Ваших докладах) проблем, не давая оценок их серьезности, хотя я и убежден, что многие из указанных опасностей вполне реальны:

1. Сплошные лесные пожары могут уничтожить большую часть лесов на планете. Дым при этом нарушит прозрачность атмосферы. На Земле наступит длящаяся много недель ночь, а потом — недостаток кислорода в атмосфере. В результате, один этот фактор, если он реален, может погубить жизнь на планете. В менее выраженной форме этот фактор приведет к важным экологическим, экономическим и психологическим последствиям.

2. Высотные ядерные взрывы войны в космосе (в частности, термоядерные взрывы ракет ПРО и взрывы атакующих ракет с целью нарушения радиолокации), возможно, уничтожат или сильно разрушат озоновый слой, защищающий Землю от ультрафиолетового излучения Солнца. Оценки, относящиеся к этой опасности, весьма неопределенны — если верны максимальные оценки, то этого фактора тоже достаточно, чтобы уничтожить жизнь.

3. В современном сложном мире могут оказаться очень существенными нарушения работы транспорта и связи.

4. Несомненно нарушатся (целиком или частично) производство и доставка населению продуктов питания, водоснабжение и канализация, снабжение топливом и электроэнергией, снабжение медикаментами и одеждой — все это в масштабе целых континентов. Разрушится система здравоохранения, гигиенические условия жизни миллиардов людей вернутся к уровню средних веков, а может, и до много

худших. Медицинская помощь сотням миллионов раненых, обожженных и облученных практически будет невозможной.

5. Голод и эпидемии в обстановке хаоса и разрухи могут унести много больше жизней, чем непосредственно ядерные взрывы. Нельзя также исключить, что наряду с «обычными» болезнями, которые неизбежно получают широкое распространение: гриппом, холерой, дизентерией, сыпным тифом, сибирской язвой, чумой и другими, — могут в результате радиационных мутаций вирусов и бактерий возникнуть совершенно новые болезни и особо опасные формы старых болезней, против которых люди и животные не будут иметь иммунитета.

6. Особенно трудно прогнозировать социальную устойчивость человечества в условиях всеобщего хаоса. Неизбежно появление многочисленных банд, которые будут убивать и терроризировать людей и вести борьбу между собой по законам уголовного мира: «Умри ты сегодня, а я завтра».

Но, с другой стороны, опыт социальных и военных потрясений прошлого показывает, что в человечестве есть большой «запас прочности», «живучесть» людей в экстремальных условиях превосходит все то, что можно вообразить *a priori*. Но даже если человечество сможет сохранить себя как некий социальный организм, что кажется маловероятным, важнейшие социальные институты, составляющие основу цивилизации, будут разрушены.

Резюмируя, следует сказать, что всеобщая термоядерная война явится гибелью современной цивилизации, отбросит человечество на столетия назад, приведет к физической гибели сотен миллионов или миллиардов людей и, с некоторой долей вероятности, приведет к уничтожению человечества как биологического вида, возможно, даже к уничтожению жизни на Земле.

Ясно, что говорить о победе в большой термоядерной войне бессмысленно — это коллективное самоубийство.

Мне кажется, что эта моя точка зрения в основном совпадает с Вашей, так же как с мнением очень многих людей на Земле.

Я полностью согласен и с другими Вашими принципиальными тезисами. Я согласен, что если будет перейден «ядерный порог», т.е. если какая-либо страна применит даже в ограниченном масштабе ядерное оружие, то дальнейшее развитие событий станет плохо контролируемым, и наиболее вероятна быстрая эскалация, переводящая первоначально ограниченную по масштабам или региональную войну во всеобщую термоядерную, т.е. во всеобщее самоубийство.

Более или менее безразлично при этом, почему перейден «ядерный порог» — в результате ли превентивного ядерного нападения

или в ходе уже ведущейся обычным оружием войны, например, при угрозе проигрыша или просто в результате той или иной случайности (технической или организационной).

В силу всего вышесказанного, я убежден в истинности Вашего следующего основного тезиса: **Ядерное оружие имеет смысл только как средство предупреждения ядерной же агрессии потенциального противника.** Т.е. нельзя планировать ядерную войну с целью ее выиграть. Нельзя рассматривать ядерное оружие как средство сдерживания агрессии, осуществляемой с применением обычного оружия.

Вы отдаете, конечно, себе отчет в том, что последнее утверждение находится в противоречии с реальной стратегией Запада последних десятилетий. Длительное время, начиная еще с конца 40-х годов, Запад не полагается полностью на свои «обычные» вооруженные силы как достаточное средство отражения потенциального агрессора и для сдерживания экспансии. Причин тут много — политическая, военная и экономическая разобщенность Запада, стремление избежать в мирное время экономической, социальной и научно-технической милитаризации, низкая численность национальных армий стран Запада. Все это — в то время, как СССР и другие страны социалистического лагеря имеют многочисленные армии и проводят их интенсивное перевооружение, не жалея на это средств. Возможно, в каких-то ограниченных временных рамках взаимное ядерное устрашение имело некоторое сдерживающее воздействие на ход мировых событий. Но в настоящее время ядерное устрашение — опасный пережиток! Нельзя с целью избежать агрессии с применением обычного оружия угрожать ядерным оружием, если его применения нельзя допустить. Один из выводов, который из этого следует, — и Вы его делаете: необходимо восстановление стратегического равновесия в области обычных вооружений. Вы говорите это другими словами и не очень акцентируете.

Между тем, это очень важное и нетривиальное утверждение, на котором необходимо остановиться подробнее.

Восстановление стратегического равновесия возможно только при вложении крупных средств, при существенном изменении психологической обстановки в странах Запада. Должна быть готовность к определенным экономическим жертвам и — самое главное — понимание серьезности ситуации, понимание необходимости некой перестройки. В конечном счете, это нужно для предупреждения ядерной войны и войны вообще. Сумеют ли осуществить такую перестройку политики Запада, будут ли им помогать (а не мешать, как это сейчас часто наблюдается) пресса, общественность, наши с Вами коллеги-ученые, удастся ли убедить всех сомневающихся — от этого зависит очень многое: возможность для Запада вести такую политику в области ядерных

вооружений, которая постепенно будет способствовать уменьшению опасности ядерной катастрофы.

Во всяком случае я очень рад, что Вы (а в другом контексте раньше — профессор Пановский) высказались в пользу необходимости стратегического равновесия обычных вооружений.

В заключение я должен особо подчеркнуть, что, конечно, перестройка стратегии может осуществляться только постепенно, очень осторожно, чтобы избежать потери равновесия на каких-то промежуточных этапах.

В области собственно ядерного оружия Ваши дальнейшие мысли, как я понял, сводятся к следующему.

Необходимо сбалансированное сокращение ядерных арсеналов, начальным этапом этого процесса ядерного разоружения может явиться взаимное замораживание ныне существующих ядерных арсеналов. Далее цитирую Вас: «Решения в области ядерного оружия должны быть основаны просто на критерии достижения надежного устрашения, а не на каких-то дополнительных требованиях, относящихся к ядерной войне, поскольку такие требования, вообще говоря, ничем не лимитированы и не реалистичны». Это один из Ваших центральных тезисов.

При переговорах по ядерному разоружению Вы предлагаете выработать один достаточно простой и по возможности справедливый критерий оценки ядерных сил, в качестве такого критерия Вы предлагаете взять сумму числа носителей термоядерных зарядов и общего числа зарядов, которые могут быть доставлены (вероятно, надо иметь в виду максимальное число неких стандартных или условных зарядов, которые могут быть доставлены данным типом носителей при соответствующем дроблении используемого веса).

Начну с обсуждения этого последнего Вашего предложения (сделанного совместно с Вашим студентом Кентом Визнером). Оно кажется мне практичным. Ваш критерий с разным коэффициентом учитывает носители разной грузоподъемности, это очень важно (именно равновесный учет малых американских ракет и больших советских ракет явился одним из пунктов, по которым я в свое время критиковал договор ОСВ-1 при общей положительной оценке самого факта переговоров и заключения договора). При этом, в отличие от критериев, использующих мощность заряда, обычно официально не объявляемую, число доставляемых зарядов легко определяется. Ваш критерий учитывает также и то, что, например, тактические возможности 5 ракет, несущих по одному заряду, существенно выше, чем у одной большой ракеты, несущей 5 РБИН. Конечно, предложенный Вами критерий не охватывает таких параметров, как дальность, точность попадания,

степень уязвимости, их надо будет учитывать дополнительно или в каких-то случаях не учитывать в целях облегчения условий соглашений.

Я надеюсь, что Ваш (или какой-либо аналогичный) критерий будет принят в качестве основы при переговорах как для межконтинентальных ракет, так и (независимо) для ракет средней дальности. В обоих случаях гораздо трудней будет, чем сейчас, настаивать на несправедливых условиях соглашений и быстрее можно будет переходить от слов к делу. Вероятно, само принятие Вашего (или аналогичного) критерия потребует дипломатической и пропагандистской борьбы, но дело стоит того.

От этого относительно частного вопроса перехожу к более общему и более сложному, спорному. Действительно ли можно при принятии решений в области ядерного оружия игнорировать все соображения и требования, относящиеся к возможным сценариям ядерной войны, и ограничиться просто критерием достижения надежного устрашения — понимая этот критерий как наличие арсенала, достаточного для нанесения сокрушающего ответного удара? Вы отвечаете на этот вопрос — может быть, чуть иначе его формулируя — положительно и делаете далеко идущие выводы. Не подлежит сомнению, что уже сейчас США имеют большое количество неуязвимых для СССР ракет на подлодках и авиабомб на самолетах и, кроме этого, имеют еще ракеты шахтного базирования, хотя и меньшие, чем СССР, — все это в таком количестве, что при применении этих зарядов от СССР, грубо говоря, ничего не останется. Вы утверждаете, что это уже создало ситуацию надежного устрашения — вне зависимости от того, что еще есть и чего нет у СССР и США! Поэтому Вы считаете, в частности, излишним создание ракет МХ и не относящимися к делу те аргументы, которые приводятся в поддержку развертывания: наличие у СССР большого арсенала межконтинентальных ракет большой грузоподъемности, которых нет у США; тот факт, что советские ракеты и ракеты МХ имеют много боеголовок, так что одна ракета может уничтожить несколько шахтных установок противника при ракетной дуэли. Поэтому же Вы считаете (с некоторыми оговорками) приемлемым для США замораживание ядерных арсеналов США и СССР на их существующем уровне.

Ваша аргументация представляется очень сильной и убедительной. Но я считаю, что изложенная концепция не учитывает всей сложной реальности противостояния двух мировых систем и что необходимо (вопреки тому, на чем настаиваете Вы) также более конкретное, разностороннее и непредвзятое рассмотрение, чем просто ориентация на «надежное устрашение» (в сформулированном выше смысле этого слова — наличие возможности нанесения сокрушающего ответного удара). Постараюсь пояснить свое утверждение.

Мы можем представить себе, что потенциальный агрессор, именно в силу того факта, что всеобщая термоядерная война является всеобщим самоубийством, может рассчитывать на недостаток решимости подвергшейся нападению стороны пойти на это самоубийство, т.е. может рассчитывать на капитуляцию жертвы ради спасения того, что можно спасти. При этом, если агрессор имеет военное преимущество в каких-то вариантах обычной войны или — что **в принципе** тоже возможно — в каких-то вариантах частичной (ограниченной) ядерной войны, он будет пытаться, используя страх дальнейшей эскалации, навязать противнику именно эти варианты. Мало радости, если надежды агрессора в конечном счете окажутся ложными и страна-агрессор погибнет вместе со всем человечеством.

Вы считаете необходимым добиваться восстановления стратегического равновесия в области обычных вооружений. Сделайте теперь следующий логический шаг — пока существует ядерное оружие, необходимо также стратегическое равновесие по отношению к тем вариантам ограниченной или региональной ядерной войны, которые потенциальный противник может пытаться навязать, т.е. действительно **необходимо** конкретное рассмотрение различных сценариев как обычной, так и ядерной войны с анализом вариантов развертывания событий. В полном объеме это, конечно, невозможно — ни анализ всех вариантов, ни полное обеспечение безопасности. Но я пытаюсь предупредить от противоположной крайности — «зажмуривания глаз» и расчета на идеальное благоразумие потенциального противника. Как всегда в сложных проблемах жизни, необходим какой-то компромисс.

Я понимаю, конечно, что, пытаясь ни в чем не отставать от потенциального противника, мы обрекаем себя на гонку вооружений — трагичную в мире, где столь много жизненных, не терпящих отлагательства проблем. Но самая главная опасность — сползти к всеобщей термоядерной войне. **Если** вероятность такого исхода можно уменьшить ценой еще десяти или пятнадцати лет гонки вооружений — быть может, эту цену придется заплатить при одновременных дипломатических, экономических, идеологических, политических, культурных, социальных усилиях для предотвращения возможности возникновения войны.

Конечно, разумней было бы договориться уже сейчас о сокращении ядерных и обычных вооружений и полной ликвидации ядерного оружия. Но возможно ли это сейчас в мире, отравленном страхом и недоверием, мире, где Запад боится агрессии СССР, СССР — агрессии со стороны Запада и Китая, и Китай — со стороны СССР, и никакие словесные заверения и договоры не могут полностью снять эти опасения?

Я знаю, что на Западе очень сильны пацифистские настроения. Я глубоко сочувствую стремлениям людей к миру, к разрешению мировых проблем мирными средствами, всецело разделяю эти стремления. Но в то же время я убежден, что совершенно необходимо учитывать конкретные политические и военно-стратегические реалии современности, причем объективно, не делая никаких скидок ни той, ни другой стороне, в том числе не следует а priori исходить из предполагаемого особого миролюбия социалистических стран только в силу их якобы прогрессивности или в силу пережитых ими ужасов и потерь войны. Объективная действительность гораздо сложнее, далеко не столь однозначна. Субъективно люди в социалистических и в западных странах страстно стремятся к миру. Это чрезвычайно важный фактор. Но, повторяю, не исключающий сам по себе возможности трагического исхода.

Сейчас, как я считаю, необходима огромная разъяснительная, деловая работа, чтобы конкретная и точная, исторически и политически осмысленная информация была доступна всем людям и пользовалась у них доверием, не заслонялась догмами и инспирированной пропагандой. Необходимо при этом учитывать, что просоветская пропаганда в странах Запада ведется давно, очень целенаправленно и умно с проникновением просоветских элементов во многие ключевые узлы, в особенности в масс-медиа.

История пацифистских кампаний против размещения евrorакет — очень показательна во многих отношениях. Ведь многие участники этих кампаний полностью игнорировали первопричину «двойного решения» НАТО — сдвиг в 70-х годах стратегического равновесия в пользу СССР — и, протестуя против планов НАТО, не выдвигали никаких требований, обращенных к СССР. Другой пример: попытка бывшего президента Картера сделать минимальный шаг в направлении равновесия обычных вооружений, а именно: провести регистрацию военнообязанных, — встретила значительное сопротивление. Между тем, равновесие в области обычных вооружений — необходимая предпосылка снижения ядерных вооружений. Для правильной оценки общественностью Запада глобальных проблем, в частности, проблем стратегического равновесия как обычных, так и ядерных вооружений, жизненно необходим более объективный подход, учитывающий реальное стратегическое положение в мире.

Вторая группа проблем в области ядерного оружия, по которой я должен здесь сделать несколько дополнительных замечаний, — переговоры о ядерном разоружении. Запад на этих переговорах должен иметь, что отдавать! Насколько трудно вести переговоры по разоружению, имея «слабину», показывает опять история с «евроракетами». Лишь в самое последнее время СССР, по-видимому, перестал голословно настаивать на своем тезисе, что именно сейчас имеется при-

мерное ядерное равновесие и поэтому все надо оставить, как есть. Теперь следующим прекрасным шагом было бы сокращение числа ракет, но обязательно со справедливым учетом **качества** ракет и других средств доставки (т.е. числа зарядов, доставляемых каждым носителем, дальности, точности, степени уязвимости — большей у самолетов, меньшей у ракет; вероятно, целесообразно использование Вашего критерия или аналогичных). И обязательно речь должна идти не о перевозке за Урал, а об **уничтожении**. Ведь перебазирование слишком «обратимо». Нельзя также, конечно, считать равноценными советские мощные ракеты с подвижным стартом и несколькими боеголовками и существующие ныне «Першинг-1», английские и французские ракеты, авиабомбы на бомбардировщиках ближнего радиуса действия — как это иногда в пропагандистских целях пытается делать советская сторона.

Не менее важна проблема мощных наземных ракет шахтного базирования. Сейчас СССР имеет тут большое преимущество. Быть может, переговоры об ограничении и сокращении этих самых разрушительных ракет могут стать легче, если США будут иметь ракеты МХ (хотя бы потенциально, это бы было лучше всего). Несколько слов о военных возможностях мощных ракет. Они могут использоваться для доставки самых больших термоядерных зарядов для уничтожения городов и других крупных целей противника (при этом для истощения средств ПРО противника, вероятно, одновременно будет использоваться «дождь» из более мелких ракет, ложных целей и т.п. В литературе много пишут о возможности разработки систем ПРО, использующих сверхмощные лазеры, пучки ускоренных частиц и т.п. Но создание на этих путях эффективной защиты от ракет кажется мне очень сомнительным). Для характеристики того, что представляет собой атака на город мощными ракетами, приведем следующие оценки. Предполагая, что максимальная мощность единичного заряда, переносимого большой ракетой, может составлять величину порядка 15-25 мегатонн, находим, что площадь полного разрушения жилых зданий составит 250-400 квадратных километров, зона поражения тепловым излучением — 300-500 квадратных километров, зона радиоактивного «следа» (при наземном взрыве) составит по длине до 500-1.000 километров и по ширине до 50-100 километров!

Столь же существенно, что мощные ракеты могут использоваться для разрушения с помощью РБИН компактных целей противника, в частности, расположенных в шахтах аналогичных ракет противника. Вот примерный расчет такой атаки на стартовые позиции. Сто ракет типа МХ (количество, предложенное для плана первой очереди администрацией Рейгана) могут нести тысячу боеголовок по 0,6 мегатонны. Каждая из боеголовок, с учетом эллипса рассеяния при стрельбе

и предполагаемой прочности советских стартовых позиций, разрушает, согласно опубликованным в американской прессе данным, одну стартовую позицию с вероятностью 60%. При атаке на 500 советских стартовых позиций — по две боеголовки на каждую позицию — останется неповрежденным 16%, т.е. «только» 80 ракет.

Особая опасность, связанная с ракетами шахтного базирования, заключается в следующем. Они относительно легко могут быть разрушены в результате атаки противника, как я только что продемонстрировал. В то же время они могут быть применены для разрушения стартовых позиций противника (в количестве в 4-5 раз большем, чем число использованных для этого ракет). У страны, располагающей большими шахтными ракетами (в настоящее время это, в первую очередь, СССР, а если в США будет осуществлена программа MX, то и США), может возникнуть «соблазн» применить такие ракеты первыми, пока их еще не уничтожил противник, т.е. наличие ракет шахтного базирования в таких условиях является дестабилизирующим фактором.

Мне кажется, в силу всего вышесказанного, что при переговорах о ядерном разоружении очень важно добиваться уничтожения мощных ракет шахтного базирования. Пока СССР является в этой области лидером, очень мало шансов, что он легко от этого откажется. Если для изменения положения надо затратить несколько миллиардов долларов на ракеты MX, может, придется Западу это сделать. Но при этом — если советская сторона действительно, а не на словах, пойдет на крупные контролируемые мероприятия сокращения наземных ракет (точней, на их уничтожение) — то и Запад должен уничтожить не только ракеты MX (или не строить их!), но осуществить и другие значительные акции разоружения. В целом, я убежден, что переговоры о ядерном разоружении имеют огромное, приоритетное значение. Их надо вести непрерывно — и в более светлые периоды международных отношений, но и в периоды обострений, — настойчиво, предусмотрительно, твердо и одновременно гибко, инициативно. Политические деятели при этом, конечно, не должны думать об использовании этих переговоров, как и всей ядерной проблемы в целом, для своего сиюминутного политического авторитета — а лишь в долгосрочных интересах страны и мира. Планирование переговоров должно входить важнейшей составной частью в общую ядерную стратегию, в этом пункте я вновь согласен с Вами!

Третья группа проблем, которые следует тут обсудить, носит политический и социальный характер. Ядерная война может возникнуть из обычной, а обычная война, как известно, возникает из политики. Все мы знаем, что в мире неспокойно. Причины очень многообразны — в их числе национальные, экономические, социальные, тирания дик-

таторов. Многие из происходящих сейчас трагических событий уходят корнями в далекое прошлое. Было бы совершенно неправильно видеть всюду только руку Москвы. И все же, рассматривая то, что происходит на Земле, в целом, укрупненно, нельзя отрицать происходящего начиная с 1945 года, неотступного процесса расширения сферы советского определяющего влияния — объективно это не что иное как общемировая советская экспансия. По мере экономического, хотя и одностороннего, и научно-технического усиления СССР и его военного усиления этот процесс становится все более широким. Сегодня он приобрел масштабы, опасно нарушающие международное равновесие. Запад не без оснований опасается, что под ударом оказались мировые морские пути, нефть арабского Востока, уран и алмазы, другие ресурсы юга Африки.

Одна из основных проблем современности — судьба развивающихся стран, большей части человечества. Но фактически для СССР — а в какой-то мере и для Запада — эта проблема стала разменной картой в борьбе за господство и стратегические интересы. Миллионы людей в мире ежегодно умирают от голода, сотни миллионов живут в условиях недоедания, безысходной нужды. Запад оказывает развивающимся странам экономическую и технологическую помощь, но все же совершенно недостаточно, в особенности в обстановке возросших цен на нефть. Помощь от СССР, социалистических стран меньше по объему и в еще большей степени, чем помощь Запада, носит односторонний военный, блоковый характер. И что очень существенно — никак не увязана с общемировыми усилиями.

Не затухают, а разгораются очаги локальных конфликтов — угрожая перерасти в глобальные войны. Все это вызывает большую тревогу.

Наиболее острым негативным проявлением советской политики явилось вторжение в Афганистан, начавшееся в декабре 1979 года с убийства главы государства. Три года чудовищно жестокой антипартизанской войны принесли неисчислимые страдания афганскому народу, свидетельством чему являются более четырех миллионов беженцев в Пакистане и Иране.

Именно общий поворот в мировом равновесии, вызванный вторжением в Афганистан и другими одновременно происходившими событиями, явился глубинной причиной того, что не был ратифицирован договор ОСВ-2. Я сожалею об этом вместе с Вами. Но не могу не видеть тех причин, о которых только что написал.

Есть еще одна тема, которая тесно связана с проблемой мира, — открытость общества, права человека. Я употребляю термин «открытость общества» в том смысле, в котором более тридцати лет назад его ввел великий Нильс Бор.

В 1948 году государства — члены ООН приняли Всеобщую Декларацию Прав Человека, подчеркнули их значение для поддержания мира. В 1975 году взаимосвязь прав человека и международной безопасности провозгласил Хельсинкский Акт, подписанный тридцатью пятью государствами, в том числе СССР и США. Среди этих прав: право на свободу убеждений, свободное получение и распространение информации внутри страны и за ее пределами, право на свободный выбор страны проживания и места проживания в пределах страны, свобода религии. Свобода от психиатрических репрессий. Право граждан контролировать принятие руководителями страны тех решений, от которых зависят судьбы мира. А ведь мы даже не знаем, как и кем было принято решение о вторжении в Афганистан! Люди в нашей стране не имеют и малой доли той информации о событиях в мире и в стране, которой располагают граждане Запада. Возможность же критиковать политику руководства своей страны в вопросах войны и мира так, как это свободно делаете Вы, в нашей стране полностью отсутствует. Не только критические, но и просто информационные выступления даже по гораздо менее острым вопросам часто влекут за собой аресты и осуждения на очень большие сроки заключения или психиатрическую тюрьму. В соответствии с общим характером этого письма я воздерживаюсь тут от многих конкретных примеров, но не могу не написать о судьбе Анатолия Щаранского, погибающего в Чистопольской тюрьме за право видеться с матерью и писать ей, и о Юрии Орлове, уже в третий раз помещенном на шесть месяцев в лагерную тюрьму в Пермском лагере после того, как он был избит в присутствии надзирателя.

В декабре 1982 года была объявлена амнистия в честь 60-летия СССР, но, так же как в 1977 году и в предыдущих амнистиях, из нее **специально** были исключены статьи, по которым находятся в заключении узники совести. Так далеко от провозглашенных принципов в СССР — стране, несущей на себе столь большую ответственность за судьбы мира!

В заключение я еще раз подчеркиваю, насколько важно всеобщее понимание абсолютной недопустимости ядерной войны — коллективного самоубийства человечества. Ядерную войну невозможно выиграть. Необходимо планомерно — хотя и осторожно — стремиться к полному ядерному разоружению на основе стратегического равновесия обычных вооружений. Пока в мире существует ядерное оружие, необходимо такое стратегическое равновесие ядерных сил, при котором ни одна из сторон не может решиться на ограниченную или региональную ядерную войну. Подлинная безопасность возможна лишь на основе стабилизации международных отношений, отказа от политики экспансии, укрепления международного доверия, открытости и плюрализации социалистических обществ, соблюдения прав человека во всем мире,

сближения — конвергенции — социалистической и капиталистической систем, общемировой согласованной работы по решению глобальных проблем.

Андрей Сахаров
2 февраля 1983 года

Copyright А.Сахарова

Приложение № 3

КОГДА ТЕРЯЮТ ЧЕСТЬ И СОВЕСТЬ

(«Известия», 3 июля 1983)

Открыв номер американского журнала «Форин афферс» и обнаружив в нем пространную статью академика Андрея Сахарова, мы взяли за ее чтение, ожидая, по правде говоря, всякого. Что Сахаров пытается очернить все, что нам дорого, что он клеветает на собственный народ, выставляя его перед внешним миром эдакой безликой массой, даже и не приблизившейся к высотам цивилизованной жизни, мы хорошо знали.

Сахаровское творение в «Форин афферс» нас тем не менее поразило. Как бы вступив в полемику с американским профессором из Стэнфордского университета С. Дреллом, который высказывается в пользу замораживания существующих ядерных арсеналов СССР и США, Сахаров призывает США, Запад ни при каких обстоятельствах не соглашаться с какими-либо ограничениями в гонке вооружений, ядерных в первую очередь. Он прямо-таки заклинает руководителей Вашингтона продолжать их милитаристский курс, курс на конфронтацию с Советским Союзом, на военное превосходство, доказывая, что Соединенные Штаты, НАТО не должны ослаблять гонку вооружений как минимум еще 10-15 лет.

Это может показаться неправдоподобным, но нижеследующее написано черным по белому. Сахаров умоляет тех, к кому он обращается, «не полагаться на благоразумие противника». Кто же этот «противник»? Советский Союз, страна, в которой он живет. Он предупреждает хозяев Америки: не верьте миролюбию социалистических государств. Открыто, не стесняясь, Сахаров одобряет планы США и НАТО по развертыванию американских «першингов-2» и крылатых ракет в Запад-

ной Европе — этого оружия первого удара, которое намереваются нацелить на нашу страну и другие социалистические государства. Один из его аргументов — если у Вашингтона будут ракеты МХ, а это тоже всем известное оружие первого удара, — «Соединенным Штатам будет легче вести переговоры» с СССР.

Мы несколько раз возвращались к этим местам в статье Сахарова. И у нас появилось какое-то странное ощущение: да он ли это пишет? Ведь все это мы уже много раз слышали, читали. Именно так говорит министр обороны США Уайнбергер. Так говорит президент Рейган. Это язык американских генералов и политиков-ультра. Сахарову не хватает только назвать СССР «исчадием зла» и объявить «крестовый поход» коммунизму — и его хоть сажай в Пентагон, в Белый дом.

И еще одно нам показалось невероятным. Сахаров — ученый. Ему предметнее видно и лучше известно, какими могут стать последствия тех действий, к которым он призывает правительство страны, уже однажды испробовавшей на людях оружие массового уничтожения. Тогда США обрушили атомную смерть на японские города. Их правители хотели показать миру, и прежде всего нашей стране, какой силой они обладают. Сегодня Сахаров по существу призывает использовать чудовищную мощь ядерного оружия, чтобы вновь припугнуть советский народ, заставить нашу страну капитулировать перед американским ультиматумом. Да к какой стране и к какой «цивилизации» он себя относит и чего в конечном счете добивается? И неужели он не понимает, что наращивание вооружений, к которому он призывает, несет угрозу не только нашей стране, потерявшей в последней войне 20 миллионов человек, но всем без исключения народам, самой человеческой цивилизации?

И здесь мы начинаем думать о Сахарове уже не как об ученом. Что же он за человек, чтобы дойти до такой степени нравственного падения, ненависти к собственной стране и ее народу? В его действиях мы усматриваем также нарушение общечеловеческих норм гуманности и порядочности, обязательных, казалось бы, для каждого цивилизованного человека.

Мы знаем, что Сахаров ходит в больших друзьях у тех в Америке, кто хотел бы смести с лица земли нашу страну, социализм. Эти его друзья все время поднимают шум о «трагической судьбе Сахарова». Не хотим сейчас говорить об этом беспредельном лицемерии. Нет, наше государство, наш народ более чем терпимы по отношению к этому человеку, который спокойно проживает в городе Горьком, откуда и рассылает свои человеконенавистнические творения.

Вот что вспомнилось. Ровно тридцать лет назад, в такие же летние дни, в США произошло одно из самых несправедливых, постыдных

событий XX века. Власти Америки казнили тогда ученых Этель и Юлиуса Розенбергов. Казнили, основываясь на нелепых, гнусных обвинениях. «Улики» сфабриковали секретные службы США. А, между прочим, в отличие от Сахарова, который призывает к ядерному шантажу против собственной страны, фактически к созданию условий для применения против нас первыми ядерного оружия, Розенберги были не просто невинными людьми, ставшими жертвой безжалостного механизма американского «правосудия». Они еще и выступали за уничтожение смертоносного оружия. И вообще были честными, гуманными людьми.

Говорить о честности, когда человек по существу призывает к войне против собственной страны, трудно. Несколько столетий назад Эразм Роттердамский сказал, что лишь немногие, чье подлое благополучие зависит от народного горя, делают войны.

Дело, конечно, не в Эразме Роттердамском. А в том, что и в его времена порядочным, думающим людям ненависть не застилала глаза и они не теряли чести и совести.

Академики
А.А.Дородницын,
А.М.Прохоров,
Г.К.Скрябин,
А.Н.Тихонов.

Приложение № 4

ПИСЬМО КОЛЛЕГАМ-УЧЕНЫМ

Дорогие друзья!

Два года назад ваша поддержка сыграла большую роль в решении важной для меня проблемы выезда к мужу моей невестки Лизы Алексеевой. Сейчас я вновь обращаюсь к вам за помощью в исключительно важном для меня и трагическом деле. Я прошу вас помочь добиться разрешения на поездку за рубеж моей жены для лечения (в первую очередь, для лечения болезни сердца, непосредственно угрожающей ее жизни, а также для лечения и оперирования глаз) и для того, чтобы увидеть детей и внуков после почти пяти лет разлуки, увидеть и, возможно, привезти в СССР мать.

Лечение моей жены в СССР представляется нам опасным. Поверьте мне, это не мнительность, не агравация. На протяжении многих лет моя жена подвергается беспрецедентной клевете и самому жестокому давлению — непосредственно и через детей и внуков. Многократно имели место угрозы убить внуков. Шесть лет назад мы вынуждены были решиться на выезд за рубеж детей и внуков. Это — трагический разрыв семьи, тяжесть которого усугубляется почти полным отсутствием связи. После отъезда детей и — два года назад — Лизы Алексеевой единственным заложником моей общественной деятельности стала моя жена Елена Боннэр. На нее перекладывается ответственность за все мои выступления в защиту мира и прав человека. Но это только часть правды, как она мне, к сожалению, рисуется... КГБ очень высоко, по моему мнению, оценивает роль Елены в моей жизни и общественной деятельности и стремится к ее устранению — безусловно моральному и, я имею основания опасаться, физическому. Создалась беспреце-

дентная и невыносимо тяжелая ситуация. Очень важно, чтобы, думая и говоря о положении Сахарова, вы понимали эту ее узловую особенность.

Дискредитации моей жены служит кампания клеветы. Советская пропаганда именно ее выставляет подстрекательницей всех моих выступлений и сионистским агентом ЦРУ. Только в этом году это утверждение, одобренное самой подлой и изощренной клеветой о моральном облике и мифических прошлых преступлениях жены, повторено в трех публикациях общим тиражом более 10 миллионов экземпляров, так что прочли сенсационную ложь многие миллионы людей — это книга Н.Н.Яковлева «ЦРУ против СССР», 200 тысяч экземпляров*, его же статьи в популярных журналах «Смена», 1 миллион 170 тысяч экземпляров, и «Человек и закон», 8 миллионов 700 тысяч экземпляров. Выход статей Яковлева совпал по времени с публикацией в газете «Известия» письма от имени академиков А.А.Дородницына, А.М.Прохорова, Г.К.Скрябина, А.Н.Тихонова, в которой умышленно-провокационно искажена моя позиция по вопросам термоядерной войны, мира и разоружения; это тоже, вопреки здравому смыслу, оказалось грузом, «повешенным» на мою жену, используется для провоцирования всеобщей ненависти и травли. В тысячах писем, при встречах на улице, в поезде — соседи по купе и вагону — яростно обвиняют мою жену в том, что она сионистка, подстрекательница, предатель Родины, убийца.

Все это ей приходится выносить вскоре после инфаркта, происшедшего 25 апреля. Инфаркт был обширным, тяжелым, в дальнейшем имели место новые приступы, сопровождавшиеся расширением пораженной зоны. Состояние жены не нормализовалось до сих пор, является угрожающим. Последний самый тяжелый приступ произошел в октябре.

Наши попытки в мае-июне добиться совместной (ее и моей) госпитализации в больницу Академии наук СССР, что частично уменьшило бы вышеизложенные опасения, оказалось безрезультатными — несмотря на то, что прибывшая в Горький комиссия консультантов-медиков подтвердила, что я тоже по состоянию здоровья нуждаюсь в госпитализации. Моя жена осталась фактически вообще без медицинской помощи. У дверей квартиры в Москве (так же, как в Горьком) дежурят милиционеры; врачи, опасаясь за свое положение, боятся ее

* По сообщению журнала «В мире книг», к концу 1983 года ее тираж предполагалось довести до миллиона экземпляров. Книга, по-видимому, продолжает переиздаваться: так, она значилась в издательских планах Белорусского университетского издательства на 1986 год. Издана по-английски (М., «Прогресс», 1982).

посещать; квартирный телефон отключен с 1980 года, а телефон-автомат вблизи дома отключен сразу после инфаркта; несомненно, это не случайное совпадение; при внезапном приступе она даже не может вызвать «скорую помощь».

Я опасюсь — и мне кажется, имею на то основания, — что при госпитализации, в особенности без меня, но и при мне тоже, она может быть тем или иным способом доведена до смерти (конечно, эта опасность существует и дома). Но даже если эти опасения преувеличены, все равно ни о каком эффективном лечении в условиях массовой травли и непрерывного вмешательства КГБ не может быть и речи. В 1974 году, когда моя жена лежала в Московской глазной больнице, ей тайно передали совет немедленно выписаться ради сохранения жизни и здоровья. С тех пор ситуация обострилась многократно! Сейчас единственным приемлемым для нас решением является поездка жены за рубеж, только это может ее спасти. В сентябре 1982 года Елена Боннэр подала заявление о поездке. В 1982 настоятельно необходимой стала поездка для лечения и оперирования глаз. Эта необходимость полностью сохраняется до сих пор. Но после инфаркта на первое место вышло и стало совершенно неотложным лечение болезни сердца. Ответа на заявление нет до сих пор вопреки существующим правилам. 10 ноября 1983 года я послал письмо главе советского государства Ю.В.Андропову с просьбой о разрешении поездки моей жены.

Я обращаюсь ко всем моим коллегам за рубежом и в СССР, к общественным и государственным деятелям всех стран, к нашим друзьям во всем мире — спасите мою жену Елену Боннэр!

Андрей Сахаров

Ноябрь 1983 года
Горький

Приложение № 5

УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ В СТОКГОЛЬМЕ

Несомненно, участники этой представительной конференции уделят значительное внимание проблеме прав человека, глубоко связанной с международной безопасностью, в особенности судьбе узников совести.

Я вынужден сегодня обратиться к участникам конференции с просьбой по личной причине, имеющей для меня решающее значение. В сентябре 82 года моя жена Елена Боннэр подала заявление на поездку за рубеж для лечения и встречи с матерью, детьми и внуками. Она тяжело больна. К болезни глаз добавилась болезнь сердца: инфаркт в апреле 83 года с последующим расширением пораженной зоны в мае, июне и октябре. Положение ее угрожающее. Лечение моей жены в СССР в условиях тотальной травли, клеветы и непрерывного вмешательства КГБ не может быть эффективным и представляется нам опасным, фактически она оказалась лишенной какой-либо медицинской помощи. Только поездка для лечения за рубеж может спасти ее, а тем самым и меня, так как ее гибель была бы и моей.

10 ноября я послал письмо главе Советского государства Ю.В. Андропову с просьбой способствовать разрешению этого вопроса. Ни на заявление жены, ни на мое письмо нет никакого ответа. Два года назад международная поддержка помогла нашей борьбе за выезд к сыну невестки, ставшей заложником моей общественной деятельности. Сейчас я прошу вас поддержать еще более трудную, еще более трагическую, жизненно важную в личном и общественном плане борьбу за поездку жены. Тех, кто принимает участие в моей судьбе, кто желает мне помочь, я убедительно прошу сосредоточить все усилия именно на этом. Я прошу главы иностранных делегаций, прошу всех участни-

ков конференции поддержать мое обращение к Андропову в официальном, в том числе дипломатическом, порядке и в кулуарах конференции.

С глубоким уважением

Андрей Сахаров
Лауреат Нобелевской премии Мира

12 января 1984 года
Горький

Приложение №6

ПИСЬМО АМЕРИКАНСКОМУ ПОСЛУ АРТУРУ ХАРТМАНУ

Госдепартаменту США. Послу США в СССР

Я прошу Вас о предоставлении моей жене Е.Г.Боннэр временного убежища в посольстве США во время моей голодовки с требованием о разрешении ей поездки за рубеж для лечения и встречи с матерью, детьми и внуками. Я при этом не прошу о предоставлении моей жене политического убежища и не возлагаю на Вас ответственность за получение ею разрешения, хотя буду благодарен, если Вы сочтете возможным предпринять шаги в поддержку наших требований.

Два года назад, во время нашей совместной с женой голодовки за выезд невестки к мужу, мы были насильно госпитализированы и разлучены, помещены в разные больницы и ничего не знали друг о друге до последнего дня голодовки. Сейчас же положение гораздо более трудное и опасное. Во время моей голодовки Е.Г.Боннэр, если она не будет находиться в недоступном для КГБ месте, может стать жертвой ненависти КГБ, так сильно проявившейся в последние годы. Я опасаясь, что она подвергнется насильственной изоляции и бесследно исчезнет, возможно — погибнет. Именно поэтому я обращаюсь к Вам с просьбой о предоставлении ей временного убежища. Выбор именно посольства США не связан с какими-либо политическими расчетами; одна из причин — наличие в посольстве врача.

Я прошу Госдепартамент США и посла США в СССР, если Вы сочтете это возможным, сделать в первые дни нахождения моей жены в посольстве попытку разрешения вопроса о поездке через МИД СССР. Не имея других возможностей, я обращаюсь в Вашем лице также к МИД и послам в СССР других западных государств. Быть может, власти

СССР заинтересованы в том, чтобы не предавать это дело излишней огласке, и пойдут навстречу вашим ходатайствам. Если же благоприятного ответа не будет, или не будет никакого ответа в течение 5 дней с начала голодовки, я прошу предоставить моей жене возможность через иностранных корреспондентов в Москве обратиться за поддержкой к мировой общественности. Находясь в Горьком в строжайшей изоляции, я не могу сделать этого сам.

Я пишу это письмо в трагический момент нашей жизни. Я надеюсь на Ваше содействие.

С глубоким уважением

Андрей Сахаров

6 апреля 1984 года
г. Горький

Приложение № 7

ИЗ ПИСЬМА А.Д.САХАРОВА СЕМЬЕ В СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ

Дорогие Руфь Григорьевна, Таня, Алеша, Лиза, Рема! Целую вас. Позади почти два года жестоких испытаний и волнений для нас с Люсей и для вас. И все это время мы не имели «материальной» связи. Но вы сумели лучше, чем все остальные, понять, что происходит, и эта ваша интуиция, ваши умные действия спасли нас. Краткий рассказ о том, что вам не вполне известно или вовсе неизвестно. В 1984 году мы с Люсей боялись, что во время моей голодовки она окажется во власти КГБ. Я придумал план, согласно которому на время голодовки она просит о временном убежище в посольстве США. Люся очень колебалась и оттягивала начало действий, даже когда мы назначили срок в марте. Наконец, мы окончательно решились начать 13 апреля. 7 апр. она уехала. Но еще в марте я ушиб себе ногу банкой от мусора, и у меня развился гнойник на колене. Уже без Люси мне его вскрыли в поликлинике, но, видимо, недостаточно. 12 апр. ко мне приехали врачи и 13 апр. госпитализировали для нового вскрытия*. Люся прилетела 13 апр. (без вещей, без теплой одежды) по моей телеграмме от 12 апр., которую она получила за два часа до того, как за ней приехали из посольства. [...] На время, пока меня возили в больнице по врачам, я неосторожно отдал [...] сумку с документами, которую я всегда носил с собой. [...] Я упустил из виду, что не уничтожил черновик моего письма послу США. [...] Так КГБ стал известен мой план. Мы с Люсей понимали это. Но

* По-видимому, правильное 11 и 12 апреля соответственно. И в следующей фразе -- соответственно 12 и 11 апреля. — *Ред.*

[REDACTED]

[REDACTED]

уже не смогли отступить. 2 мая Люся пыталась вылететь в Москву, была задержана на аэродроме и обыскана. В руки КГБ опять попали документы, в том числе ее письмо вам. Люсе предъявлено обвинение по ст. 190-1, вы хорошо знаете ее дело, хотя до вас и не дошел окончательный текст моей надзорной жалобы). Еще до того, как она приехала домой, я начал голодовку, приняв слабительное. Вместе с Люсей в дом вошел начальник Обл. КГБ, произнесший «устрашающий» монолог, в котором назвал Люсю «агент ЦРУ Елена Боннэр». Дальнейшее вам в основном известно. 7 мая меня принудительно госпитализировали. 11 мая меня начали принудительно кормить (внутривенными вливаниями). В этот день у меня произошел микроинсульт (или сильный спазм сосудов головного мозга). 15 мая Люся получила телеграмму [...]. «Елена Георгиевна, мы, дети Андрея Дмитриевича, просим и умоляем вас сделать все возможное, чтобы спасти нашего отца от безумной затеи, которая может привести его к смерти. Мы знаем, что только один человек может спасти его от смерти — это вы. Вы мать своих детей и должны понять нас. В противном случае будем вынуждены обратиться в прокуратуру о том, что вы толкаете нашего отца на самоубийство. Другого выхода не видим, поймите нас правильно. Таня, Люба, Дима [...]». Эта жестокая, несправедливая по отношению к Люсе телеграмма доставила ей дополнительные страдания и волнения в ее и без того ужасном, почти непереносимом положении. Телеграмма давала «зеленый свет» любым действиям КГБ в отношении нас... Она явилась причиной того, что я не писал своим детям последующие полтора года, до ноября 1985 г.

О последующих событиях, о нашей неслыханной, беспрецедентной изоляции все эти полтора года расскажет вам Люся.

В ноябре 1984 года я переслал (не буду рассказывать как) письмо Александрову и в Президиум АН, в котором просил о помощи в деле поездки Люси. Я описывал пережитое во время насильственного кормления. В заключение я писал, что являюсь единственным академиком, жена которого подвергается массовой бессовестной клевете в печати, незаконно осуждена как уголовная преступница за действия, которые она совершала в качестве моей жены по моему полномочию, и за действия, которых она вообще не совершала, лишена возможности увидеть близких, лишена медицинской помощи. Я писал, что не хочу принимать участие во всемирном обмане и прошу считать мое письмо заявлением о выходе из АН, если моя просьба не будет удовлетворена (первоначальный срок 1 марта, затем изменил на 10 мая). 16 апр. 1985 я начал новую голодовку. 21 [апреля] меня насильственно госпитализировали — вновь в б[ольни]цу им.Семашко. Люся расскажет, как проходила эта (и другие) госпитализация. С этого дня и до 11 июля я подвергался принудительному кормлению. Часто (не всегда) в этот (и последующий) «заходы» мое сопротивление носило символический ха-

ракти. Иногда кормление было крайне мучительным. Меня связывали, мучительно — до синяков — надавливали на мышцы лица, раскрывали рот ложкой и вливали еду второй ложкой, зажимая нос руками или зажимом. Я неизменно отказывался от еды, если «кормящая бригада» приходила не в полном составе (или если я находился вне палаты — но дважды меня затаскивали в палату насильно с помощью гебистов).

Я не знал, что о голодовке известно за рубежом.

11 июля я не выдержал разлуку с Люсей и незнание, что с ней, и написал заявление о прекращении голодовки. В тот же день меня выписали, выписка была явно очень нужна ГБ перед Хельсинки. Две недели мы с Люсей вместе, это было «время жить», которое дало нам силы для нового «захода». 25 июля я вновь начал голодовку, 27 июля госпитализирован. За краткий период пребывания на воле был снят скрытой камерой известный вам фильм. Прекратил голодовку и выписан 23 сентября. 25 октября получено разрешение на поездку Люси.

Во время принуд[ительного] кормления мой вес постоянно падал. Норма моего веса 77-80 кг. Нач[альный] вес в апреле — 64 кг 300 г. При выписке 11 июля 65 кг 850 г. Миним[альный] вес при втором заходе — 62 кг 800 г (13 авг.). Начиная с этого дня мне стали делать подкожные — в бедра обеих ног — и внутривенные вливания р[аство]ра глюкозы и белковых препаратов (аминокровина, гидролизина, альбумина). Подкожных влив[аний] было 15, а внутривенных 10. Объем вливаний был очень большим, ноги вздувались как подушки и болели.

Самая жестокая мера по отношению к нам — 10-месячная разлука, изоляция друг от друга. Особенно тяжело, непереносимо было Люсе в ее одиночке! Она (я говорю о 1985 г.) не держала голодовки, но похудела больше, чем я. Эти 10 месяцев — вычеркнутое из нашей жизни время, его как бы не было.

В марте 1985 г. Люся подала в Президиум Верх[овного] Совета СССР прошение о помиловании, с просьбой разрешить ей поездку. В 1984 и особенно в 1985 году я писал много писем руководителям страны и в КГБ, в том числе 21 мая 1985 г. Чебрикову и 29 июля 1985 г. Горбачеву. Я указывал на причины, по которым поездка Люси жизненно необходима, на ее право увидеть мать, детей, внуков. Подчеркивая, что она является инвалидом 2-й гр[уппы] и участником ВОВ [Великой Отечественной войны] все 4 года, тяжело больным человеком, объяснял незаконность ее осуждения. Далее я писал: «Влияние жены в моей общ[ественной] деятельности сказалось в большем внимании к конкретным человеческим судьбам, в усилении гуманистической направленности, но никак не на концепциях по общим вопросам... Я готов нести ответственность за свои действия — хотя и считаю примененные ко мне меры несправедливыми и незаконными. Но для меня совершенно нетерпимо положение, когда ответственность за мои действия переносится на мою

жену». Я писал, что «хочу полностью прекратить открытые общественные выступления (конечно, кроме совершенно исключительных ситуаций), сосредоточившись на научной работе. В случае положительного решения о поездке жены я готов обратиться к западным ученым, ко всем тем, кто выступал в мою защиту, с просьбой прекратить все действия, направленные на изменение моего положения».

Дважды (31 мая 1985 г. и 5 сент. 1985 г.) в больницу ко мне приезжал представитель КГБ СССР С.И.Соколов (видимо, большой начальник). В мае он также беседовал с Люсей. Беседа со мной имела жесткий характер, он подчеркивал причины, по которым моя просьба о поездке Люси (а также о поездке детей в СССР) не может быть удовлетворена. Он также давал понять, что я должен дезавуировать свои прежние выступления — в частности, письмо Дреллу, о взрыве в моск[овском] метро, о конвергенции. Два дня перед этим визитом у меня была полная голодовка, кормления не было — так меня «готовили» к беседе. В сентябре Соколов сообщил, что с моим письмом ознакомился Горбачев и дал поручение группе лиц подготовить ответ. Соколов просил меня написать заявление по вопросу о моей секретности и передать жене просьбу написать заявление, согласно которому она обязуется не встречаться за рубежом с представителями масс-медиа и не принимать участия в пресс-конференциях. Меня отпустили на 3 часа к Люсе, и мы выполнили эти просьбы. Я написал, что признаю обоснованность отказа мне в разрешении выезда или поездки за пределы СССР, т.к. в прошлом я имел доступ к особо важным секретным сведениям военного характера, некоторые из которых сохранили, возможно, свое значение до сих пор (обращаю внимание, что эта формулировка, так же, как соответствующая формулировка в письме Горбачеву, не имеет отношения к моей депортации в Горький и изоляции, которые я считаю несправедливыми и незаконными). После второго визита Соколова было еще 48 томительных дней и ночей ожидания... Остальное вы знаете.

[...] У меня такое чувство, как бы я тоже вместе с Люсей иду к вам, погружаюсь в пеструю насыщенную событиями вашу жизнь. Надеюсь, что теперь она войдет в более спокойное, более «семейное» русло. Я надеюсь, что Люсе сделают все необходимое, включая сердце, глаза, зубы, папилому, и что она вернется более здоровой и более спокойной за вас. Целую вас, будьте здоровы и счастливы. Целуйте детей.[...]

Андрей.

P. S. Алеша, в препринте моей статьи «Косм[ические] переходы с изменением сигнатуры метрики» опущено посвящение Люсе. Как это произошло? Можно ли в некоторых рассылаемых адресатам препринтах восстановить посвящение? Для меня это было бы очень важно.

Приложение № 8

Старшему помощнику прокурора Горьковской области
Колесникову Г.П.
Председателю суда по делу Е.Г. Боннэр

ЗАЯВЛЕНИЕ

Общественная деятельность моей жены Е.Г. Боннэр, отношение к ней властей, ее положение в обществе, начиная с 1971-72 годов, в значительной степени определяются тем, что она стала моей женой. В частности, я имею основания полагать, что инкриминируемые ей действия она совершала прямо или косвенно по моему полномочию в качестве лица, представляющего меня. Поэтому я считаю следствие и обвинение моей жены независимо от меня неправомерным. Я прошу включить меня в это дело, чтобы я мог принять на себя свою долю ответственности.

Дополнительно прошу, если дело уже передано в суд, вызвать меня в суд в качестве свидетеля и в качестве ближайшего родственника. Мое нахождение в данный момент в больнице в силу удовлетворительного состояния моего здоровья не может явиться препятствием к вызову меня в суд.

А. Сахаров

1 августа 1984 г.
Горький, Областная клиническая
больница им. Семашко, палата 310,
Кардиологическое отделение

Приложение № 9

Президенту АН СССР акад. А.П.Александрову Членам Президиума АН СССР

Глубокоуважаемый Анатолий Петрович!

Я обращаюсь к Вам в самый трагический момент своей жизни. Я прошу Вас поддержать просьбу о поездке моей жены Елены Георгиевны Боннэр за рубеж для встречи с матерью, детьми и внуками и для лечения болезни глаз и сердца. Ниже постараюсь объяснить, почему поездка жены стала для нас абсолютно необходимой. Беспрецедентный характер нашего положения, созданная вокруг меня и вокруг моей жены обстановка изоляции, лжи и клеветы вынуждают писать подробно; письмо получилось длинным, прошу извинить меня за это.

Мои общественные выступления — защита узников совести, статьи и книги по общим вопросам сохранения мира, открытости общества и прав человека (основные из них: «Размышления о прогрессе» — 1968 год, «О стране и мире» — 1975 год, «Опасность термоядерной войны» — 1983 год) вызывают большое раздражение властей. Я не собираюсь защищать или объяснять здесь свою позицию. Подчеркну только, что должен нести единоличную ответственность за все свои действия, продиктованные сложившимися на протяжении всей жизни убеждениями. Однако с того момента, как в 1971 году Елена Боннэр стала моей женой, КГБ осуществляет коварное и жестокое решение «проблемы Сахарова» — переложить ответственность за мои действия на нее, устранить ее морально и физически, сломить тем самым и подавить меня, представить в то же время невинной жертвой происков жены (агента ЦРУ, сионистки, корыстолюбивой авантюристки и т.д.).

Если раньше можно было еще сомневаться в сказанном, то массированная кампания клеветы против жены в 1983 году (в 11 млн. экз.) и в 1984 году (две статьи в «Известиях») и особенно действия КГБ против нее и меня в 1984 году, о которых я рассказываю ниже, не оставляют в этом сомнения.

Моя жена Елена Георгиевна Боннэр родилась в 1923 году. Ее родители, активные участники революции и гражданской войны, репрессированы в 1937 году. Отец (первый секретарь ЦК партии большевиков Армении, член Исполкома Коминтерна) погиб, мать многие годы провела в лагере и ссылке, как ЧСИР (член семьи изменника родины). С первых дней Великой Отечественной войны и до августа 1945 года жена в армии — сначала санинструктор, после ранения и контузии — старшая медсестра санпоезда. Результат контузии — тяжелая болезнь глаз. Жена — инвалид Великой Отечественной войны II группы (по зрению). Всю дальнейшую жизнь она тяжело больна — но это напряженная трудовая жизнь — ученье, работа врача и педагога, семья, деятельная помощь тем, кто в этом нуждается, — близким и далеким людям, уважение и любовь окружающих. Когда наши жизненные пути слились, судьба ее круто меняется. В 1977-78 годах вынуждены эмигрировать в США дети жены Татьяна и Алексей (я считаю их и своими детьми) и наши внуки, после пяти лет притеснений, многократных угроз убийства ставшие фактически заложниками. Произошел трагический разрыв семьи, тяжесть которого усугубляется тем, что мы лишены нормальной почтовой, телеграфной и телефонной связи. С 1980 года в США находится мать жены — сейчас ей 84 года. Увидеть своих близких — неотъемлемое право каждого человека, в том числе и моей жены!

Еще в 1974 году на основании многих фактов нам стало ясно, что никакое эффективное лечение жены в СССР невозможно, более того — **опасно**, так как оно неизбежно проходит в условиях непрерывного вмешательства КГБ, а теперь также — всеобщей организованной травли. Подчеркну, что эти опасения относятся к лечению именно жены, а не меня. Но они убедительно подтверждаются тем, что делали, подчиняясь КГБ, медики со мной во время 4-месячного вынужденного пребывания в больнице в Горьком, об этом ниже.

В 1975 году, при поддержке мировой общественности, моей жене были разрешены поездки в Италию для лечения глаз (как я предполагаю — по указанию Л.И.Брежневa). Жена ездила в Италию в 1975, 1977 и 1979 годах, лечилась и дважды оперировалась по поводу некомпенсированной глаукомы в Сиене у проф. Фреззотти. Естественно, она должна продолжать лечиться и оперироваться у него же. В 1982 году возникла настоятельная необходимость новой поездки. В сен-

тябре 1982 года жена подала заявление о поездке в Италию для лечения. Обычный срок рассмотрения подобных заявлений — несколько недель, не более пяти месяцев. Жена не получила ответа до сих пор, прошло уже два года.

В апреле 1983 года у моей жены Е.Г.Боннэр произошел обширный крупноочаговый инфаркт (подтвержден справкой лечебного отделения Академии по запросу следственных органов). Состояние ее не нормализовалось до сих пор, имели место многочисленные повторные приступы, сопровождавшиеся расширением пораженной зоны (некоторые из них подтверждены обследованиями врача Академии, в том числе в марте 1984 года). Последний очень тяжелый приступ имел место в августе 1984 года.

В ноябре 1983 года я подал заявление на имя тов. Ю.В. Андропова, а в феврале 1984 — аналогичное заявление на имя тов. К.У. Черненко. В этих заявлениях я просил дать указание о разрешении поездки жены. Я писал: «Поездка... для встречи с матерью, детьми и внуками и... лечения стала для нас вопросом жизни и смерти. Поездка не имеет никаких других целей, кроме указанных выше. Я заверяю Вас в этом».

В сентябре 1983 года я пришел к выводу, что решение вопроса о поездке невозможно без голодовки (так же, как ранее решение о выезде к сыну невестки Лизы Алексеевой). Жена понимала, что бездействие для меня тяжелее всего. Однако она долго оттягивала начало голодовки. Фактически голодовку я начал в качестве прямой реакции на действия властей.

30 марта 1984 года меня вызвали в ОВИР Горьковской области. Представитель ОВИРа заявила: «По поручению ОВИР СССР сообщая Вам, что Ваше заявление рассматривается. Однако ответ будет сообщен Вам после Первого мая».

2 мая жена улетала в Москву. Из окна аэропорта я увидел, что ее задержали у самолета и увезли в милицейской машине. Приехав в квартиру, я выпил слабительное, начав тем самым голодовку с требованием поездки жены. Через час приехала жена, одновременно с ней начальник обл. КГБ, произнесший устрашающую речь, в которой назвал мою жену агентом ЦРУ. Жене в аэропорту был сделан личный обыск и предъявлено обвинение по статье 190-1 УК РСФСР, взята подписка о невыезде. Это и был обещанный мне ответ на заявление о поездке! В течение последующих месяцев жену регулярно (3-4 раза в неделю) вызывали на допросы. 9-10 августа состоялся суд, приговоривший ее к 5 годам ссылки, 7 сентября выездная сессия Верховного суда РСФСР (Верховный суд — спецгруппа — специально приехал в Горький) на

кассационном заседании оставила приговор в силе. Местом отбывания ссылки назначен г. Горький, т.е. вместе со мной, что создает видимость гуманности. На самом же деле это замаскированное убийство!

Несомненно, вся затея с обвинением и осуждением жены осуществлена КГБ главным образом для того, чтобы максимально затруднить единственно правильное решение о поездке жены. Дело жены, представленное в обвинительном заключении и приговоре, является типичным для судимых по этой статье примером судебного произвола и несправедливости, при этом в особенно обнаженной форме. Статья 190-1 УК РСФСР инкриминирует распространение заведомо ложных, клеветнических измышлений, порочащих советский общественный и государственный строй (по смыслу статьи — утверждений, **ложность** которых ясна обвиняемому; однако в известной мне судебной практике, в том числе в деле жены, речь идет об утверждениях, **истинность** которых несомненна для обвиняемых, т.е. об их **убеждениях**). В большинстве из 8 пунктов обвинения жене фактически ставится в вину цитирование **моих** высказываний (даваемых в обвинительном заключении и приговоре в отрыве от контекста). Все эти высказывания касаются второстепенных вопросов, гораздо менее существенных, чем основная идея обсуждения у меня или у жены. Например, по ходу изложения в книге «О стране и мире» я объяснял, что такое сертификаты, и заметил, что в СССР существуют два рода денег (или более). Это (вполне бесспорное) высказывание было упомянуто женой на одной из пресс-конференций в Италии в 1975 году и инкриминировано жене как клеветническое. На самом деле все принадлежащие мне высказывания следовало бы инкриминировать во всяком случае не жене, а мне. Жена, действуя в соответствии со своими убеждениями, выступала моим представителем.

Один из пунктов обвинения использует эмоциональное высказывание жены во время неожиданного для жены прихода к ней французского корреспондента 18 мая 1983 года — **через три дня после того, как у жены был диагностирован крупноочаговый инфаркт миокарда**. Как Вам известно, в 1983 году мы безуспешно добивались совместной госпитализации в больницу АН. Корреспондент спросил: «Что будет с вами?» Жена воскликнула: «Не знаю, по-моему, нас убивают». Ясно, что речь не шла об убийстве пистолетом или ножом. А оснований для слов об убийстве косвенном (жены, во всяком случае) было более чем достаточно.

Другой (важный в системе обвинения) пункт — о якобы осуществленном женой в 1977 году изготовлении и распространении одного из документов Московской Хельсинкской группы — основан на явном

лжесвидетельстве и полностью опровергнут адвокатом на основании рассмотрения хронологии событий. Свидетель заявил на суде, что один из членов Хельсинкской группы сказал ему о **вывозе** женой в 1977 году документа группы. Но сам свидетель был арестован 16 августа этого года до отъезда жены в Италию 5 сентября и поэтому никак не мог после отъезда жены встречаться с кем-либо «с воли». В ходе допроса свидетель ответил, что он «узнал» о вывозе документа в июле или начале августа, т.е. заведомо до отъезда жены. Кроме того, суд и обвинительное заключение не привели доказательств того, что документ был составлен до отъезда жены (на документе не проставлена дата, что само по себе лишает его юридического значения), и вообще не привели каких-либо подтверждений истинности голословного утверждения свидетеля, к тому же ссылающегося на слова другого человека, в том же, 1977-м, году уехавшего из СССР. Этот эпизод вопреки логике оставлен в приговоре и определении кассационного суда. Отказавшись же от этого пункта обвинения, кассационный суд был бы вынужден отменить весь приговор, в частности, потому, что отпадает единственное свидетельское показание во всем деле, и, в частности, отменить, за давностью и отсутствием непрерывности, эпизоды обвинения, относящиеся к 1975 году. Но важнее всего, что **все** пункты обвинения не имеют никакого юридического отношения к содержанию статьи 190-1 (предполагающей, как я сказал, заведомую клевету).

Ссылка жены фактически привела для нее к гораздо более тяжелым ограничениям, чем это предусмотрено законом, — к прекращению всех возможностей связи с матерью и детьми, к полной изоляции от друзей, к еще большему уменьшению возможностей эффективного лечения, к фактической конфискации нашего имущества в московской квартире, ставшего для нас недоступным, к потере московской квартиры (замечу, что эта квартира была предоставлена матери жены в 1956 году, после ее реабилитации и посмертной реабилитации мужа).

В приговоре жены совершенно отсутствуют те обвинения, которые выставляются против нее в прессе, — ее мнимые преступления в прошлом, ее «моральный облик», ее «связи» с иностранными спецслужбами — эти обвинения не упоминались на суде вообще. Ясно, что это просто клевета для публики, для презируемого дирижерами от КГБ «быдла». Последняя статья этого рода — в «Известиях» от 21 мая. В ней настойчиво проводится мысль, что жена все время стремится к выезду из СССР — «хоть через труп мужа», уже в 1979 году хотела остаться в США, но ей «отсоветовали» (по контексту — спецслужбы США). Вся трагическая и героическая жизнь жены со мной, принес-

шая ей столько потерь и страданий, опровергает эту инсинуацию. Замечу, что и до замужества со мной жена много раз бывала за рубежом — в Ираке (год работы по оспопрививанию), в Польше, во Франции — и никогда не помышляла стать невозвращенцем. На самом деле именно КГБ больше всего хотело бы, чтобы жена бросила меня — это было бы наилучшей демонстрацией правоты их клеветы. Но вряд ли они надеются на это, они «психологи». Статью от 21 мая от меня тщательно скрывали — я думаю, чтобы не укрепить в мысли о необходимости добиться победы до встречи с женой, чтобы на нее не пала ответственность за мою голодовку.

Четыре месяца — с 7 мая по 8 сентября — жена и я были полностью изолированы друг от друга и от всего внешнего мира. Жена находилась совершенно одна в пустой квартире, под усиленной «охраной». Кроме обычного милиционера у входной двери, круглосуточно действовало несколько постов наружного наблюдения, к лоджии пригнали специальный вагончик, в котором постоянно дежурили сотрудники КГБ. Вне дома ее сопровождали две машины с сотрудниками КГБ, пресекавшими возможность даже самого «невинного» контакта с кем-либо на улице. Ее не подпускали к зданию областной больницы, где находился я. 7 мая, когда я провожал жену на очередной допрос, в здании прокуратуры меня схватили переодетые в медицинские халаты сотрудники КГБ и с применением физической силы доставили в Горьковскую областную клиническую больницу им. Семашко. Там меня насильно держали и мучили четыре месяца. Попытки бежать из больницы неизменно пресекались сотрудниками КГБ, круглосуточно дежурившими на всех возможных путях побега.

С 11 мая по 27 мая я подвергался мучительному и унижительному принудительному кормлению. **Лицемерно все это называлось спасением моей жизни, фактически же врачи действовали по приказу КГБ, создавая возможность не выполнить мое требование разрешить поездку жены!**

Способы принудительного кормления менялись — отыскивался самый трудный для меня способ, чтобы заставить меня отступить. 11-15 мая применялось внутривенное вливание питательной смеси. Меня валили на кровать и привязывали руки и ноги. В момент введения в вену иглы санитары прижимали мои плечи. 11 мая (в первый день) кто-то из работников больницы сел мне на ноги. 11 мая до введения питательной смеси мне ввели в вену какое-то вещество малым шприцем. Я потерял сознание (с непроизвольным мочеиспусканием). Когда я пришел в себя, санитары уже отошли от кровати к стене. Их фигуры показались мне страшно искаженными, изломанными (как на экране телевизора при сильных помехах). Как я узнал потом, эта зритель-

ная иллюзия характерна для спазма мозговых сосудов или инсульта. У меня сохранились черновики записок к жене, написанных в больнице (почти все эти записки, кроме совершенно не информативных, не были переданы жене, так же, как и ее записки мне и посланные ею книги). В моей записке от 20 мая (первой после начала принудительного кормления) так же, как еще в одном черновике того же времени, бросается в глаза дрожащее, изломанное написание букв, а также двукратное повторение букв во многих словах (в основном гласных — «руука» и т.п.). Это тоже очень характерный признак спазма мозговых сосудов или инсульта, носящий объективный и документальный характер. В более поздних записках повторения букв нет, но сохраняется симптом дрожания. Записка от 10 мая (до начала принудительного кормления, 9-й день голодовки) — совершенно нормальная. Я очень смутно помню свои ощущения периода принудительного кормления (в отличие от периода 9-10 мая). В записке от 20 мая написано: «Хожу еле-еле. Учусь». Как видно из всего вышесказанного, спазм (или инсульт?) 11 мая не был случайным — это прямой результат примененных ко мне медиками (по приказу КГБ) мер!

16-24 мая применялся способ принудительного кормления через зонд, вводимый в ноздрю. Этот способ кормления был отменен 25 мая якобы из-за образования язвочек и пролежней по пути введения зонда; на самом же деле, как я думаю, из-за того, что способ был для меня слишком легким, переносимым (хотя и болезненным). В лагерях этот способ применяют месяцами, даже годами.

25-27 мая применялся наиболее мучительный и унижительный, варварский способ. Меня опять валили на спину на кровать, без подушки, привязывали руки и ноги. На нос надевали тугой зажим, так что дышать я мог только через рот. Когда же я открывал рот, чтобы вдохнуть воздух, в рот вливалась ложка питательной смеси или бульона с протертым рисом. Иногда рот открывался принудительно, рычагом, вставленным между деснами. Чтобы я не мог выплюнуть питательную смесь, рот мне зажимали, пока я ее не проглочу. Все же мне часто удавалось выплюнуть смесь, но это только затягивало пытку. Особая тяжесть этого способа кормления заключалась в том, что я все время находился в состоянии удушья, нехватки воздуха (что усугублялось плохим положением тела и головы). Я чувствовал, как бились на лбу жилки, казалось, что они вот-вот разорвутся. 27 мая я попросил снять зажим, обещав глотать добровольно. К сожалению, это означало конец голодовки (чего я тогда не понимал). Я предполагал потом, через некоторое время (в июле или в августе), возобновить голодовку, но все время откладывал. Мне оказалось психологически трудным вновь обречь себя на длительную — бессрочную — пытку удушья. Гораздо легче продолжать борьбу, чем возобновлять.

Очень много сил отнимали у меня в последующие месяцы утомительные и совершенно бесплодные «дискуссии» с соседями по палате. Я был помещен в двухместной палате, меня не оставляли наедине, это явно тоже была часть комплексной тактики КГБ. Соседи менялись, но все они всячески пытались внушить мне, какой я наивный и доверчивый человек и какой профан в политике (в обрамлении лести, какой я ученый). Жестоко мучила почти полная бессонница — от перевозбуждения после разговоров и еще больше от ощущения трагичности нашего положения, от тревожных мыслей о тяжело больной жене (фактически — по меркам обычной жизни — полупостельной и зачастую просто постельной больной), оставшейся в одиночестве и изоляции, от горьких упреков самому себе за допущенные ошибки и слабость. В июне и июле мучили сильнейшие головные боли после устроенного медиками спазма (инсульта?).

Я не решался возобновить голодовку, в частности опасаясь, что не сумею довести ее до победы и только отсрочу встречу с женой (что все равно нам предстояла четырехмесячная разлука, я не мог предположить).

В июне я обратил внимание на сильное дрожание рук. Невропатолог сказал мне, что это — болезнь Паркинсона. Врачи стали настойчиво внушать мне, что возобновление голодовки неминуемо приведет к быстрому катастрофическому развитию болезни Паркинсона (клиническую картину последних стадий этой болезни я знал из книги, которую мне дал «для ознакомления» главный врач; это тоже был способ психологического давления на меня). В беседе со мной главный врач О.А. Обухов сказал: «Умереть вам мы не дадим. Я опять назначу женскую бригаду для кормления с зажимом, у нас есть и кое-что еще. Но вы станете беспомощным инвалидом» (кто-то из врачей пояснил: не сможете даже сами надеть брюки). Обухов дал понять, что такой исход вполне устраивает КГБ, который даже ни в чем нельзя будет обвинить (болезнь Паркинсона привить нельзя).

То, что происходило со мной в Горьковской областной больнице летом 1984 года, разительно напоминает сюжет знаменитой антиутопии Орвелла, по удивительному совпадению названной им «1984 год». В книге и в жизни мучители добивались предательства любимой женщины. Ту роль, которую в книге Орвелла играла угроза клетки с крысами, в жизни заняла болезнь Паркинсона.

Я решился на возобновление голодовки, к сожалению, лишь 7 сентября, а 8 сентября меня срочно выписали из больницы. Передо мной встал трудный выбор — прекратить голодовку, чтобы увидеть жену после четырех месяцев разлуки и изоляции, или продолжать голодовку,

насколько хватит сил, — при этом наша разлука и полное незнание того, что делается с другим, продолжатся на неопределенное время. Я не смог принять второе решение, но сейчас жестоко мучаюсь тем, что, может быть, упустил шанс спасения жены. Только встретившись с женой, я узнал, что суд уже состоялся и его подробности, она же — что я подвергался мучительному принудительному кормлению.

Особенно меня волнует состояние здоровья жены. Я думаю, что единственная возможность спасения жены — скорая поездка за рубеж. Ее гибель была бы и моей гибелью.

Сегодня моя надежда — на Вашу помощь, на Ваше обращение в самые высокие инстанции для получения разрешения на поездку жены.

Я прошу о помощи Президиум Академии наук СССР и лично Вас как Президента Академии и как человека, лично знавшего меня многие годы.

Так как жена осуждена на ссылку, то ее поездка, вероятно, возможна только в том случае, если Президиум Верховного Совета СССР своим указом приостановит на время поездки действие приговора (подобный прецедент имел место в Польше и в самое последнее время — в СССР) или Президиум Верховного Совета или другая инстанция вообще отменит приговор, с учетом того, что жена — инвалид Великой Отечественной войны II группы, перенесла крупноочаговый инфаркт миокарда, ранее не судима, имеет 32-летний стаж безупречной трудовой деятельности. Этих аргументов должно быть достаточно для Президиума Верховного Совета; для Вас же добавлю, что жена осуждена несправедливо и незаконно, даже с чисто формальной точки зрения, фактически за то, что она — моя жена и ее не хотят пустить за рубеж.

Я повторяю свое заверение, что поездка не имеет никаких других целей, кроме лечения и встречи с матерью, детьми и внуками, в частности, не имеет целей изменения моего положения. Жена может со своей стороны дать соответствующие обязательства. Она может также дать обязательства не разглашать подробности моего пребывания в больнице (если это условие будет нам поставлено).

Я — единственный академик в истории АН СССР и России, чья жена осуждена как уголовная преступница, подвергается массированной и подлой, провокационной публичной клевете, фактически лишена медицинской помощи, лишена связи с матерью, детьми и внуками. Я единственный академик, ответственность за действия которого перекладываются на жену. Это мое положение — ложное, оно абсолютно непереносимо для меня. Я надеюсь на Вашу помощь.

Если же Вы и Президиум АН СССР не сочтете возможным поддержать мою просьбу в этом самом важном для меня трагическом деле о поездке жены или если ваши ходатайства и другие усилия не приведут к решению проблемы до 1 марта 1985 года — **я прошу рассматривать это письмо как заявление о выходе из Академии наук СССР.**

Я отказываюсь от звания действительного члена АН СССР, которым я при других обстоятельствах мог бы гордиться. Я отказываюсь от всех прав и возможностей, связанных с этим званием, в том числе от зарплаты академика, что существенно, ведь у меня нет никаких сбережений.

Я не могу, если жене не будет разрешена поездка, продолжать оставаться членом Академии наук СССР, не могу и не должен принимать участие в большой всемирной лжи, частью которой является мое членство в Академии.

Повторяю, я надеюсь на вашу помощь.

С уважением

А. Сахаров

P.S. Если это письмо будет перехвачено КГБ, я, **тем не менее, выйду из Академии наук СССР.** Ответственность за это ляжет на КГБ.

Замечу, что ранее (во время голодовки) я послал Вам 4 телеграммы и письмо.

P.P.S. Письмо написано от руки, т.к. пишущие машинки (так же, как многое другое — книги, дневники, рукописи, фотоаппарат, киноаппарат, магнитофон, радиоприемник) отобраны при обыске.

P.P.P.S. Прошу подтвердить получение Вами этого письма.

Приложение № 10

Прокурору РСФСР
от Сахарова Андрея Дмитриевича,
академика;
Горький-137, просп. Гагарина, 214, кв. 3

ЖАЛОБА В ПОРЯДКЕ НАДЗОРА

по делу Боннэр Елены Георгиевны, моей жены, осужденной по ст. 190-1 УК РСФСР с применением ст. 43 УК РСФСР на 5 лет ссылки приговором Горьковского областного суда от 10 августа 1984 года, оставленным без изменения Судебной коллегией по уголовным делам Верховного суда РСФСР от 7 сент.

1 августа 1984 года я направил заявление на имя следователя и председателя суда по делу моей жены Боннэр Е.Г., копия заявления прилагается. Я настаиваю на утверждениях и просьбах, содержащихся в этом заявлении. От следователя, старшего помощника прокурора Горьковской области Г.П. Колесникова, я получил ответ, согласно которому мое заявление передано в Судебную коллегию по уголовным делам Горьковского областного суда. Однако мое заявление не приобщено к судебному делу Е.Г. Боннэр, содержащиеся в нем просьбы судом не рассматривались. Все это является серьезным процессуальным нарушением. Я не был вызван в суд по делу моей жены в качестве свидетеля, а также не был предупрежден о дате суда. Таким образом, никто из родственников (а также друзей и знакомых) жены

не имел возможности присутствовать на суде, что представляет собой нарушение принципа гласности. Процессуальным нарушением является также проведение суда и (по моему мнению) следствия в г. Горьком, поскольку моя жена до предъявления ей обвинения и взятия подписки о невыезде из Горького проживала в г. Москве по адресу: ул. Чакова, д. 486, кв. 68, и поскольку ни один из инкриминируемых ей эпизодов не имел отношения к г. Горькому.

Обвинительное заключение, приговор и определение кассационного суда по делу моей жены не являются, по моему мнению, обоснованными, содержат фактические и концептуально неправильные утверждения и оценки, пристрастны и необъективны. По одному из центральных эпизодов обвинение, как я утверждаю, основано на лжесвидетельстве.

Я начну с обсуждения этого эпизода, для которого обвинительное заключение и суд первой и второй инстанций не доказали самого факта инкриминируемых действий и уклонились от обсуждения неопровержимых, по моему мнению, доводов защитника и подсудимого.

Моей жене инкриминировано участие в составлении и распространении документа Московской Хельсинкской группы, озаглавленного «Итоговый документ к Совещанию в Белграде». Как написано в обвинительном заключении, приговоре и определении кассационного суда, участие в составлении и распространении подтверждается показаниями Ф. Сереброва; участие в составлении подтверждается также наличием подписи моей жены в опубликованном в печати (в издательстве «Хроника-Пресс» в Нью-Йорке) тексте документа. Кроме этой публикации, никаких других доказательств участия моей жены в составлении и распространении не имеется. Суду не был представлен подлинник документа, под которым была бы собственноручная подпись жены. Не доказано, что документ был составлен до отъезда Е.Г. Боннэр в Италию (в опубликованном тексте не указана дата составления документа, что само по себе лишает его юридического значения). На суде Е.Г. Боннэр заявила, что она узнала о существовании документа, уже находясь в Италии, по телефону, и по телефону же дала согласие поставить свою подпись под документом. Приговор и определение не приводят контраргументов этому показанию моей жены и даже не упоминают о нем, используя из него только то, что Боннэр подтвердила свою подпись.

Особенно существенна полная несостоятельность ссылки на показания Ф. Сереброва, поскольку это единственный аргумент, якобы доказывающий участие Е.Г. Боннэр в распространении документа, и вообще единственные свидетельские показания, на которые ссылается приговор и определение кассационного суда во всем деле моей

жены. Свидетель Ф. Серебров в суде утверждал, что П.Г. Григоренко (один из членов Московской Хельсинкской группы) сказал ему, что Е.Г. Боннэр вывезла в Италию «Итоговый документ к Совещанию в Белграде», в составлении которого она принимала участие. Но это явное лжесвидетельство, во всяком случае, в вопросе распространения. Моя жена Е.Г. Боннэр выехала для лечения в Италию 5 сентября 1977 года. Ф. Серебров был арестован 16 августа* 1977 года, за 20 дней до отъезда жены, что подтверждается имеющимися в деле документами. Ф. Серебров после своего ареста никогда не видел П.Г. Григоренко, выехавшего из СССР в ноябре того же года. Это хронологическое несоответствие подробно обсуждалось в судебном заседании суда 1-й инстанции. На прямой вопрос адвоката Резниковой свидетелю Сереброву, как объяснить указанное несоответствие, Серебров не мог ничего ответить и просто промолчал. В кассационном выступлении адвоката и в кассационной жалобе вновь подчеркнуто, что Григоренко никак не мог до 16 августа говорить о вывозе моей женой какого-либо документа 5 сентября. Но вся эта дискуссия (устная и письменная) полностью проигнорирована в приговоре и определении Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РСФСР. В определении даже не упомянуто, что адвокат Резникова оспаривала показания Ф. Сереброва в части, касающейся распространения «Итогового документа к Совещанию в Белграде». Я рассматриваю вышесказанное как проявление необъективности и предвзятости судов первой и второй инстанций и как основание для опротестования приговора.

Статья 190-1 УК РСФСР инкриминирует «распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский общественный и государственный строй». Законодатель не уточняет, должны ли эти утверждения («измышления») быть заведомо ложными для обвиняемого в момент акта распространения или же их ложность должна быть ясна только для членов суда. Поскольку взгляды и оценки членов суда могут существенно отличаться от взглядов обвиняемого в силу различной доступной им информации и по идеологическим причинам, этот вопрос очень важен для практического применения статьи 190-1. Если исходить из того, что статья 190-1 не предусматривает уголовного преследования за убеждения, то несомненно, что правильна первая трактовка и суд должен обязательно доказать, что обвиняемый (подсудимый) сознательно распространял ложь, т.е. не просто ложные утверждения, а такие, ложность которых была ему очевидна. Такая точка зрения, в частности, отражена в Комментарий к Уголовному кодексу РСФСР (издательство «Юридическая литература», 1971, ред.

* Правильнее, 22 августа (см. стр.75). — Ред.

проф. Анашкин, проф. Карпец, проф. Никифоров, стр. 403-404, пп. 2 и 9а). Но в определении суда 2-й инстанции по делу моей жены мы, напротив, читаем: «Ознакомление с **содержанием** (выделено мной. — А.С.) интервью, данных осужденной, и подписанных ею документов свидетельствуют о том, что они содержат заведомо ложные измышления, порочащие советский государственный и общественный строй». Т.е. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РСФСР (так же, как суд 1-й инстанции) вообще не считает необходимым доказывать, что моя жена распространяла ложь, таким образом, фактически эти суды стоят на позиции **преследования за убеждения**.

Я прошу прокурора РСФСР обратить особое внимание на это обстоятельство. Я считаю, что столь неправильная трактовка статьи 190-1 является безусловным основанием для отмены приговора.

В определении по делу моей жены утверждается, что «нарушение прав человека в отношении конкретных лиц, на которые указывала Боннэр, не имело места, указанные лица осуждены за совершенные преступления в установленном законом порядке». Но, по убеждению моей жены (и по моему убеждению), на основании известных нам сведений о процессах многих лиц, они были осуждены незаконно, а именно — за их убеждения, и являются узниками совести (не прибегавшими к насилию и не призывавшими к нему). Для моей жены, как и для меня, сам факт приговора не может являться доказательством правильности осуждения, необходимо конкретное рассмотрение, в частности, с учетом того, что суды систематически применяют вышеуказанную неправильную трактовку понятия заведомой ложности при обвинении по ст. 190-1 УК РСФСР и систематически нарушают принцип гласности в отношении обвиняемых по политическим статьям.

Как я указывал в своем заявлении от 1 августа 1984 года, большая часть инкриминируемых жене высказываний на самом деле является изложением моего мнения или буквальным цитированием (на пресс-конференции в Италии в 1975 году и на Нобелевской церемонии и Нобелевской пресс-конференции в Норвегии в том же году, а также на пресс-конференции в январе 1980 года, после моей незаконной депортации в Горький). Жена в соответствии со своими убеждениями выступала в этих случаях моим полномочным представителем. Она всегда отмечала, что это именно моя точка зрения.

Совершенно очевидно, что судить ее за эти высказывания, не предъявляя обвинения мне и даже не вызывая меня в качестве свидетеля, совершенно неправомерно. Я готов отвечать за эти высказывания, соответствующие моим убеждениям. Жена же должна быть освобождена от ответственности за них!

Для обвинительного заключения, приговора суда 1-й инстанции и определения суда 2-й инстанции характерно неточное и пристрастное,

вырванное из контекста цитирование или изложение высказываний жены. Типичный пример. Жене инкриминируется утверждение, что «в советских газетах печатается сплошная ложь». Но при этом в качестве единственного доказательства предъявляется цитата из статьи в газете «Русская мысль», представляющей собой вольное изложение одного из интервью жены в двойном переводе. При этом все содержание пространной статьи о моем пребывании в Горьком в обвинительном заключении и судом не обсуждается. На самом деле, жена никогда не употребляет таких обобщенных выражений, как «сплошная ложь». Я обращаю внимание прокурора на неправомерность использования в качестве доказательства вины неавторизованного текста.

Особенно возмутительно с нравственной точки зрения использование в обвинительном заключении и приговоре эмоционального ответа жены во время неожиданной для нее встречи с французским корреспондентом через три дня после того, как у нее был инфаркт. В обвинительном заключении, определении суда второй инстанции и (повидимому) в приговоре утверждается, что якобы жена говорила, что «советское правительство создало условия, чтобы убить академика и ее». Однако, ознакомившись с текстом телеинтервью, можно убедиться, что таких слов там нет. В действительности — на вопрос, «что же с вами будет?», жена ответила: «Не знаю, по-моему, нас просто убивают». Речь не шла об убийстве из пистолета. Косвенно же нас, особенно жену, действительно убивают — мы убеждены в этом, — убивают травлей и клеветой в печати (только за один 1983 год тиражом 11 млн. экземпляров), фактическим лишением эффективной медицинской помощи, обысками, изнурительными допросами и судом тяжелобольного человека, лишением нормальной связи с матерью, детьми и внуками. А меня убивают тем, что медленно убивают ее!

Важным основанием опротестования приговора является неправильное применение судом статьи 43 УК РСФСР. В приговоре не упомянуто, что **моя жена является инвалидом Великой Отечественной войны II группы и что она перенесла крупноочаговый инфаркт миокарда** (о чем имеются справки в деле), не упомянуто, что она больна хроническим увеитом и некомпенсированной глаукомой, перенесла три глазные операции и кардинальную операцию по поводу тиреотоксикоза, а также не упомянуто, что жена имеет стаж 32 года безупречной трудовой деятельности. Указаны только возраст жены и то, что она ранее не была судима. Согласно кодексу (статья 43 УК РСФСР), перечисление в приговоре способствующих смягчению приговора обстоятельств является обязательным. Применяя статью 43, суд был обязан назначить наказание ниже наиболее мягкого наказания, предусмотренного статьей 190-1 УК РСФСР, т.е. назначить наказание ниже, чем штраф. Ссылка таким наказанием не является.

Резюмирую. Основанием для отмены приговора суда 1-й инстанции и определения суда 2-й инстанции является отсутствие состава преступления в действиях моей жены Е.Г. Боннэр, в частности, отсутствие **заведомой** лжнотности в инкриминируемых высказываниях Е.Г. Боннэр, соответствующих ее убеждениям. Важными основаниями для отмены приговора являются также использование в обвинительном заключении, приговоре и определении **явно лжесвидетельских** показаний Ф. Сереброва — единственного упомянутого в приговоре свидетеля по делу, допущенное фактическое нарушение принципа гласности и неправильное применение судом статьи 43 УК РСФСР.

Исходя из вышеизложенного, я прошу прокурора РСФСР истребовать настоящее дело в порядке надзора для отмены приговора Горьковского областного суда и определения Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РСФСР.

А. Сахаров

29 ноября 1984 г.
г.Горький

Приложения

1. Копия определения Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РСФСР.

Копия приговора Горьковского областного суда не может быть приложена, т.к. выданная моей жене копия утрачена. Председатель суда по делу зам. председателя Горьковского облсуда Воробьев В.Н. отказал в выдаче копии взамен утраченной, сославшись на то, что к жалобе в порядке надзора нет необходимости прилагать копию приговора.

2. Копия заявления А.Д. Сахарова на имя помощника прокурора Горьковской области Г.П. Колесникова и председателя суда по делу Е.Г. Боннэр* (фамилия председателя суда — Воробьев).

*

Жалоба отослана ценным письмом 11.12.84, уведомление о вручении датировано 17.12.84.

Копия приговора, выданная моей жене, была похищена из квартиры в августе 1984 года.

6.2.85 я получил ответ из Прокуратуры РСФСР от 31.1.85 за № 13-108-84, подпис[анный] прокурором отдела по надзору за след-

* См. Приложение № 8. — Ред

ствием в органах госбезопасности В.М.Яковлевым. В ответе нет обсуждения ни одного из моих аргументов. Жалоба оставлена без удовлетворения.

*

А.Д.Сахаров послал копию надзорной жалобы президенту АН СССР А.П.Александрову, сопроводив ее следующим письмом.

Глубокоуважаемый Анатолий Петрович!

Я посылаю Вам копию своей надзорной жалобы по делу жены, в которой более подробно, чем это было сделано в моем письме Вам (переданном в ноябре 1984 г.), показана незаконность ее осуждения, и копию ответа прокуратуры РСФСР. Также посылаю копию прошения о помиловании, которое подает моя жена. Быть может, эти документы (особенно прошение о помиловании) будут Вам полезны, если Вы сочли возможным поддержать меня в деле о поездке жены. У меня есть серьезные сомнения, дойдет ли прошение жены до Президиума Верховного Совета СССР. Если Вы сочтете это целесообразным, я прошу Вас способствовать передаче прошения Председателю Президиума Верховного Совета СССР.

Я прошу Вас сообщить мне о Вашем решении по моей просьбе и о ходе дела то, что представляется Вам необходимым. Я прошу Вас прислать ко мне в Горький Вашего представителя для выяснения на месте всех неясных вопросов. Быть может, также целесообразна присылка врачей Академии (кардиолога и окулиста) для обследования состояния здоровья моей жены, ухудшившегося после последнего обследования ее в марте 1984 г. (тогда ее смотрел проф. Сыркин). Но основные данные о ее здоровье уже имеются в Медотделе Академии (крупноочаговый инфаркт миокарда, частые тяжелые и длительные приступы стенокардии, увеит — последствие контузии — и вторичная глаукома с прогрессирующим сужением поля зрения, облитерирующий эндоартериит, хронический дискогенный радикулит, три глазных и кардинальная тиреотоксикозная операции, необходимость использования глазных лекарств, губительных для сердца, и сердечных, вредных для глаз). Летом 1984 г. по запросу следственных органов Медотдел выслал справку о состоянии здоровья жены, приобщенную к ее делу.

Я надеюсь, что сообщенное мною в предыдущем письме решение выйти из Академии 1 марта 1985 года, если до этого не будет получено разрешение о поездке жены для лечения и встречи с близкими, помогает в Ваших ходатайствах. Это мое решение о выходе из АН остается в силе. Однако я предполагаю, что в связи с болезнью К.У.Черненко у Вас могли возникнуть задержки с выполнением моей просьбы.

Поэтому, а также с учетом трудностей связи, я откладываю на 1,5 месяца свой выход из АН при отсутствии разрешения поездки, т.е. заменяю дату 1 марта на **15 апреля***.

Я готов также к другим шагам, кроме упомянутых в письме, если они помогут в вопросе о поездке жены, в том числе и к такой острой мере, как возобновление голодовки. Я пойду на этот шаг в условиях крайней необходимости, ясно сознавая всю меру его опасности для меня и — в особенности — для моей жены.

Убивая мою жену — провокационной клеветой в печати, лишая ее возможности увидеть мать, детей и внуков, фактически лишив тяжелобольного человека эффективной медицинской помощи, подвергнув изнурительным допросам, суду и незаконному осуждению, подвергнув режиму ссылки с обязательными явками на регистрацию под угрозой насильственного привода в любую погоду при любых приступах — власти убивают и меня.

Как я Вам писал, я хочу и надеюсь прекратить свои общественные выступления. Я готов к пожизненной ссылке. Но гибель моей жены (неизбежная, если ей не разрешат поездку) будет и моей гибелью.

С уважением

А.Сахаров

12 января 1985 года
г.Горький

* О намерении Сахарова выйти из Академии сообщило 24 марта агентство Ассошиэтед Пресс со ссылкой на анонимные источники в Москве. Согласно этим источникам, Сахаров угрожал выйти из Академии к 10 мая, если Академия не поможет улучшить условия горьковской ссылки Сахаровых. — Ред.

Приложение № 11

СЛУЖЕБНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА *

на Боннэр Елену Георгиевну
1922 года рождения,
лейтенанта мед. службы,
члена ВЛКСМ с 1939 г.

т.Боннэр Е.Г. находилась на службе в ВСП № 122 с декабря 1941 г. по октябрь 1942 г. в качестве младшей мед. сестры и с октября 1942 г. по 18 июня 1943 в качестве старшей мед. сестры. Квалифицированная мед. сестра, выросшая на практической работе, себя проявила как толковый, энергичный работник, заслужено пользуясь большим авторитетом, как среди раненых, так и руководимого ею персонала. Кроме выполнения прямых обязанностей как старшая медицинская сестра по обслуживанию 6 вагонов для легкораненых она привлекалась к погрузочно-разгрузочным операциям. Хорошо наладила плацкартную систему.

Принимала активное участие в организации политико-воспитательной работы с личным составом поезда в качестве агитатора и групповода полит. занятий.

С февраля 1942 г. до 1945 г. работала секретарем комсомольской организации на ВСП. За образцовое выполнение своих служебных обязанностей имеет ряд благодарностей и занесена на Доску Почета ВСП 122.

Нач. ВСП 122 майор м/сл.

[подпись]

* Печатается с сохранением орфографии оригинала. — Ред.

Приложение № 12

ТАСС И «ИЗВЕСТИЯ» О САХАРОВЫХ

В мае-июне 1984 года ТАСС уделил беспрецедентное внимание Сахарову и Боннэр, выпустив о них четыре заявления в течение одного месяца.

Ниже следуют отрывки из первого заявления ТАСС, опубликованного 4 мая в газете «Известия».

Подоплека провокации

...Особое место в этих грязных махинациях наши противники отводят известному антисоветчику Сахарову, антигражданское поведение которого давно заклеено советскими людьми.

Следует сказать и о жене Сахарова Боннэр Е.Г., которая не только постоянно подталкивает своего мужа на враждебные Советскому государству и обществу поступки, но и сама совершает такие действия, о чем неоднократно сообщалось в печати. Она же выступает и в роли посредника между реакционными кругами на Западе и Сахаровым. В течение ряда лет, причем отнюдь не бескорыстно, Боннэр промышляет тем, что снабжает западные антисоветские центры беспардонной клеветой и злобными пасквилями, чернящими нашу страну, наш строй и советских людей. [...]

Как стало недавно известно компетентным советским органам, тщательно разработанному сценарию и при участии американских дипломатов была подготовлена далеко идущая операция, в соответствии с которой имелось в виду, что Сахаров объявит очередную «голодовку», а тем временем Боннэр получит «убежище» в посольстве США

в Москве. По этому плану пребывание Боннэр в посольстве должно было быть использовано для встреч с иностранными корреспондентами и передачи за границу клеветнических измышлений о Советском Союзе и всякого рода фальшивых материалов о положении ее мужа Сахарова.

Эти скоординированные действия должны были послужить сигналом для развертывания на Западе, прежде всего в США, антисоветской кампании.

Одновременно намечалось попытаться под надуманным предлогом — состояние здоровья — организовать выезд Боннэр за границу, где она должна была стать одним из лидеров антисоветского отребья, находящегося на содержании западных спецслужб.

В результате своевременно принятых советскими правоохранительными органами мер эта операция была сорвана. Американской стороне было сделано официальное представление с изложениями фактов прямой причастности сотрудников посольства США в Москве к этой провокации и требованием прекратить такие недопустимые действия.

Организаторы этой провокации затем оказались застигнутыми врасплох. Тем не менее, они пытаются изворачиваться, уйти от ответственности, лицемерно разглагольствуют о том, что ими движут якобы какие-то гуманные соображения и ничто другое...

(18 мая американское посольство в Москве и государственный департамент США подтвердили, что получили письмо Сахарова с просьбой предоставить Боннэр временное убежище в посольстве. Они отрицали, что обсуждали эту просьбу с Боннэр, оставившей письмо в посольской машине (см. стр. 53). В последующих заявлениях ТАСС, тем не менее, утверждал, что сотрудники посольства «вынуждены были признать, что дирижировали всей этой антисоветской кампанией», а также признались в том, что эта кампания провалилась.)

... Те, кто проливает крокодиловы слезы по поводу «тяжелой участи» Сахарова, предпочитают умалчивать, что они пытаются поднять на щит человека, который втоптывает в грязь свой народ, открыто призывает к войне, к применению ядерного оружия против собственной страны, проповедует человеконенавистнические идеи. Предпочитают умалчивать они и о том, что Советское государство проявляет великодушие и терпение по отношению к этому человеку, дает ему возможность сойти с опасного пути, восстановить себя в глазах своих сограждан...

В заявлении не упоминалось ни о голодовке Сахарова, ни об аресте Боннэр и обвинениях, выдвинутых против нее. Скорее, из заявления можно было понять, что Сахаров отказался от планов голодовки.

Однако после того, как Боннэр не вернулась в Москву, как ожидалось, 2 мая, статья в «Известиях» заставляла предположить, что она задержана в Горьком. 6 мая математик Ирина Кристи, друг Сахаровых, поехала в Горький. Проведя ночь в горьковском отделении милиции, она вернулась в Москву 8 мая и рассказала западным корреспондентам о своем кратком разговоре с Сахаровыми (см. стр. 62). Почти одновременно с пресс-конференцией Кристи и независимо от нее, Татьяна и Ефрем Янкелевич в Нью-Йорке передали журналистам заявление Сахарова о голодовке, написанное им заранее в январе 1984 года.

Более полугода сообщение Кристи оставалось единственным достоверным свидетельством о положении Сахаровых, известным на Западе. После возвращения в Москву Ирина Кристи провела четыре месяца под домашним арестом.

Последующие заявления ТАСС были, несомненно, вызваны сильной реакцией Запада на сообщение о голодовке Сахарова. Советская позиция, повторяемая в этих заявлениях, сводилась вкратце к следующему.

1. Боннэр здорова и не нуждается в лечении за границей.
2. Если бы она нуждалась в специальном лечении, она могла бы получить его в Советском Союзе, лучшее в мире и бесплатно.
3. Хотя в прошлом ей разрешалось ездить за границу под предложением лечения, она использовала заграничные поездки для проведения антисоветской деятельности. Этим она намеревалась заниматься и теперь.
4. Так называемая «голодовка», объявленная Сахаровым, является частью антисоветской кампании, задуманной и координируемой «специальными службами США»; Сахаровы принимают в этой кампании добровольное участие.

Голодовка Сахарова совпала с периодом крайнего ужесточения советской внешней политики и обострения советско-американских отношений. Май 1984 года начался решением советских властей бойкотировать Олимпийские Игры в Лос-Анджелесе и закончился заявлением маршала Устинова об увеличении числа советских атомных подводных лодок у побережья США (якобы в ответ на размещение американских ракет в Европе). По-видимому, этим и объясняются настойчивые попытки ТАСС объяснить голодовку Сахарова интригами Белого Дома и представить ее как проблему советско-американских отношений.

Искренность антиамериканских чувств советского правительства не вызывает сомнений. Сомнительна искренность обвинений. Советские власти вряд ли могли всерьез подозревать американскую ад-

министрацию в причастности к голодовке Сахарова или к попытке Боннэр искать убежища в американском посольстве. По сообщению известных американских журналистов, Эванса и Новака, 23 апреля представители государственного департамента предупредили советское посольство о готовящейся Сахаровым голодовке и о том, что его смерть приведет к еще большему ухудшению советско-американских отношений («Вашингтон пост», 21 мая 1984).

Первые два пункта советской позиции излагались в заявлении ТАСС от 18 мая (приводится в переводе с английского).

Больное воображение провокаторов

Состояние здоровья Елены Боннэр, жены академика Сахарова, в последнее время подробно обсуждается на Западе. Западная пропаганда подняла крик о «трагическом» положении Боннэр, которая якобы находится в «безнадежном» состоянии и поэтому должна немедленно уехать для лечения за границей.

В то же время в печати и в высоких официальных кругах, особенно в Соединенных Штатах, утверждается, что Боннэр якобы арестована и лишена необходимой медицинской помощи.

Все это — не более чем плод больного воображения организаторов этой новой антисоветской кампании. Начать с того, что до недавнего времени «тяжелобольная» Боннэр регулярно путешествовала между Горьким и Москвой и вела очень активный образ жизни, выражавшийся, в основном, в упражнениях в профессиональном антисоветизме. [...]

Боннэр так же, как и ее муж, получают (внимание, господа пропагандисты!) бесплатное лечение в лучших больницах Горького и в Центральной клинической больнице Академии наук СССР, когда это является необходимым. Эти больницы пользуются услугами крупнейших медицинских консультантов. Так, врачи, лечащие Боннэр в Горьковской областной клинике имени Н.А.Семашко, сообщили, что она прошла медицинский осмотр на третьей неделе апреля.

Точности ради, цитируя врачебное заключение, мы сохраним медицинскую терминологию: «Кардиограмма, по сравнению с предыдущей, не показывает динамических изменений. Эхокардиоскопия аорты и митрального клапана не обнаружила отклонений от нормы. Пациент находится в удовлетворительном состоянии». Боннэр, которая, кстати, сама была врачом, проверила диагноз в поликлинике № 7 Управления хозрасчетными медицинскими учреждениями Московского горсовета. Диагноз был полностью подтвержден.

По просьбе Боннэр, ее осмотрел доктор медицинских наук Г.Г.Гельштейн, заведующий отделом функциональной диагностики Института сердечно-сосудистой хирургии Академии медицинских наук СССР. Наш корреспондент взял интервью у профессора Гельштейна. Вот что он сказал: «В результате возрастных факторов, пациент страдает некоторой коронарной недостаточностью. Более года назад у нее был местный инфаркт. С тех пор ее состояние стабилизировалось, и я не заметил никакого ухудшения. Ей рекомендовано профилактическое лечение, обычное в нашей стране, с учетом всех последних достижений кардиологии».

Таким образом, Боннэр получает необходимую медицинскую помощь. Но Боннэр утверждает, что ее глазное заболевание может быть вылечено только в Италии. Действительно, Боннэр в прошлом оперировалась в частной итальянской глазной клинике. Вот что показал недавний медосмотр Боннэр. По мнению советских специалистов, операция была сделана на очень низком уровне и оставила грубый шрам на глазном яблоке пациента. Наш корреспондент узнал об этом у кандидата медицинских наук Е.Ф.Приставко, крупного специалиста в области глазных заболеваний, который консультировал Боннэр по ее просьбе. Кстати, доктор Приставко сказал нам, что операции, подобные той, сделанной в Италии, делаются здесь у нас в обычных глазных больницах, и притом на более высоком уровне. Вряд ли необходимо объяснять компетентным людям на Западе, что многие советские специалисты по глазной хирургии пользуются всемирной известностью и, в соответствии с советскими законами, бесплатно лечат наших граждан в больницах. [...]

Не так давно советская пресса сообщила о фактах, свидетельствующих о том, что в соответствии со сценарием, подготовленным специальными службами США, Боннэр должна была укрыться в посольстве США в Москве и оставаться там до тех пор, пока советские власти не разрешат ей выехать за границу. Тем временем, действуя через американских журналистов, она подливала бы масло в огонь, который враги Советского Союза любят раздувать вокруг этой обожающей скандалы дамы, Елены Боннэр, утверждающей, что она действует от имени Сахарова. Эта часть операции провалилась. Теперь специальные службы США и их пропагандистский аппарат приступили к новой фазе этой операции...

Статья в «Известиях» «Отщепенцы и их радетели», опубликованная 21 мая, впервые намекала на арест Боннэр и введущееся против нее следствие.

В отличие от заявлений ТАСС, чьим отрицательным героем были «специальные службы США», «Известия» отвели эту роль Е.Г.Боннэр.

По-видимому, статья должна была объяснить советскому читателю, почему «правоохранительные органы» приняли в отношении Боннэр «меры, вытекающие из закона», как и подобные статьи 1980 года, объяснявшие причину высылки Сахарова. В то же время и тон статьи в «Известиях», и время ее появления заставляют предположить, что власти, опасаясь за жизнь Сахарова, готовились возложить на Боннэр ответственность за смерть мужа. «Известия», в частности, обвиняли Боннэр в том, что она толкала мужа на голодовки.

...Нельзя не заметить тот фант, что в последнее время в организуемых на Западе провокациях с использованием имени Сахарова все одиознее становится роль его супруги Боннэр Е.Г. Она явно хочет выдвинуться на передний план, стать чем-то вроде главного исполнителя антисоветских выходов, клеветнических заявлений по адресу советского народа.

Боннэр давно приняла на себя функции связного с западными реакционными кругами, не гнушаясь при этом темными делишками. Делает она все это вовсе не бескорыстно. Несколько раз Боннэр выезжала в Италию, ссылаясь на необходимость проведения лечения. На это ей давались разрешения. Находясь там в 1975 году, она запрдала за солидный куш одному из издательств провокационную книгу Сахарова «О стране и мире».

Приехав снова в Италию в сентябре 1977 года, Боннэр за время своего почти что трехмесячного пребывания, забыв о «лечении», с головой погрузилась в грязное болото так называемых «сахаровских слушаний», от которых так и несло смрадом махровой антисоветчины. В 1979 году, находясь опять же в Италии, она тайком вылетела в США. Даже ее близкие итальянские приятели не знали, что «кто-то» посадил «больную» в самолет и переправил в Соединенные Штаты. Там Боннэр свели с группками антисоветчиков с поручением попытаться объединить грызущихся между собой разномастных отщепенцев. Тогда уже она пробрасывала американцам мысль — а не остаться ли ей на этот раз совсем в Америке? Ей, однако, отсоветовали, предложив снова вернуться в СССР и постараться выжать из Сахарова все, на что он еще способен в прислужничестве антикоммунистам.

И она продолжила это дело, действуя с напарниками из посольства США в Москве. По предварительной договоренности в определенные часы ее встречали американские дипломаты, чтобы получить очередную порцию антисоветских материалов и дать заказы на новые. [...]

Боннэр как поднаторевший провокатор следила за перепадами за рубежом антисоветской шумихи вокруг Сахарова. Когда эта набившая оскомину шумиха шла на убыль, она подталкивала супруга на оче-

редную выходку. Именно Боннэр осенила идея объявления Сахаровым «голодовок», чтобы подкормить пропагандистские органы в США. О здоровье супруга она думала меньше всего, действуя по принципу: чем хуже, тем лучше. Чем хуже академику, тем лучше ей.

На май спланировали провокацию помасштабнее. Сахарову опять определили роль «голодающего», а Боннэр — «политической квартирантки» в американском посольстве, откуда она добивалась бы разрешения на выезд в США. Чтобы помочь ей в этом, академик состряпал «обращение к послу США в СССР с просьбой о предоставлении Елене Боннэр убежища в посольстве». [...]

Вернемся к планам Боннэр. Основное для нее по-прежнему — ускользнуть на Запад, как говорится, хоть через труп мужа. Под ее диктовку он инструктирует американцев: «не следует отвлекать силы и внимание» на что-то другое. «...Главное, трагически важное и фактически единственное дело, в котором мне нужно помочь, — добиваться разрешения на поездку моей жены за рубеж». [...]

В своих антисоветских действиях Боннэр зашла слишком далеко. Преступая рамки, которые по советским законам преступать никому не дозволено, она должна была знать, к каким последствиям это может привести. Как известно, Сахаров понес наказание за свою антиобщественную деятельность. В настоящее время правоохранительными органами приняты меры, вытекающие из закона, и в отношении Боннэр.

А.БАСКИН
С.КОНДРАТЬЕВ

Хотя Сахарову «Известия» отводили сравнительно пассивную роль, он был обвинен в ненависти «к своей стране и своему народу», якобы выраженной им в статье «Опасность термоядерной войны» («Форин афферс», июнь 1983). По словам «Известий», Сахаров писал:

«...капиталистические страны должны найти в себе „готовность идти на экономические жертвы“, для того чтобы добиться превосходства и „рассчитаться с социализмом“» (ср. Приложение № 2).

30 мая, через два дня после окончания голодовки, ТАСС впервые счел возможным дать заверения о состоянии здоровья Сахарова. Под заголовком «„Врачеватели“ из ЦРУ» ТАСС повторил прежние обвинения по адресу «американских спецслужб», Боннэр и Сахарова. Сахаров обвинялся также в том, что он, «известив Запад о т.н. „голодовке“, преследовал лишь цель дать повод для очередной кампании, чтобы привлечь внимание к своим провокационным писаниям».



«Ну, а как же с «голодовкой»? — говорится в этом заявлении ТАСС. — Приведем точные медицинские факты: Сахаров чувствует себя хорошо, регулярно питается, ведет активный образ жизни».

Эти заверения были повторены ТАСС 4 июня в заявлении, озаглавленном «Провокация. Еще раз о здоровье Сахарова и Боннэр». «Здоровы они и не голодают! — писал ТАСС. — „Заботу“ же американских спецслужб об их здоровье можно расценить однозначно. Им нужно лишь очернить Советский Союз...» ТАСС высмеивал слухи о смерти Сахарова и вновь нападал на «спецслужбы США и стоящие за ними американские официальные круги». Однако это заявление было адресовано не «американским официальным кругам», а, судя по всему, президенту Миттерану и/или французскому общественному мнению.

Во Франции положение Сахаровых вызывало особый интерес в связи с предполагаемой поездкой в Москву президента Миттерана. Французская пресса, а также лидеры правящей социалистической партии и часть политической оппозиции склонялись к тому, что Миттерану следует отменить или отложить свой визит в Москву. Советские власти, напротив, по многим причинам могли быть и, видимо, были заинтересованы в визите президента Франции — и особенно в период ухудшения советско-американских отношений. Возможно, они также надеялись убедить его выступить против размещения в Европе американских ракет среднего радиуса действия. (По сообщению «Нувель обсерватор», в середине мая советские представители предложили освободить Сахарова в обмен на призыв Миттерана остановить размещение американских ракет.)

Миттеран тем временем избегал публичных заявлений о своих планах, возможно, ожидая перемен в положении Сахаровых или советских заверений о их положении. Первое из таких заверений было передано через генерального секретаря французской компартии Жоржа Марше. 20 мая Марше заявил, ссылаясь на высокие московские инстанции, что здоровье Сахарова удовлетворительно, его жизнь не находится в опасности и он «регулярно обследуется в больнице имени Семашко». Москва также заверила Марше в благополучном состоянии здоровья Елены Боннэр, которая живет дома в Горьком и «не нуждается в госпитализации».

22 мая советский посол во Франции Юлий Воронцов сказал первому секретарю социалистической партии Лионелю Жоспену, что ему ничего не известно о голодовке Сахарова и что, насколько ему известно, вопреки сообщениям в западной прессе, Сахаров не был госпитализирован и находится дома. У Жоспена, тем не менее, сложилось впечатление, что Воронцов подтвердил сообщения о голодовке.

24 мая национальный секретарь социалистической партии Жан Попрен сказал, что «трудное решение» о поездке Миттерана еще не принято. На вопрос о гарантиях, которые Миттеран мог бы получить о положении Сахарова, Попрен ответил: «Последние события в этом деле не позволяют по-настоящему надеяться на такие гарантии».

Только 27 мая, в день окончания голодовки, министр иностранных дел Франции Клод Шейсон подтвердил намерение президента посетить Москву. По сообщению «Матэн», Шейсон сказал: «Французское правительство знает очень мало о положении Сахарова — только то, что он в Горьком и что его здоровье, должно быть, удовлетворительно, если советские власти рискуют утверждать, что оно хорошее».

3 июня, вслед за слухами о смерти Сахарова, возникшими в Италии и подтвержденными московским корреспондентом «Санди таймс» Эдмундом Стивенсом, Жорж Марше подтвердил, что французская компартия «разорвет отношения с Москвой», если, вопреки полученным им заверениям, с Сахаровым «что-то случилось».

Обстоятельства появления четвертого, и последнего, заявления ТАСС изложены в статье Жака Амальрика «Поездка в Москву по-прежнему должна состояться» («Монд», 6 июня). Согласно советско-французской договоренности, сообщал Амальрик, 4 июня, в семь часов вечера по парижскому времени, стороны должны были одновременно объявить о предстоящем визите Миттерана. Однако уже в 16.45 по парижскому времени ТАСС заявил, что Миттеран принял приглашение президиума Верховного Совета посетить Москву. В течение следующих двух часов Елисейский Дворец отказывался подтвердить сообщение ТАСС. Именно в этот промежуток времени ТАСС выпустил заявление о «здоровье Сахарова и Боннэр».

Как можно понять, Амальрик считал заявление ТАСС о Сахаровых плодом переговоров между президентом Миттераном и послом Воронцовым, начавшихся, по его словам, 1 июня и успешно завершенных в понедельник 4 июня. Амальрик сообщает, что возможность такого заявления обсуждалась на этих переговорах. Тем не менее, заявление ТАСС от 4 июня не содержало ни новых, ни более подробных заверений по сравнению с предыдущим заявлением от 30 мая.

По утверждению Елисейского дворца, советская сторона не предложила никаких иных заверений или гарантий. Возможно, однако, что французское правительство продолжало настаивать на новых заверениях или что они уже были ему обещаны. Объявляя о поездке Миттерана, Елисейский дворец намекал на то, что она будет отложена, если не появится новых известий о положении Сахарова (Рейтер, 4 июня 1984). Только 19 июня, накануне отъезда Миттерана в Москву, со-

ветские власти дали новые заверения, опубликовав фотографии Сахарова и Боннэр (см. Приложение № 13). Можно предложить много объяснений этой загадочной истории, различных по степени цинизма и полету воображения. Кажется несомненным, однако, что последнее или последние заявления ТАСС о Сахаровых были вызваны желанием советских властей видеть Миттерана в Москве.

«...Заметим попутно, — писал ТАСС, — что к этой раздуваемой из Белого Дома антисоветской кампании на Западе подключились некоторые легковверные люди. К сожалению, они верят лжи, а не фактам. Факты же, повторяем, таковы: Сахаров и Боннэр здоровы. Может быть, в центрах психологической войны Запада хотели бы услышать иные вести, но ничего другого мы им сообщить не можем».

Ефрем Янкевич

Приложение № 13

ГОРЬКОВСКИЕ ЛЕНТЫ

Сотрудничество советского «журналиста» Виктора Луи с популярной немецкой газетой «Бильд» началось, видимо, в июне 1984 года, когда «Бильд» опубликовала две фотографии Сахаровых как доказательство того, что они живы.

Фотографии Боннэр (на улице) и Сахарова (в парке?), сделанные, как утверждалось, 12 и 15 мая и опубликованные 19 июня, были, по словам «Бильд», предоставлены газете Виктором Луи, известным в течение многих лет в роли неофициального посредника между советскими властями и западной прессой.

Задержав Елену Боннэр в Горьком, советские власти столкнулись с проблемой, хорошо известной многим террористам, — с необходимостью доказывать вновь и вновь, что заложники живы и находятся в их руках. До весны 1984 года Елена Боннэр была практически единственным доступным западной прессе свидетелем положения Сахарова в Горьком. В течение следующих полутора лет «информационный вакуум», возникший после ареста Е.Г. Боннэр, заполнялся Виктором Луи. За фотографиями последовали видеопленки, снятые в Горьком скрытой камерой. (Видеопленки продолжали поступать и после приезда Боннэр в Америку, но уже для того, чтобы скомпрометировать ее как свидетеля голодовок Сахарова.) По-видимому, Луи также принадлежали сообщения о положении Сахаровых, появлявшиеся в «Бильде» со ссылкой на «московские источники». «Бильд», однако, видимо, не получил исключительного права на материалы о Сахаровых. Некоторые

сообщения Луи передавал непосредственно иностранным журналистам в Москве. В своем последнем заявлении, сделанном 29 мая 1986 г., накануне встречи Елены Боннэр с Маргарет Тэтчер, Луи впервые похвалил Сахарова, который, по его словам, находится «на нашей стороне баррикад» и «пользуется уважением подавляющего большинства советских людей». Однако, как заявил Луи, возвращение Сахарова в Москву поставлено под удар плохим поведением Боннэр на Западе.

Первая видеопленка, показывающая Сахарова в больнице и Боннэр на улицах Горького в июне-июле 1984 года, а также содержащая и более ранние кадры, была распространена «Бильдом» 24 августа 1984 года, вскоре после суда над Е.Г.Боннэр. Не называя источника пленки, «Бильд» намекнул на то, что она была получена от Виктора Луи, «из того же источника», что и фотографии, опубликованные в июне.

К лету 1986 года «Бильд» распространила еще семь подобных видеопленок, продолжительностью от 10 до 40 минут. Большинство из них были куплены и показаны, полностью или в отрывках, телевизионными компаниями многих западноевропейских стран и компанией Эй-Би-Си в Соединенных Штатах.

Ниже следует краткая хронология их появления.

15 декабря 1984 года. Фотографии Сахаровых в парке и у входа в кинотеатр, снятые, предположительно, в октябре. Опубликованы в день прибытия М.С. Горбачева в Лондон.

28 июня 1985 года. Сахаров на медицинском осмотре, предположительно весной 1985 года. Вторая пленка, озаглавленная «Куда исчез Сахаров»: Сахаров в больничной палате; ест в постели завтраки, обеды и ужины, как утверждает, в начале июня. Врач Наталья Евдокимова, называющая себя лечащим врачом Сахарова, комментирует видеозаписи. Она отрицает, что Сахаров голодал или голодает или что ему даются психотропные препараты. Евдокимова перечисляет ряд заболеваний, которыми якобы страдает Сахаров, и утверждает, что он проходит в больнице курс лечения.

По словам диктора, фильм предназначен быть ответом на заявление Ефрема Янкелевича, «которого на Западе выдают за официального представителя лауреата Нобелевской премии академика Сахарова», и на обращение Международной лиги прав человека в подкомиссию ООН по делам пропавших без вести.

29 июля 1985 года. 11 июля (судя по афишам) Сахаров покидает больницу. Е.Г.Боннэр встречает его перед домом. Сахаровы гуляют по улицам Горького, собирают грибы и т.д. Видеопленка распространена «Бильдом» накануне встречи в Хельсинки министров иностранных дел, посвященной десятилетию подписания Хельсинкских соглаше-

ний. К тому времени Сахаров был вновь помещен в больницу им. Семашко, где продолжал свою голодовку.

9 декабря 1985 года. Боннэр показана на приеме в местном ОВИРе, где она обсуждает свою заграничную поездку, а затем на приеме у зубного врача. Сахаров, отвечая на вопросы главврача больницы им. Семашко Олега Обухова, объясняет советскую позицию по вопросам контроля над вооружениями, а также свои собственные взгляды на этот предмет и на американскую программу стратегической оборонной инициативы. Сахаров провожает свою жену на горьковском вокзале. Боннэр в Шереметьевском аэропорту в окружении друзей и иностранных корреспондентов.

24 марта 1986 года. Сахаров, после отъезда жены, говорит с ней по телефону из местного отделения связи. Кадры, иллюстрирующие жизнь Сахарова в Горьком, перемежаются с отрывками из его телефонных разговоров с Е.Г.Боннэр. В одном из них он пересказывает заявление М.С.Горбачева (интервью газете «Юманите», 8 февраля 1986), сказавшего, что в отношении Сахарова «были приняты меры в соответствии с нашим законодательством» и что он не может выехать за границу по причине «секретов особой государственной важности». Сахаров встречается с врачом Ариадной Обуховой, а затем, судя по голосу, с ее мужем Олегом. (Обухов остается за кадром.) Он говорит им, что здоров и ни в чем не нуждается. Вновь отвечая на вопросы Обухова, Сахаров положительно отзываясь о предложениях Горбачева о разоружении (по-видимому, предложения, выдвинутые 15 января 1986). Смонтированная из небольших кусков, беседа с Обуховым носит отрывочный характер, как и подобная беседа в видеозаписи, опубликованной 9 декабря (предполагая, что обе не являются частью одной и той же).

30 мая 1986 года. Пленка, озаглавленная «Боннэр и Сахаров о Чернобыле». Сахаров отвечает на вопросы прохожих о чернобыльской катастрофе и обсуждает ее по телефону с женой. Один из прохожих — молодой человек, представившийся корреспондентом газеты «Горьковский рабочий». Ответы Сахарова сопоставляются со словами Е.Г.Боннэр, как они приведены в статье «Говорит Сахаров» в итальянском еженедельнике «Иль Сабато». Очевидная цель фильма — доказать, что Боннэр искажает взгляды своего мужа. Собеседники Сахарова также пытаются заставить его высказаться в поддержку советского моратория на проведение ядерных испытаний.

18 июня 1986 года. Видеозапись, опубликованная «Бильдом» лишь две недели спустя после возвращения Боннэр в Горький. Запись разговора между Е.Г.Боннэр и А.Д.Сахаровым наложена на кадры, показывающие Сахаровых на улицах Горького. Согласно «Бильду», запись

сделана через подслушивающее устройство в квартире Сахаровых. Замысел создателей фильма ясен из приведенных в «Бильде» отрывков разговора: Боннэр якобы упрекает мужа в том, что он, отвечая на вопросы (Обухова?), выразил поддержку предложениям Горбачева о разоружении. (См. описание видеозаписи от 24 марта 1986.)

Ефрем Янкелевич

Приложение № 14

НАДЕЖДЫ 1975 года

Речь Татьяны Янкелевич

**на собрании, посвященном десятой годовщине присуждения
Андрею Дмитриевичу Сахарову
Нобелевской премии мира,
9 октября 1985 года в Нобелевском институте (Осло)**

Я была очень тронута вашим приглашением приехать в Осло, поскольку этот город стал частью истории нашей семьи и появляется на ее наиболее ярких и драматических страницах.

Однако не стану отрицать, что мне грустно при мысли, что я выступаю в том самом зале, где почти десять лет тому назад выступала моя мать, — теперь, когда я даже не знаю, где она.

Я помню, как она вернулась отсюда в Москву в последние дни 1975 года. Как мы встречали ее в аэропорту вместе с Андреем Сахаровым и ватагой иностранных журналистов. Помню атмосферу свободы, оживления и праздника, которую она привезла с собой из Осло...

Я также помню 1975 год как год надежд. И об этих надеждах, надеждах 1975 года, я и хочу говорить.

1975 год был годом «доктрины Сахарова». «Сахаров, — говорилось в дипломе Нобелевской премии мира за 1975 год, — убедительно показал, что только соблюдение индивидуальных прав человека может стать надежной основой подлинной и долговечной системы международного сотрудничества». «Доктрина Сахарова», суть которой состоит в неотделимости мирного сосуществования от прав человека, была признана не только Нобелевским комитетом, но и главами

35 государств, подписавших в Хельсинки летом 1975 года Заключительный акт Соперования по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Хельсинкские соглашения были кульминацией разрядки. Однако, как мы знаем сегодня, в основе разрядки лежало отнюдь не стремление содействовать защите прав человека и борьбе за открытое общество в СССР.

Например, как отмечали многие наблюдатели, в том числе Генри Киссинджер, американской стороной двигало представление о невозможности продолжать политику «сдерживания» в ее традиционной форме. По мнению того же д-ра Киссинджера, среди прочих причин, вызвавших к жизни советско-американскую разрядку (таких, как опасение, что Европа станет нейтральной, если США отстанут от своих союзников по НАТО в борьбе за советскую благосклонность), главной побудительной причиной было «роковое сочетание ядерного паритета с неравенством в обычных видах вооружения». У многих европейских правительств были, возможно, еще менее благородные причины для продолжения политики разрядки.

Это была совсем не та разрядка, сторонником которой был Андрей Сахаров. В 1973 году на вопрос, не изменилось ли его мнение о конвергенции Востока и Запада, он ответил:

«...мое основное предположение остается в силе, а именно: перед миром стоят две альтернативы — или постепенное сближение, сопровождающееся демократизацией Советского Союза, или рост конфронтации и увеличивающаяся опасность термоядерной войны. Но действительность оказалась еще сложнее, в том смысле, что перед нами теперь стоит следующий вопрос: будет сближение сопровождаться демократизацией советского общества или же нет? Эта новая возможность, которая может на первый взгляд показаться полумерой — лучше, чем ничего, — на самом деле таит в себе огромную внутреннюю опасность».

Опасностью, по мнению Сахарова, было «сближение без демократизации, сближение, при котором Запад, по существу, принимает советские правила игры. Подобное сближение было бы опасно в том смысле, что оно не решило бы на самом деле ни одной из мировых проблем и означало бы просто капитуляцию перед лицом реальной или преувеличенной советской угрозы. Это означало бы попытку торговать с Советским Союзом, покупая газ и нефть и игнорируя все остальные аспекты проблемы. Я думаю, что подобное развитие событий было бы опасно, поскольку имело бы серьезные последствия внутри самого Советского Союза. Оно заразило бы весь мир антидемократическими особенностями советского общества. Это позволило бы Советскому Союзу обойти проблемы, которые он сам не в состоянии решить, и сконцентрировать усилия на усилении собственной мощи. В результате,

мир оказался бы беззащитен и беспомощен перед лицом неконтролируемой бюрократической машины. Я думаю, что, если сближение происходило бы полностью и безоговорочно на советских условиях, это было бы серьезной угрозой всему миру».

Хельсинкские соглашения во многом соответствовали сахаровскому представлению о разрядке: по его мнению, разрядка должна иметь позитивную и созидательную цель, и эта цель — постепенное преодоление закрытости тоталитарных систем и их либерализация. Сегодня кажется удивительным, как много гарантий прав человека и условий, способствующих свободному обмену идеями и информацией, представителям Запада удалось внести в Хельсинкские соглашения.

Полагаю, никто не рассчитывал, что Советский Союз немедленно возьмется за выполнение всех этих условий. Тем не менее, безусловно, существовала надежда, которую разделял и Андрей Сахаров, на то, что соглашения и сам процесс разрядки станут, по меньшей мере, фактором, сдерживающим репрессивную политику советского правительства. Эта надежда еще теплилась в конце 1975 года, несмотря на отказ советских властей разрешить Андрею Сахарову лично принять Нобелевскую премию, несмотря на судебный процесс над другом Сахарова, биологом Сергеем Ковалевым, проходивший одновременно с церемонией вручения Нобелевской премии.

Эта надежда начала угасать в последующие годы, когда мы стали свидетелями непрекращающегося ухудшения положения в области прав человека, усиления антидиссидентской и антисемитской пропаганды, разгрома инакомыслия в целом и уничтожения правозащитного движения в частности. Для Сахарова эти годы были временем отчаянных усилий остановить нарастающие репрессии, защитить их новые жертвы.

В январе 1980 года и сам Андрей Сахаров — «совесть человечества», по выражению Нобелевского комитета, — был сослан в Горький под круглосуточный милицейский надзор. Моя мать стала единственной его связью с миром. Его голос доходил до нас, пока и она не была арестована в мае 1984 года. В числе предъявленных ей обвинений было участие в пресс-конференции здесь, в Норвегии, проходившей, возможно, в этом самом зале.

Какой смысл сегодня вспоминать надежду десятилетней давности, надежду, безжалостно уничтоженную? Какой смысл рассуждать, что не вышло и что могло или должно было быть сделано, чтобы не допустить крушения этой надежды, чтобы спасти сотни достойных и мужественных людей от лагерей, тюрем, психиатрических больниц?

На эти вопросы, думаю, есть ответы, простые и не очень простые. Я думаю, что важно говорить об этой надежде, искать эти ответы — хотя бы по следующим причинам.

Во-первых, есть люди, и среди них лишённые свободы члены Хельсинкских групп, которым можно и должно помочь.

Во-вторых, Горбачев предлагает нам новую разрядку. Сейчас самое время подумать о том, хотим ли мы разрядки и если да, то какой. Разрядки, основанной на страхе, или разрядки, имеющей конструктивную цель? Разрядки с Сахаровыми — или без них?

И, в-третьих — и в-главных, — сегодня, как и вчера, и в обозримом будущем мы стоим перед той же альтернативой, о которой Андрей Сахаров говорил 12 лет назад: **«...или постепенное сближение, сопровождающееся демократизацией Советского Союза, или рост конфронтации и увеличивающаяся опасность термоядерной войны».**

Это означает, что у нас нет другого выбора, что мы должны бороться за надежду 1975 года до тех пор, пока она не станет реальностью.

И еще одно, раз уж мы говорим о надеждах. Три года тому назад Андрей Сахаров принял приглашение норвежского правительства поселиться в Норвегии. Я надеюсь, что когда-нибудь это послужит мне причиной снова побывать в Осло.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Елена Боннэр. «Мы снова в Горьком...»	I-XVII
От издательства	1
«Самолет завис в воздухе над серединой Америки...»	3
1. Сердце болит. — Академическая медицинская помощь. — Письмо академиков и «глас народа». — Подаем в суд. — Лизин день рождения.	6
2. Пришел Новый год и ушел. — Уйти в американское посольство? — Арест. — Андрей начинает голодовку. — Допросы. — Обвинительное заключение. — Суд	47
3. Снимают. — Что делали с Андреем во время голодовки. — Зима. — Каким языком с нами разговаривают. — «Счастливые вы...» — Живой человек или символ? — «Тихая дипломатия» и права человека	88
4. Прощение о помиловании. — Андрей начинает новую голодовку. — Подделки и фальшивки. — Повторная голодовка. — «Горбачев дал указания разобраться...» — Десятилетие Нобелевской премии. — Горьковский ОВИР	118
5. Врачи, подсадные пациенты, женская бригада. — Снова ОВИР. — Снимают, снимают... — Квартира на улице Чкалова. — Долгий путь. — Америка перед Рождеством. — Операция. — Вопросы и ответы	149
6. Фильмы, изготовленные в КГБ. — Люди или нелюди? — Хочу дом. — Мама. — Где же взять счастливый конец?	177
<i>Вместо послесловия.</i> «Мы все — современники Андрея Сахарова». Выступление Е.Г.Боннэр на чествовании акад. Сахарова в комиссии по иностранным делам Конгресса США	200
П р и л о ж е н и я	
Приложение № 1. Свидетельство о смерти Геворка Саркисовича Алиханова	207
Приложение № 2. Андрей Сахаров. Опасность термоядерной войны. Открытое письмо д-ру Сиднею Дреллу	208

Приложение № 3. Академики А.А.Дородницын, А.М.Прохоров, Г.К.Скрябин, А.Н.Тихонов. Когда теряют честь и совесть	223
Приложение № 4. Андрей Сахаров. Письмо коллегам-ученым	226
Приложение № 5. Андрей Сахаров. Участникам конференции в Стокгольме	229
Приложение № 6. Андрей Сахаров. Письмо американскому послу Артуру Хартману	231
Приложение № 7. Из письма А.Д.Сахарова семье в Соединенные Штаты	233
Приложение № 8. Андрей Сахаров. Заявление. (Старшему помощнику прокурора Горьковской области Колесникову Г.П. Председателю суда по делу Е.Г.Боннэр)	237
Приложение № 9. Андрей Сахаров. Президенту АН СССР акад. А.П.Александрову. Членам Президиума АН СССР	238
Приложение № 10. Андрей Сахаров. Жалоба в порядке надзора по делу Е.Г.Боннэр	248
Приложение № 11. Служебная характеристика на Боннэр Елену Георгиевну, лейтенанта мед. службы	256
Приложение № 12. Ефрем Янкелевич. ТАСС и «Известия» о Сахаровых	257
Приложение № 13. Ефрем Янкелевич. Горьковские ленты	267
Приложение № 14. Татьяна Янкелевич. Речь на собрании, посвященном десятой годовщине присуждения Андрею Дмитриевичу Сахарову Нобелевской премии мира	271



**А.Д.Сахаров и Е.Г.Боннэр, снятые в Горьком после окончания голодовки академика Сахарова,
25 октября 1985.**



**Е.Г.Боннэр разговаривает с матерью в первый вечер по приезде в США в 1985 году.
Руфь Григорьевна Боннэр скончалась в Москве в 1987 году.**



Е.Г.Боннэр с внуками Матвеем и Аней Янкелевич в конце 1985 года в США.



**Е.Г.Боннэр в окружении семьи в 1986 году в США.
Слева направо, верхний ряд: зять Елены Георгиевны Ефрем Янкалевич,
дочь Татьяна, сын Алексей Семенов, невестка Лиза, внучка Саша;
нижний ряд: внук Матвей, мать Р.Г.Боннэр, внучка Аня.**



Е.Г.Боннэр во Флориде в 1986 году с внуками. Слева направо: Матвей и Аня Янкелевич, Катя Семенова



**Бостон, США, 1986 год.
Е.Г.Боннэр за работой над книгой «Постскриптум».**



Один из снимков, которые советский журналист Виктор Луи продавал западной прессе во время ссылки Сахаровых в Горьком. Согласно Луи, фотография сделана 12 мая 1984 года. Она распространялась через западногерманскую газету «Бильд».



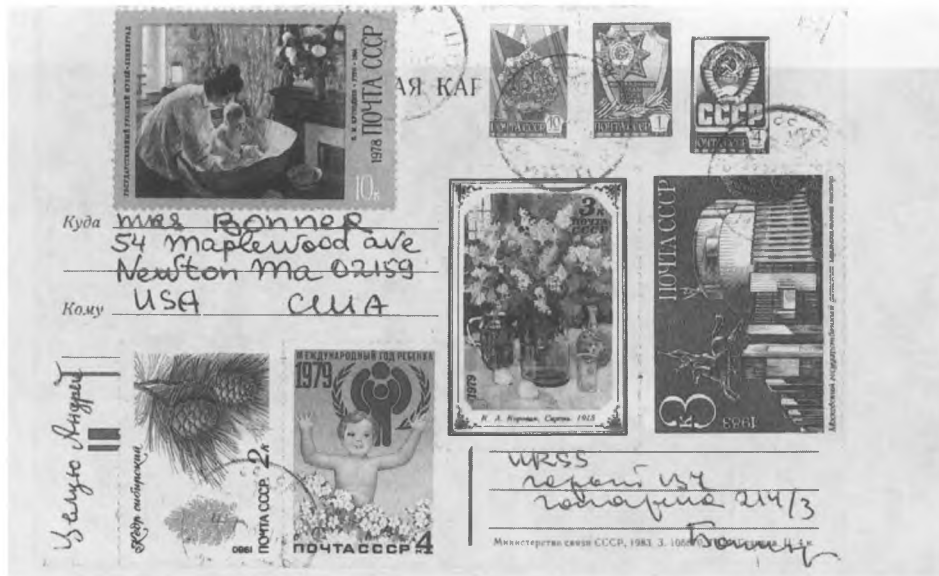
А.Д.Сахаров в Горьком в 1982 году.



Е.Г.Боннэр на балконе горьковской квартиры.



А.Д.Сахаров в Горьком. Ноябрь 1985 года.



Открытка, полученная в Ньютоне 25 мая 1985 года.
Подделана дата открытки (21 апреля вместо 1 апреля)
— очевидно, с целью опровергнуть слухи о том,
что 16 апреля А.Д.Сахаров начал голодовку.

№21. 21 апреля. Здравствуйте мои
родные, роденькие. Вот и прошел
апрель! Все серьезные дела и гран-
диозную уборку в парадной кор-
идоре и заминирование наведением
ураганов в кухне - так действует
весна, что кажется, что все и
всему весна. Вот берет свое
и не всегда вот непременно
особенно когда он как у нас
такое превращение имеет.
Теперь я думаю, что все
- все это наша мушкетерская
интересная и все время ко-
войну в топае, топае, топае
и не всегда пошесть, топае
ро что пришла. Но в Н. Д. Д.
где "проблемы" были - "Бондс-
рев" и "капитан-то Евангелист"
как я понимаю из тех друзей
- в Москве литературные и
буржуазные, которые так же осуж-
дают непонятно. Все по-
лучил в вашу телеграмму, а вот по-
лучил ли вы где-то последние день
рождественских подарков не знаю
когда получите материалы. У нас
хоть и не очень тепло, но руки
теплые и все так же и все же счи-
тают. А как у вас. Будьте здоро-
вы все. Целую крепко всех. Мама

Другая сторона той же открытки.

Изменены два глагола: **п р о ш е л** вместо «пришел»

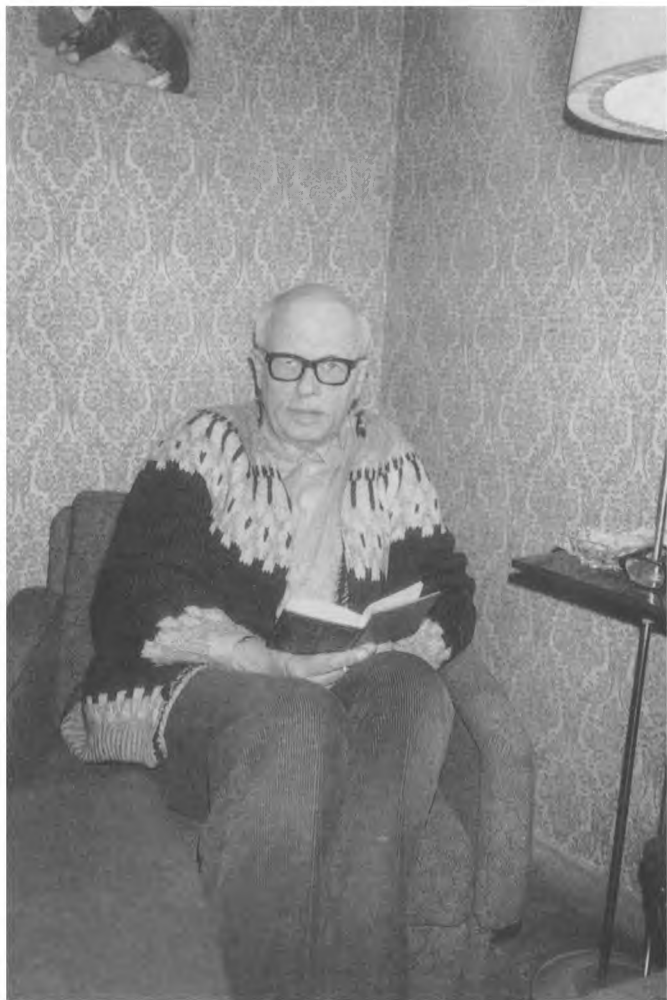
и т а е л вместо «тает».



А.Д.Сахаров на балконе квартиры в Горьком.



Фотография, проданная Виктором Луи газете «Бильд».
Согласно Луи, фотография была сделана 15 мая 1984,
то есть 14 дней после того, как А.Д.Сахаров начал голодовку.



А.Д.Сахаров на квартире в Горьком, 1983 год.



Е.Г.Боннэр с сыном Алексеем Семеновым в Вашингтоне в 1986 году.



**Е.Г.Боннэр с премьер-министром Англии Маргарет Тэтчер в Лондоне.
Май 1986.**



Е.Г.Боннэр после встречи с премьер-министром Франции Жаком Шираком. Париж, май 1986.



У окна московской квартиры. Июнь 1986.



В Москве с Эмилем Шинбергом и Галиной Евтушенко. Июнь 1986.



Е.Г.Боннэр возвращается в Горький. Москва, 3 июня 1986 года.



На вокзале перед отходом поезда.